

Лафкадио Херн

Японские легенды и сказания о призраках и чудесах Душа Японии



Свыше ста двадцати цветных гравюр японских
художников к рассказам о встречах с привидениями,
демонами и ведьмами

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ





Лафкадио Херн

Лафкадио Херн

**Японские
легенды и сказания
о призраках и чудесах.
Душа Японии**



Санкт-Петербург
СЗКЭО

ББК 84.4
УДК 821.521-93
Х39

Х39 **Херн Лафкадио. Японские легенды и сказания о призраках и чудесах. Душа Японии.** — Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2021. — 288 с., ил.

Сборник включает так называемые кайданы — старинные таинственные, «роковые» японские притчи и сказки. Они были любовно собраны под одной обложкой в начале XX века американцем британского происхождения Лафкадио Херном. Последние годы своей жизни он провел в Японии, искренне полюбив старинный дух этой страны. Произведения сборника проиллюстрированы великолепными цветными рисунками японских художников XIX века. Знакомство с японскими кайданами не только развлекает читателя, но и позволяет лучше понять уникальную культуру этой страны.

ЛАФКАДИО ХЕРН

Л. Херн родился в 1860 году на одном из Ионических островов, — Лефкас, или Лефкада — в честь которого ему было дано имя. Отец его был английским полковым врачом, мать гречанкой. В туманной Англии, куда они переселились несколько лет спустя после рождения сына, молодая гречанка не ужилась и, оставив семью, вернулась в лучезарную Грецию, а доктор Херн, объявив брак недействительным, женился на другой. Семилетнего Лафкадио взяла на воспитание старая, богомольная, богатая тетушка.

Внезапное крушение семейной жизни навсегда омрачило чуткую душу ребенка и обусловило всю дальнейшую его жизнь. Им навсегда овладела тревога, недоверчивость даже к лучшим друзьям, горячая тоска по красавице матери.

Рано отошедши от христианской религии, в иезуитских школах он беззастенчивым атеизмом приводил в священный ужас товарищей и наставников.

Порвав с тетушкой-покровительницей, он с 10 до 19 лет скитался по Лондону, потерянный, несчастный. Об этом периоде его жизни известно мало: лишь то, что одно время он даже был слугою, что долго был болен и почти утратил зрение. У него с детства был только один глаз. Девятнадцати лет маленький, хрупкий Лафкадио очутился в Нью-Йорке без друзей, без поддержки. Непрактичный мечтатель, он не был пригоден к борьбе за существование; ничто ему не удавалось. Голодный, озябший, усталый, он сидел в народной библиотеке, листая книжку за книжкой; спал где-то в сарае. И так в течение четырех лет.

Наконец, в Цинциннати он нашел место наборщика в типографии, где за точность в знаках препинания его назвали Old Semicolon¹.

С той поры он пошел в гору, сделался корректором, репортером, даже издателем крошечной воскресной газетки, просуществовавшей, впрочем, лишь девять недель.

В 1877 году тоска по южному солнцу повлекла его в Новый Орлеан, где судьба улыбнулась ему. Своими фельетонами в стиле французских романтиков он приводил в восторг романское население Нового Орлеана. Опыренный Югом, он пел ему хвалебные песни, восхищался тропической растительностью опустевших садов, руинами феодальных замков, «где все пусто мертво, молчаливо, где все роскошь и разрушение».

Он воспевал дом, где жил совершенно один среди привидений, не наводящих на него страха, потому что он чувствовал себя «похожим на них».

Он сотрудничал в газетах, журналах, составлял креольский словарь, изучал испанский язык и литературу всех стран. Но, несмотря на лихорадочную деятельность, им иногда овладевала неясная тоска. «Мне кажется, — писал он, — будто где-то далеко у меня есть друзья, которых я покинул так давно, что даже имен их не помню».

¹ Старая точка с запятой (англ.).

Однако восторженное настроение еще преобладало. Он наслаждался богатством своей внутренней жизни и роскошью окружавшей его природы.

Но спустя четыре года Новый Орлеан внезапно и окончательно надоел ему. Ему казалось, что он долго «держал в объятиях дивную фею, и вдруг она превратилась в прах».

Опять наступило тяжелое время. Для серьезной литературной деятельности он был недостаточно образован, пополнять же образование не позволяло все ухудшающееся зрение.

«Мир фантазии — единственный, доступный мне», — писал он.

Летом 1887 года он поехал на остров Мартиника, где тропические чары снова захватили его и вдохновили на работу, — он снова стал собирать материал для своей книги о Вест-Индии.

В 1890 году он в качестве корреспондента по поручению нью-йоркского издателя наконец достиг Японии, в которой безвыездно провел 14 последних лет своей жизни. Он полюбил ее, как родину-мать, которую с тоской, жадно и тщетно искал всю жизнь. Но и Япония не умиротворила его, этого вечного мирового скитальца и искателя чего-то такого, чему нет ни имени, ни определения.

Уже через год, обессилив от тяжких условий, нравственных и материальных, он порвал с издателем и поступил на место учителя английского языка в Мацуэ.

Новая деятельность его воодушевила, а древнеяпонский дух в Мацуэ привел его в восторг. В буддийских храмах, на старых кладбищах сидел он часами, беседуя со жрецами; вслед за паломниками отправлялся поклониться буддийским святыням; по вечерам в полутьме слушал туземные сказки.

Но литературная работа в то время была в застое: ему казалось, что тихая атмосфера Мацуэ усыпляла мысль, вдохновение, душу.

«Напишу ли я когда-либо хорошую книгу о Японии, это вопрос, — писал он другу. — Во всяком случае лишь после многолетней сухой работы, без проблеска духа.

Вы говорите о моем „огненном перо“. Это очень любезно, но огня в нем вовсе нет; Его здесь не нужно. Здесь все мягко, мечтательно, тихо, слабо, мило, бледно, призрачно, благоуханно, туманно...»

Через некоторое время его перевели в Кумамото, в «современнейший город». Все его сослуживцы, за исключением одного старого китайца, говорили по-английски. Херн избегал их. В свободное время он искал одиночества на холме за школой, на старом кладбище, где покоятся предки. Сидя на могильных камнях, он с высоты птичьего полета смотрел на огромные модные здания, на суетливую жизнь вокруг них. Рядом с ним на каменном лотосе сидел молчаливый товарищ, каменный Будда, с грустной загадочной улыбкой на устах и из-под полуопущенных каменных век смотрел вдаль. И Лафкадио казалось, что одни у них думы и одна и та же печаль, печаль о торжестве, постепенном и неизбежном, новой Японии над Древней.

«Я никогда не чувствовал так безнадежно, что Древняя Япония безвозвратно скончалась, что юная становится так некрасива», — писал он. По временам, однако, в нем еще вспыхивает надежда на то, что Восток восторжествует над Западом, синтоизм над европейским мировоззрением. «Никогда Япония не примет христианства! Нет! — страстно восклицал он. Да объединится Восток в борьбе с жестокой западной цивилизацией!»

В Токио, «в этом мире интриг, отнимающем последнюю надежду на великую будущность Японии», куда его перевели в 1896 году, он еще безнадежнее почувствовал угасание Древней Японии.

«Университет в Токио, — писал он оттуда, — это маска для ослепления Запада: студенты плохо подготовлены, слушают философию на немецком языке и Мильтона на английском, не имея понятия об этих языках; а с профессорами делают, что хотят; мы в повиновении у них».

В собственной семье ему, однако, удалось почувствовать древнеяпонский дух, близкий и родной ему, — там все было так, «как тысячу лет тому назад».

В 1891 году он женился на молодой японке знатного рода. Боясь повторения драмы, пережитой его матерью, он лишил себя права гражданства, официально вошел в семью и касту жены и, следуя местному обычаю, принял имя ее семьи, Якумо Койзуми. Тем пресеклась даже мысль о возвращении на Запад. В доме его спали и бодрствовали, ели и читали на полу, устланном циновками, по которым бесшумно прохаживались босиком или в чулках. Комнаты без мебели, кроме цветочной вазы в углу, курительного прибора да разложенных всюду подушек, а ночью — тяжелые матрацы, которые свертывались и прятались утром. На стенах — картины, писанные по шелку. Дома Херн облакался в национальный костюм; на улице же или в университете он одевался по-европейски, считая свой необычайно большой орлиный нос неподходящим для японской одежды. Почти год он питался японскими кушаньями, по-вегетариански; но потом снова набросился на мясо и пиво. Станный, неожиданный перелом вызвало в его душе рождение сына: атеист Херн принес Богу благодарственную молитву и подверг коренной переоценке свое прежнее мировоззрение.

Страстный поборник синтоизма и буддизма, он внезапно возвратился к христианству, к католицизму, от которого отошел, еще будучи воспитанником иезуитского колледжа. Это может показаться непонятным; быть может, Херна упрекнули в непостоянстве, в отсутствии глубины и недостатке нравственных устоев. А между тем это было лишь одним из внешних проявлений его вечных исканий голубого цветка, его неутолимой тоски по нем. Последним словом этой тоски, этих исканий была тяжелая драма, разыгравшаяся в душе Лафкадио в последние годы его жизни: чем глубже он проникал в японскую душу, чем больше он любил ее, тем более отчуждался от нее. Книжки о Японии уже создали ему имя в Европе, а он к концу жизни с тоской писал: «Я изучил Японию лишь настолько, чтобы убедиться, что я совершенно не знаю ее».

Разочарованный в себе, в знании страны, так сильно любимой, в своем таланте, он весь отдался во власть жгучей тоски по Западу. Он нашел предлог для возвращения на родину — будущее воспитание сына, — завязал сношения с Америкой и Англией и получил приглашение от Лондонского и Оксфордского университетов. Но ему было не суждено покинуть Токио. Силы покидали его. 13(26) сентября 1904 года он скончался. Похоронили его по буддийским обрядам на древнебуддийском кладбище.

А душа его улетела в безбрежность и, быть может, возродившись в ином сочетании, нашла где-нибудь утление и мир, которых тщетно искала в этой жизни... «Грез буддизма нельзя превзойти, — говорит он в своей „Идею предсуществования“, — ибо они уже касаются бесконечного; но кто дерзнет сказать, что они не осуществимы...»

С. Лорие

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Большинство настоящих кайданов, или таинственных роковых сказок, заимствованы из старинных японских книг, как, например, «Язо-Кидан», «Буккио-Хиакква-Зеншо», «Кокон-Чомонгау», «Тама-Сударэ» и «Хиаку-Моногатари».

Возможно, что некоторые из них почерпнуты из китайских источников; так, например, поразительный «Сон Акиносукэ», наверное, китайского происхождения. Но автор, японец, так окрасил и преобразил свой рассказ, что он принял местный японский отпечаток.

Удивительную историю «Юки-Онна» рассказал мне в провинции Мусаши крестьянин по имени Нишитамогори как легенду того края. Была ли она когда-либо написана по-японски, я не знаю, но интересная тема, затронутая в ней, распространена почти во всей Японии и в самых разнообразных формах...

«Рики-Бака» — эпизод из личной жизни; я записал его так, как он произошел, изменив только одну фамилию, названную японским рассказчиком.

*Лафкадио Херн
Токио. Япония, 20 января 1904 г.*

МИМИ-НАШИ-ХОИЧИ

Более семисот лет тому назад, после долгой войны между кланами Хейкэ или Таира, и Генджи или Минамото, в проливе Шимоносеки при Дан-но-уре разыгралась последняя кровавая битва. В этой битве погибли все Хейкэ с женами и детьми; вместе с ними погиб и государь их, младенец, ныне известный под именем Антоку-Тенно. И в течение семисот лет там на море и на берегах появлялись привидения и духи...

Раньше я уже рассказывал вам о странных крабах, встречающихся в тех краях; их называют крабами Хейкэ, и на спинах у них человеческие лица; думают, что это духи погибших воинов из рода Хейкэ. Много таинственного происходит вообще на том берегу. В ночной темноте тысячи таинственных огоньков мелькают по взморью, несутся по волнам — бледные огоньки, — рыбаки называют их «Они-би», бесовскими огнями. А во время бури по морю разносится грозный шум, подобный грохоту битвы.

Но в прежние времена Хейкэ были гораздо беспокойнее, чем теперь. Ночью они поднимались из воды, кружились вокруг кораблей, стараясь их потопить, подстерегали пловцов и увлекали их в пучину морскую. Чтобы умиротворить этих мертвецов, в Акамагасеки¹ построили буддийский храм, Амидаджи, и кладбище на морском берегу; на памятниках надписали имена утонувшего государя и его могущественных вассалов. И установили правильное богослужение в память усопших. После этого Хейкэ стали тише, но время от времени они все-таки странно и жутко проявляли себя, значит, еще не вполне умиротворились.

Несколько столетий тому назад в Акамагасеки жил слепой музыкант по имени Хоичи. Во всей округе его уважали за его песни и игру на биве². С детских лет его обучали этому искусству, и уже мальчиком он превзошел своего учителя. Воспеванием Хейкэ и Генджи он скоро достиг известности и стал профессиональным бива-хоши, и говорят, что когда он пел о битве при Дан-но-уре, то плакали даже дьяволы и нечистые духи.

Сначала Хоичи был очень беден, но скоро нашел покровителя, который его приютил. Жрец в храме Амиды был большим любителем и знатоком поэзии и музыки и часто приглашал Хоичи в храм, чтобы послушать его пение и игру. А впоследствии, плененный дарованием юноши, он предложил ему навсегда переселиться к нему, на что Хоичи с радостью согласился. Ему отвели помещение в здании храма и кормили его, а в благодарность за это он должен был в свободные вечера услаждать своим искусством слух и сердце жреца.

¹ *Акамагасеки*; город этот известен также под именем Баккан.

² *Бива* — четырехструнный инструмент, род лютни, употребляемый большей частью для аккомпанемента при декламации. В прежние времена профессиональных певцов, декламировавших «Хейкэ-моногатари» (то есть «Повесть о Хейкэ») и другие трагические повести, называли бива-хоши или жрецами лютни. Происхождение этого названия не выяснено, но, быть может, оно происходит от того, что, как жрецы лютни, так и слепые арфисты брили головы, как буддийские жрецы. Играют на биве плектроном, обыкновенно роговым, называемым бачи.



Было лето; раз ночью жреца позвали в дом умершего для заупокойного богослужения по буддийскому обряду. Он взял с собою аколита, а Хоичи остался один дома. Было жарко и душно, и слепой, ища прохлады, вышел из своей комнаты на террасу. Терраса выходила в маленький сад за храмом Амиды. Хоичи стал ждать возвращения жреца, развлекаясь упражнениями на биве. Но уже полночь прошла, а жрец не возвращался. Было, однако, так душно, что слепой не хотел вернуться домой, а остался на террасе. Наконец он услышал шаги; кто-то шел по саду и, подойдя к террасе, остановился. Хоичи понял, что это не жрец. Низкий голос позвал слепого отрывисто, грубо, — так, как самураи зовут своих подчиненных:

— Хоичи!

Хоичи был так поражен, что не мог сразу ответить; тогда голос вторично позвал его повелительно, властно:

— Хоичи!



Цукиока Ёситоси. Мими-Наши-Хоичи

— Хай¹, — ответил слепой, испуганный угрозой, звучавшей в голосе, — я слепой и не знаю, кто меня зовет.

— Не бойся, — произнес незнакомец немного мягче, — я живу недалеко от этого храма и послан к тебе с поручением. Мой теперешний господин, особа очень высокого сана, в настоящее время находится в Акамагасеки с большой свитой. Он прибыл сюда для обозрения места битвы при Дан-но-уре; сегодня он посетил эти места. Он слышал о том, как мастерски ты воспеваешь эту битву, и желает услышать тебя. Бери же скорей свою биву и следуй за мною туда, где тебя ждет августейшее собрание.

В те времена опасно было послушаться самурая. Поэтому Хоичи привязал сандалии, взял биву и последовал за незнакомцем; тот взял его за руку и повел осторожно, но очень быстро. Рука незнакомца казалась железной, гулко раздавались шаги его

¹ Хай — «да» (примеч. переводчика).



по дороге; очевидно, это был член дворцовой стражи, вооруженный с головы до ног. Оправившись от первого испуга, Хоичи стал даже верить в благоприятное стечение обстоятельств. Он вспомнил слова вассала, что он послан особой высокой сан, и подумал, что его ждет не кто иной, как владетельный князь. Самурай остановился — и Хоичи понял, что они подошли к большим воротам; он удивился, потому что в этой части города не помнил больших ворот, кроме главного входа на кладбище Амидаджи.

— Каймон¹, — произнес самурай.

Послышался скрип тяжелого засова, и они отправились дальше. Пройдя по саду, они снова остановились у какого-то входа, и вассал громко крикнул:

— Эй вы! Я привел Хоичи!

Послышались торопливые шаги, шорох раздвигаемых ширм, предохраняющая от дождя дверь распахнулась, раздались женские голоса. Из их разговора Хоичи понял, что

¹ *Каймон* — почтительное слово, чтобы выразить дежурным привратникам свое желание.



Цукиока Ёситоси. Сражение Минамото и Тайра

то были служанки знатного дома, но ему все еще было неясно, куда его привел самурай. Ему недолго пришлось размышлять. Его повели по нескольким ступеням вверх и приказали разуться; потом женская рука взяла его за руку и повела по большим хоромам, мимо бесчисленных выступов и колонн, по нескончаемым, покрытым коврами проходкам. Наконец они очутились в огромном помещении, где, как ему показалось, собралось многочисленное знатное общество. Его слуха касалось шуршание шелковых платьев, подобное шелесту листьев в лесу. Кругом раздавался подавленный гул голосов, слышалась утонченная придворная речь.

Хоичи пригласили расположиться поудобнее. На полу он нащупал подушку и, усевшись, стал настраивать инструмент. Тогда к нему обратилась женщина, которую он принял за роджо¹.

— Желают, чтобы ты воспел историю Хейкэ под звуки бивы.

¹ Роджо — надзирательница над женской прислугой (примеч. переводчика).



Но вся повесть заняла бы много ночей, и Хоичи решился спросить:

— Всего не расскажешь так скоро. Осмелюсь ли я спросить, какую часть желают услышать?

Женский голос ответил:

— Спой о битве при Дан-но-уре, — это самая трогательная часть¹.

И Хоичи запел, и полилась его песнь о битве на коварном и злом море; и ударил он по струнам своей бивы, и чудесные звуки раздались вокруг: казалось, будто то были удары весел, рев моря, бросающего корабли из стороны в сторону, свист и жужжание стрел, гулкие шаги воинов, звон стали на шлемах и всплески волн над телами убитых. А в перерывах он слышал справа и слева восторженный шепот: «Художник и чародей!», «Даже в наших краях мы никогда не слыхали такой игры и такого пения!», «Во всем государстве нет такого певца!»

¹ Эту фразу можно было бы перевести и так: «потому что жалость этого места самая глубокая»; в японском оригинале это обозначается словом «аварэ».



Цукиока Ёситоси. Гибель клана Хейкэ

Воодушевленный такой похвалой, он пел и играл еще увлекательнее, чем прежде. А вокруг него царило гробовое молчание, — все слушали, затаив дыхание. Но когда он дошел до плачевной кончины беспомощных и несчастных детей и женщин, когда Нии-но-Ама с государем-младенцем на руках бросается в море, в объятия смерти, — все слушатели как один испустили протяжный крик ужаса и сострадания; а вслед за этим застонали так громко, так неудержимо, что слепой испугался той силы страдания, которую сам вызвал. Долго продолжались стоны и рыдания, но понемногу стали стихать, наконец совсем смолкли, и наступила мертвая тишина. Тогда снова раздался уже знакомый Хоичи женский голос:

— До нас уже дошла слава о тебе как о великом художнике, но ты превзошел все ожидания наши. Господин наш соблаговолил назначить тебе соответствующее вознаграждение; но он желает, чтобы ты продолжал свои песни еще в течение следующих шести дней, после чего, вероятно, последует его высочайший отъезд. Завтра ночью будь готов прийти сюда к тому же часу. Вассал, который сегодня привел тебя, снова

придет за тобою... Еще мне поручили сказать, чтобы ты свято хранил тайну своих ночных посещений, пока наш сиятельный господин пробудет в Акамагасеки. Его светлость изволит путешествовать инкогнито¹, и его высочайшая воля, чтобы об этом никто не знал... Теперь ты свободен и можешь вернуться домой.

Хоичи в надлежащих словах выразил свою благодарность, и женская рука провела его до главного входа; там его уже ждал знакомый вассал, который довел его до террасы в саду около храма и, распростившись с Хоичи, ушел.

*

Уже утренняя заря занялась, когда Хоичи вернулся домой, но его отсутствие осталось незамеченным, так как жрец, сам поздно вернувшись, думал, что слепой уже давно спит сладким сном. В течение следующего дня Хоичи мог отдохнуть. О таинственном приключении он не проронил ни единого слова. В полночь самурай снова явился и проводил Хоичи в августейшее собрание, где он вторично пел и играл с тем же успехом. Но на сей раз случайно заметили его отсутствие в храме. Утром, когда Хоичи вернулся, жрец позвал его к себе и сказал с кротким упреком:

— Мы очень беспокоились о тебе, друг мой Хоичи. Ты слеп, в твоем положении опасно выходить так поздно и одному. Почему ты не сказал нам, что тебе нужно выйти? Я поручил бы слуге тебя проводить. И где же ты был?

Хоичи ответил уклончиво:

— Простите меня, добрый друг, у меня было дело, которого я не мог исполнить в другое время, — дело, касающееся только меня!

Скрытность Хоичи не столько рассердила, сколько удивила жреца. Он предчувствовал, что творится что-то недоброе. Но он не расспрашивал больше, а только поручил своим слугам тайно следить за слепым и, если он выйдет ночью из храма, следовать за ним по пятам.

Когда на следующую ночь заметили, что Хоичи украдкой вышел из дома, слуги поспешно зажгли фонари и незаметно последовали за ним. Но было темно, и шел сильный дождь; не успели слуги дойти до большой дороги, как Хоичи скрылся. Очевидно, он шел очень быстро, и это было странно ввиду его слепоты; кроме того, и дороги были очень плохие. Слуги поспешно обошли все улицы, заходя во все дома, где слепой бывал, но нигде его не нашли. Наконец они уже собирались вернуться домой, но, проходя вдоль берега, вдруг услышали громкие звуки бивы, раздававшиеся на кладбище Амидаджи. На кладбище царила глубокая темнота, и только таинственные огоньки, как всегда в темные ночи, мелькали и носились взад и вперед. Но слуги храбро поспешили на кладбище и при свете своих фонарей нашли Хоичи под дождем, одиноко сидящего перед памятником Антоку-Тенно и под звонкие звуки бивы воспевающего битву при Дан-но-уре. А за ним, вокруг него и повсюду над каждой могилой могильные огоньки горели, как свечи. Такого множества Они-би до сих пор еще не видел ни один смертный.

— Хоичи-Сан, Хоичи-Сан, — звали слуги, — ты околдован, Хоичи-Сан!

Но слепой, казалось, не слышал их, и струны бивы звучали все пламеннее и громче, и все жарче и увлекательнее раздавалась песнь о битве при Дан-но-уре. Слуги трясли его за плечи и кричали ему прямо в ухо:

¹ *Инкогнито* — скрыто, тайно, не раскрывая своего имени, под вымышленным именем; дословный перевод с японского оригинала: «совершать высочайшее скрытое путешествие» — «шиноби но го-риюко».

— Хоичи-Сан, Хоичи-Сан! Иди же с нами домой!

Наконец он им с упреком ответил:

— Кто смеет мешать мне в обществе этих светлейших особ?

Тогда слуги, несмотря на жуткую обстановку, не могли удержаться от смеха. Он был околдован — в этом не могло быть сомнения. Они схватили его, силой поставили на ноги и потащили домой. Там с него сняли мокрое платье, надели сухое, накормили и напоили его. После этого жрец настоятельно потребовал правдивого объяснения его непонятного поведения.

Долго Хоичи не решался говорить; но, видя, что его поведение действительно обеспокоило и огорчило доброго жреца, он наконец решился выдать тайну и рассказал все, что с ним случилось за последние дни.

Тогда жрец сказал:

— Хоичи, бедный друг мой, ты теперь в большой опасности. Как жалко, что ты не открылся мне раньше. Поистине, твои способности навлекли на тебя большую беду. Теперь ты сам понимаешь, что не с людьми во дворце ты проводил свои ночи, а на кладбище, среди могил Хейкэ; сегодня ночью наши слуги нашли тебя под дождем перед могилой Антоку-Тенно. Все, что тебе почудилось, все было миражом — все, кроме призыва мертвых. Тем, что ты послушался их один раз, ты очутился в их власти. А если ты снова последуешь их зову, после того что случилось сегодня, — они растерзают тебя. Но рано или поздно они все равно неминуемо погубили бы тебя. К сожалению, я эту ночь не могу остаться с тобою, — мои обязанности зовут меня в другое место; но раньше чем уйти, я хочу защитить твоё тело, покрыв его священными письменами.

До захода солнца жрец с помощью аколита раздел Хоичи донага и покрыл его грудь, спину, плечи, лицо, голову, шею, руки и ноги, даже подошвы, текстами из священной сутры Ханниа Шин-Кио¹.

После этого жрец дал ему наставления — как вести себя.

— Сегодня вечером, — сказал он ему, — когда я уйду, сядь на террасу и жди. Тебя будут звать, но ты не двигайся и не отвечай, что бы ни делалось вокруг тебя. Сиди недвижимый, будто погруженный в благочестивые размышления. Малейшее движение, малейший шум с твоей стороны — и тебя растерзают на части. Но ты не бойся и только не вздумай звать на помощь, — спасти тебя не может никто. Если ты в точности исполнишь мои предписания — опасность минует, и тебе больше нечего будет бояться.

С наступлением темноты жрец удалился со своим аколитом, а Хоичи сел на террасу, как ему приказали. Он положил биву на пол рядом с собою, сделал вид, что погружен в благочестивые размышления, и тихо сидел, стараясь не кашлять и по возможности неслышно дышать.

¹ *Сутра Ханниа Шин-Кио*; так называется по-японски малая Прагна-Парамита-Хридайя сутра. Как большая, так и малая Прагна-Парамита (Трансцендентальная мудрость) переведены профессором Максом Мюллером и содержатся в XLIX томе «Священных книг Востока» (Буддийские Махаяна сутры). Что касается магического применения текста, как описано в этом рассказе, нужно сказать, что содержанием сутры является доктрина о «пустоте формы», то есть о нереальности всех феноменов и ноуменов. Форма есть пустота и пустота есть форма; пустота то же, что форма, и форма то же, что пустота; что форма, то пустота, что пустота, то форма. Перцепция и концепция, название и знание — все пустота. Нет ни уха, ни глаза, ни носа, ни языка, ни мысли... И когда призрак сознания уничтожен — он (ищущий) освобождается от всякого страха. И, освободившись от превратностей, он станет причастен радостям нирваны.

Так прошло много часов.

Вдруг он услышал шаги по дороге; кто-то шел мимо ворот по саду, приблизился к террасе и остановился перед нею.

— Хоичи! — окликнул его низкий голос.

Но слепой не двигался и сидел, затаив дыхание.

— Хоичи! — второй оклик уже был грозным, а третий гневным: — Хоичи!

Хоичи сидел немой, неподвижный как камень.

— Не отвечает, — проворчал голос. — Что это значит? Посмотрим, куда он девался.

Тяжелые шаги застучали по ступеням, приблизились и остановились перед слепым. Последовало несколько секунд гробового молчания, во время которого Хоичи чувствовал, что его кровь стынет в жилах. Грубый голос раздался возле него:

— Вот лежит бива, но от всего музыканта видны только уши. Немудрено, что он не отвечает. Ведь у него нет рта, чтобы ответить; от него ничего не осталось, кроме ушей; нечего делать, принесу моему господину хоть уши; он увидит, что его высочайшее повеление было исполнено насколько возможно.

В ту же минуту Хоичи почувствовал, что железные пальцы схватили его за уши и оторвали их. Несмотря на ужасную боль, он не издал ни звука. Тяжелые шаги гулко прозвучали по террасе, спустились в сад, затихли на большой дороге и смолкли. Слепой чувствовал, как по обеим сторонам его головы сочились густые теплые капли, но он не решился поднять рук.

Перед восходом солнца жрец вернулся домой. Он поспешил на террасу и поскользнулся, наступив на что-то скользкое, липкое. Увидав при свете фонаря, что это кровь, он вскрикнул от ужаса. Только теперь он заметил Хоичи; несмотря на кровь, сочащуюся из его ран и текущую по щекам, он все еще сидел, будто погруженный в благочестивые размышления.

— О бедный, бедный мой Хоичи! — воскликнул огорченный жрец. — Что случилось с тобой? Что с тобой сделали?

Услышав голос друга, слепой почувствовал, что он спасен. Он разрыдался и со слезами рассказал свое ночное приключение.

— Бедный, бедный Хоичи! — воскликнул жрец. — Это моя вина! Какое роковое упущение! Все твоё тело мы покрыли священными знаками, а об ушах забыли! Я положился на аколита, но я виноват, что не проверил, исполнил ли он в точности мое приказание. Ну, делать нечего, теперь беды не поправишь; постараемся поскорее залечить твои раны. Смелее, мой друг, опасность теперь миновала, и страшные гости никогда больше не придут к тебе!

Искусный врач залечил раны Хоичи; а весть о его странном приключении распространилась по всей стране и сделала его знаменитым. Много знатных особ нарочно приезжали в Акамагасеки, чтобы слышать его пение и игру; золото так и сыпалось в его карманы, и скоро он стал богачом. Но с тех пор его называли не иначе как Мими-Наши-Хоичи, то есть безухий Хоичи.

О-ТЭИ

Много лет тому назад, в городе Ниигата, в провинции Эчизен, жил молодой человек по имени Нагао Чозей.

Нагао был сыном врача и готовился стать тоже врачом. Ребенком его уже обручили с девочкой О-Тэи, дочерью друга его отца. Обе семьи решили, что свадьба состоится, как только Нагао окончит учение. Но О-Тэи была очень слаба и на пятнадцатом году заболела чахоткой. Почувствовав близость смерти, она позвала Нагао, чтобы проститься с ним.

Он пришел и опустился около ложа ее на колени.

— Нагао-Сама, жених мой, — сказала она, — нас с детства предназначили друг для друга, и в конце года нам предстояло соединиться. А теперь мне суждено умереть, — боги лучше нас знают, что нужно нам. Если бы я еще прожила несколько лет, то причинила бы тебе только страдание и горе. Такая слабая и хрупкая, я не могла бы быть тебе хорошей женой, и было бы дурно с моей стороны, если бы я желала жить дольше. Я готова умереть, и хотела бы только, чтобы ты мне обещал не слишком сокрушаться и горевать... И вот что я еще хочу поведать тебе: мы, наверное, увидимся снова с тобою...

— Да, мы увидимся снова, — серьезно ответил Нагао, — увидимся мы в той Чистой Стране, где нет ни слез, ни разлуки.

— Нет, нет, — кротко возразила она. — Я помышляю не о Чистой Стране. Я уверена, что нам суждено встретиться в этом мире, несмотря на то что завтра меня похоронят.

Нагао вопросительно взглянул на нее; она улыbnулась его удивлению и продолжала своим нежным, мечтательным голоском:

— Да, в этом мире, в твоей настоящей жизни, Нагао-Сама... Но только если ты пожелаешь. Для этого я должна возродиться, вырасти, стать женщиной. Тебе придется ждать лет пятнадцать-шестнадцать. Долгий срок... Но, мой нареченный супруг, ведь тебе не больше девятнадцати лет...

Желая утешить умирающую невесту, он нежно ответил:

— Ждать тебя, дорогая, — не только долг мой, но и радость моя. На время семи жизней мы неразлучны.

— Ты сомневаешься? — со страхом спросила она.

— Дорогая моя, — ответил он, — сомневаюсь, узнаю ли я тебя, когда увижу в ином образе под другим именем, — или ты должна будешь дать мне какой-либо знак.

— Этого я не могу, — сказала она. — Лишь боги и будды знают, где и как мы встретимся снова. Но я знаю, я твердо знаю, что вернусь к тебе, если ты только захочешь... Помни эти слова...

Она замолкла, сомкнула очи и умерла.



Хокусай Кацусика. Окабэ. Из серии «53 станции Токайдо»

*

Нагао искренно любил О-Тэи и глубоко о ней горевал. Он заказал памятную дощечку с ее зокумио¹, спрятал ее в своем будзудане² и каждый день ставил перед нею дары. Долго он размышлял над таинственными словами, которые О-Тэи сказала ему перед смертью. Чтобы утешить душу ее, он написал торжественную клятву обручиться с нею, если она когда-либо вернется к нему. Эту клятву он запечатал собственной печатью и положил в будзудан рядом с памятной дощечкой О-Тэи.

Но Нагао был единственным сыном, и поэтому ему нельзя было остаться холостым. Скоро ему пришлось сдаться, исполнить требование родителей и обвенчаться с девушкой, которую отец для него выбрал. Но и после свадьбы он не переставал ставить дары перед памятной дощечкой О-Тэи и всегда с любовью вспоминал об умершей. Но понемногу воспоминание о ней стало бледнеть, как сон, который с трудом вспоминаешь. А годы текли.

За это время ему пришлось пережить много горя. Умерли его родители, потом умерла жена, умер ребенок. И он стал совсем одинок. Чтобы несколько рассеять печаль, он покинул свой безрадостный дом и предпринял долгое путешествие.

¹ *Зокумио* — мирское имя; буддийское выражение, означающее имя, которое человек носит при жизни, в отличие от *хомио* или *каймио*, то есть посмертного имени.

² *Будзудан* — священный шкаф, в котором сохраняются статуи Будды, памятные дощечки в память умерших (*ихан*) и другие священные предметы; перед ними зажигают свечи и благовоное курение.

*

Однажды приехал он в Икао, горное местечко, известное и поныне целебными источниками и красотой природы. В деревенской харчевне, куда он зашел отдохнуть, его встретила молодая девушка. При виде ее сердце его так сильно забилося, как никогда не билось доныне. Девушка эта так удивительно была похожа на О-Тэи, что он принял все это за сон. Она входила и выходила, разводила огонь, приносила кушанье, убирала помещение гостя, — и каждое ее движение вызывало в нем воспоминание о девушке, с которой в молодости он был обручен. Он с нею заговорил, она отвечала, и звук ее голоса, звонкий, чарующий, нежный и грустный, наполнял его душу сладкой тоской о прошедшем...

Пораженный, смущенный, он решил спросить у нее:

— Сестрица, ты так похожа на девушку, которую я некогда знал; я был поражен, когда ты в первый раз вошла в комнату. Прости мой вопрос: где родилась ты и как имя твое?

И из уст девушки он услышал незабвенный голос умершей:

— Зовут меня О-Тэи. А ты Нагао Чозей из Эчизена, мой нареченный супруг. Семнадцать лет тому назад я умерла в Ниигата. А ты дал обет обручиться со мною, если я снова в образе женщины вернусь в этот мир. Ты этот обет написал, запечатал его своей печатью и положил в будзудан, рядом с памятной дощечкой, на которой начертано мое имя. И потому я вернулась.

И девушка упала, потеряв сознание.

*

Нагао с ней обвенчался, и брак их был очень счастливым. Но уже никогда больше она не могла вспомнить, что ответила ему в Икао, никогда не могла больше вспомнить о своем предшествовавшем существовании. Воспоминание о прежней жизни, вспыхнувшее на мгновение при встрече с Нагао, снова погасло, и уже навсегда.

ОСИДОРИ

В округе Тамура-но Го, в провинции Мутсу, жил сокольник и охотник по имени Сонджо. Однажды он отправился на охоту; проходил целый день, но не нашел дичи. На обратном пути, в местечке Аканума, переправляясь через реку, он увидел наконец пару плавающих рядышком осидори¹. Убить осидори — грех, но Сонджо был так голоден, что выстрелил в них. Стрела пронзила самца. Самка же скрылась на противоположном берегу в тростнике. Сонджо взял с собою убитую птицу и дома изжарил ее.

Ночью ему приснился страшный сон. Будто в его комнату вошла красавица и, подойдя к его изголовью, залилась слезами. Она так горько рыдала, что когда Сонджо слушал ее, ему казалось, будто его сердце рвется на части. Женщина сказала ему:

— О, за что, за что ты убил его? В чем он провинился? Мы были так счастливы вместе в нашем родном Аканума, а ты нас разлучил!.. Что он тебе сделал?.. Сознаешь ли ты, что ты сделал? О, ты даже не сознаешь всей жестокости своей!.. Ты убил не только его, ты убил и меня; ведь без него мне не жить!.. Я явилась сюда только для того, чтобы сказать тебе это...

И она вновь зарыдала так неудержимо и горько, что сокольник был потрясен. И ее трепетные уста прошептали такие стихи:

Хи куруреба
Засоеши моно уо —
Аканума но
Макомо но курэ но
Хитори нэ зо уки!

(На заре я просила его вернуться со мною домой. А теперь в Аканума — в тени тростника — увы, одинокой мне приходится спать.)

— Ты не знаешь, ты не знаешь, что ты сделал со мною, — повторила она еще раз. — Но завтра, когда ты придешь в Аканума, увидишь, ты увидишь тогда...

И исчезла, неудержимо рыдая.

Проснувшись на другое утро, Сонджо так ясно вспомнил свой сон, что был совсем потрясен. Он вспомнил слова: «Но завтра, когда ты придешь в Аканума, увидишь, ты увидишь тогда!..» И он поспешил в Аканума, чтобы убедиться, имел ли его сон какое-либо значение.

Придя к речному берегу, он увидел самочку осидори, одиноко плавающую по воде. В то же мгновение и она увидела его. Но вместо того, чтобы спастись, она близко подплыла к нему, не спуская с него остановившихся глаз. Вдруг она клювом разорвала себе грудь и скончалась у него на глазах...

Сонджо обрил голову и стал жрецом.

¹ *Осидори*, или *мандаринка* — небольшая птица рода диких уток; на далеком Востоке считались символом супружеской верности.



Сюнсё Кацукава. Актер Сегав Кикунодзо III, в образе Духа мандаринки

УБАЗАКУРА

Триста лет тому назад в деревне Асамимура, в округе Онсенгури, в провинции Ийю, жил добрый человек по имени Токубей. Он был самым богатым в округе и занимал должность мураоса, то есть деревенского старосты. Во всех отношениях он был счастлив, — только одного не доставало: не было у него детей, а ему было уже лет сорок. Это очень печалило его и жену. Супруги воссылали много горячих молитв к богу Фудо-Мио-О, которому в Асамимуре был посвящен известный храм, называемый Сайходжи.

Наконец Фудо-Мио-О внял их молитвам. Жена Токубея родила очень красивую девочку, которую называли О-Тсую. Так как у матери не было молока, для ребенка взяли кормилицу по имени О-Содэ.

Из ребенка О-Тсую превратилась в красавицу девушку. Но на пятнадцатом году жизни она захворала, и врачи думали, что смерть неизбежна. Тогда кормилица, любившая О-Тсую, как родная мать, пошла в храм Сайходжи и всем сердцем молила Фудо-Сама о выздоровлении девушки. Каждый день она ходила в храм и усердно молилась. И через двадцать один день О-Тсую внезапно выздоровела.

Счастью родителей не было предела. На радость Токубей задал друзьям своим пир. Но в тот же вечер кормилица О-Содэ вдруг заболела. А на следующее утро врач объявил, что смерть неизбежна.

Вся семья Токубея, глубоко опечаленная, собралась у ложа ее, чтобы с нею проститься. А она им сказала:

— Пришло время поведать вам о том, о чем вы не знали: Фудо-Сама услышал молитву мою. В течение двадцати одного дня я заклинала его дать мне умереть вместо О-Тсую, и он даровал мне эту великую милость. Не горюйте же обо мне. Только об одном я прошу вас: я обещала Фудо-Сама в знак моей памяти и благодарности посадить вишневое дерево в саду Сайходжи. Сама я не могу больше исполнить этого обещания и должна попросить вас сделать это вместо меня... Прощайте, друзья дорогие, и знайте, что я счастлива умереть за О-Тсую.

Похоронив О-Содэ, родители О-Тсую посадили молодую прекрасную вишню в саду Сайходжи. Дерево росло, крепло, и на следующий год в шестнадцатый день второго месяца — в день смерти О-Содэ — оно сплошь было покрыто прекраснейшим цветом. Двести пятьдесят четыре года подряд оно расцветало — всегда в шестнадцатый день второго месяца, и цветы его, розовые и белые, были подобны каплям молока на розовой женской груди. Люди прозвали его Убазакура — вишневое дерево кормилицы.



Эйсэн Кёсай

ДИПЛОМАТИЯ

Казнь должна была совершиться в саду яшики¹. Приговоренного к смерти привели и поставили на колени на площадке, покрытой щебнем, огороженной каменными плитами — тобииши, — какие до сих пор встречаются в японских загородных садах. Ему скрутили на спине руки, принесли ведра с водой и рисовые мешки, наполненные камнями. Обложили стоящего на коленях рисовыми мешками, стиснув его так, что он не мог шевельнуться. Пришел самурай, проверил приготовления, нашел все в порядке и не сделал ни одного замечания.

Вдруг осужденный крикнул ему:

— Светлейший, преступление, за которое меня осудили, я совершил бессознательно, без намерения. Виновата только глупость моя. По закону кармы я родился на свет глупым и поэтому часто ошибался. Но несправедливо убивать человека за глупость, и эта несправедливость будет отомщена. Отмщение так же несомненно, как моя смерть. Ненависть, которую вы разожгли, породит месть, за зло воздастся злом.

Есть поверье на далеком Востоке, что опасно убивать человека, полного непримиримой ненависти и злобы: дух его может отомстить тому, кто является виновником его смерти. Самурай это знал. И кротко, почти заискивающе он ответил:

— После смерти своей можешь пугать нас сколько хочешь. Но я не верю, что ты этого хочешь серьезно. Дай нам какой-либо знак твоей ненависти, после того как мы обезглавим тебя. Хочешь?

— Хочу, — ответил осужденный.

— Хорошо, — сказал самурай, обнажая свой длинный меч. — Сейчас я отрублю тебе голову. Перед тобой каменная плита. Попытайся впиться в нее зубами, после того как тебя обезглавят. Если твой разгневанный дух придаст тебе силы, чтобы сделать это, мы все затрепещем от страха перед местью твоей... Хочешь впиться в нее зубами?

— Я вопьюсь в нее! — закричал осужденный в бешенстве. — Я вопьюсь, я вопьюсь!

Меч сверкнул, как молния... Раздался свист. Удар — и привязанное тело склонилось на рисовые мешки... Брызнули две струи теплой крови, и голова скатилась на щебень... Медленно подкатилась она к камню — и вдруг воспрянула, вцепилась в камень зубами, с отчаянным усилием на мгновение впилась в него и, ослабев, упала на землю...

Никто не произнес ни слова. Слуги в ужасе устремили взоры на своего господина. Но тот казался совершенно спокойным. Он протянул окровавленный меч, а слуга из деревянного ведра полил лезвие водой — от рукоятки до острия — и бережно вытер сталь мягкой бумагой... Так окончилась официальная часть казни.

¹ *Яшики* — резиденция дайма, крупного японского землевладельца из феодального дворянства (примеч. переводчика).

*

В течение нескольких месяцев вассалы и слуги жили в постоянном страхе, что вот-вот появится привидение. Все были уверены, что грозная месть неизбежна. И от постоянного страха им все время что-то чудилось. Они содрогались от шелеста ветра в бамбуковых рощах, даже от трепетной тени деревьев в саду. После долгого совещания они решили, наконец, попросить своего господина прочесть молитву для умиротворения мстительного духа.

— Этого совершенно не нужно, — сказал тот, когда главный слуга передал ему общую просьбу. — Я понимаю, что вы боитесь жажды мести, которой горел осужденный. Но в данном случае нет основания для таких опасений.

Слуга с удивлением посмотрел на своего господина, но не решался спросить о причине такого непонятного спокойствия.

Самурай, угадав его мысли, ответил:

— Все очень просто: только самая последняя воля этого человека могла быть опасной. Но когда я ему предложил подать мне знак, я отвлек его дух от помыслов мести. Он умер с твердым намерением впиться зубами в камень, — и это он мог совершить, но не больше. Все остальное он должен был позабыть. Вы видите, что вам нечего бояться.

И, действительно, умерший не появлялся, и ничего не случилось.

ЗЕРКАЛО И КОЛОКОЛ

Восемьсот лет тому назад жрецы Мугэниама в провинции Тотоми задумали отлить для своего храма большой новый колокол. Для этого нужно было очень много металла, и жрецы попросили всех женщин своего округа пожертвовать на колокол старые бронзовые зеркала.

И в наше время встречаешь еще груды бронзовых зеркал, пожертвованных верующими и нагроможденных на дворе храма. Самое большое количество таких жертв я видел на дворе храма секты Иодо в Хакате, в провинции Кью-Шу. Эти зеркала предназначались для отлития статуи Амиды, — огромной, 35 футов в высоту.

*

В то далекое время в числе жертвовательниц была молодая женщина, жена крестьянина из Мугэниама. Но скоро ей стало жалко своего зеркала. Ей вспомнились материнские рассказы о нем, вспомнилось, что оно принадлежало не только матери, но бабушке и прабабушке, она представила себе все счастливые улыбки, которые отражались в зеркале все это долгое время. Она, конечно, могла бы выкупить у жрецов дорогую ей память, но у нее не было денег. Каждый раз, приходя в храм, она видела свое зеркало за решеткой в гряде многих тысяч других. Она узнавала его по рельефам на обратной стороне — Шо-Чiku-Баи (трем эмблемам счастья — сосне, бамбуку и сливовому цветку), — которые так восхищали ее, когда мать ей в детстве показывала их. Она несказанно тосковала по любимой вещи и ждала только случая, чтобы незаметно похитить ее. Уж как она тогда схоронит ее, как будет беречь! Но случай не представлялся, и молодая женщина глубоко страдала, потому что ей казалось, будто она легкомысленно отдала часть своей жизни. Ей все вспоминалось древнее изречение «зеркало — душа женщины», начертанное китайскими письменами на обратной стороне многих зеркал. И она со страхом спрашивала себя, нет ли в изречении этом более глубокого, рокового смысла, чем она думала раньше. Но своих сомнений и своего горя она никому не решалась поведать.

*

Когда наконец стали плавить пожертвованные на колокол зеркала, литейщики увидели, что одно зеркало не расплавлялось. Как ни старались они расплавить его, оно оставалось целым в самом жарком огне. Очевидно, жертвовательница принесла дар не от чистого сердца. Ей стало жалко подарка, и ее черствая душа словно передалась зеркалу, так что даже в огне плавильной печи оно оставалось холодным и жестким.

Весть эта быстро распространилась по всей деревне, и все узнали, чье зеркало не расплавляется в огне. Разоблачение ее тайных желаний разгневало и пристыдило бедняжку. Она не перенесла такого позора и утопилась, оставив письмо.



Тории Киёмицу

«После моей смерти, — писала она, — легко будет расплавить мое зеркало. Колокол выльют. Но тому, кто, звоня, его раздробит, душа моя ниспошлет большое богатство».

*

Должен заметить, что на далеком Востоке приписывают сверхъестественную силу предсмертному обещанию самоубийцы или умершего с ненавистью и злобой в душе. Когда зеркало покойной расплавили и отлили колокол, люди вспомнили это письмо. И верили твердо, что душа самоубийцы ниспошлет большие богатства тому, кто колокол разобьет. Не успели его повесить, как к храму стал стекаться толпой народ, желая звонить в него. Звонили изо всех сил, но колокол оказался крепким и не разбивался. Но люди не теряли надежды. Ежедневно ночью и днем они, не переставая, трезвонили изо всех сил, несмотря на увещания и упреки жрецов. Наконец этот звон стал настоящим соблазном для всех, и жрецы потеряли терпение. Чтобы избавиться от колокола, они столкнули его с холма, и он покатился вниз, прямо в болото. Болото было очень глубоко, колокол в него погрузился и навеки исчез. Таков был конец колокола, и ничего от него не осталось, кроме этой легенды, — легенды о Мугэн-Канэ, или колоколе из Мугэна.

*

Есть в Японии своеобразное представление о магической действенной силе мыслительного процесса, который обозначается глаголом «назораэру», но не объясняется им. Очень трудно точно перевести это слово, потому что оно обозначает и многочисленные приемы мимической магии, и религиозные обряды. В словаре можно найти его перевод как «подражать», «сравнивать», «уподоблять». Но эзотерический смысл этого слова — «мысленно замещать одну вещь другой, одно действие другим с целью вызвать магическое или чудесное воздействие».

Вы, например, не можете построить буддийского храма, но можете положить перед изображением Будды камешек, питая в душе то благочестивое чувство, которое заставило бы вас построить храм, если бы у вас были средства. И приношение простого камня будет такой же, или почти такой же, заслугой, как постройка храма... Возьмем другой пример: вы не в состоянии прочитать все тома буддийского Священного Писания — их шесть тысяч семьсот семьдесят один, — но вы можете толкнуть и завертеть, как волчок, подвижную книжную полку, и если вы при этом воодушевлены пламенным желанием прочитать все тома Писания, заслуга будет так же велика, как если бы вы в действительности их прочитали... Может быть, этого будет довольно, чтобы понять религиозное значение слова «назораэру».

Для объяснения всех магических значений этого слова потребовалось бы, конечно, больше разнообразных примеров. Но для нашей цели довольно и следующих: если вы сделаете соломенного человека и в Час Вола прибьете его гвоздями не короче пяти вершков к дереву в роще близ храма, — то лицо, символизированное этой куколкой, умрет страшною смертью. Это иллюстрация к одному из многих значений слова «назораэру». Если ночью разбойник проникнет в ваш дом и похитит



Тёки Эйсосай. Сцена из спектакля «Колокол из Мугэна»



Сюнсё Кацукава

все драгоценности ваши, и вам удастся найти в саду его следы, и если вы немедленно сожжете в каждом из них по большому пучку сорной травы, то подошвы разбойника так загорятся, что он до тех пор не найдет покоя, пока не придет и не признается вам в своем преступлении. Это второе, магическое, значение слова «назо-разру». А третье значение мы находим в многочисленных сказаниях о Мугэн-Канэ.

*

После того как колокол потопили в болоте, надежда разбить его, конечно, исчезла. Но многие, не желая отказаться от этой надежды, били и колотили по разным предметам, мысленно замещая ими колокол и думая порадовать душу умершей, наделавшей столько бед. Среди них была и женщина по имени Умэгаэ, известная в японских сказаниях своей близостью к Кадживара Кагэсуэ, воину из клана Хейкэ. Однажды, во время совместного путешествия, Кадживара Кагэсуэ очутился в большом денежном затруднении. Тогда Умэгаэ, вспомнив чудесную силу, приписываемую колоколу из Мугэна, взяла бронзовый таз, сосредоточила мысли на потонувшем колоколе и, громко моля его о трехстах золотых, изо всех сил стала бить в таз и била до тех пор, пока не разбила. Один из приезжих в гостинице, где это происходило, спросил о причине такого

крика и шума и, узнав о бедственном их положении, подарил Умэгаэ триста золотых рио. Впоследствии сложили песенку, посвященную бронзовому тазу Умэгаэ. Танцовщицы поют ее и поныне:

Умэгаэ но чозубачи татаитэ
О-канэ га деру нараба,
Мина Сан ми-укэ уо
Сорэ таномимасу.

(Если бы я, разбивая таз, обрела богатство, я бы всех вас, подружки, вывела на свободу.)

После этого слава о Мугэн-Канэ распространилась по всей стране и многие следовали примеру Умэгаэ, надеясь на то же счастье.

Захотелось такого счастья и одному крестьянину с берегов Онгава, близ Мугэни-ама, известного своим безнравственным поведением. Он вел распутную жизнь и прокутил все свое состояние. Когда у него ничего не осталось, он слепил глиняную форму Мугэн-Канэ и, громко моля о богатстве, ударил по ней и разбил.

Вдруг перед ним появилась женщина в белой развевающейся одежде, с длинными распущенными волосами, в руках — закрытый горшок!

— Я услышала твою ревностную молитву, — сказала она, — и явилась, чтобы наградить тебя по заслугам. Прими же этот сосуд.

Вручив ему горшок, она скрылась.

Не помня себя от радости, крестьянин бросился домой, чтобы рассказать жене о своем счастье. Они поставили перед собою горшок, очень тяжелый, сгорая от любопытства, сняли крышку и увидели, что он доверху был наполнен...

Нет, я, право, не решаюсь сказать, чем был наполнен горшок...

ДЗИКИНИНКИ

Однажды, путешествуя по провинции Мино, жрец секты Зен, Музо Кокуши, заблудился на пустынных горных дорогах. Долго беспомощно бродил он по горам и наконец потерял надежду найти убежище на ночь. Но вдруг на вершине холма, освещенного последними лучами заходящего солнца, он увидел анджитсу — хижину отшельника. Хижина была очень мала и ветха, но путник поспешил к ней и увидел, что в ней живет старый монах, которого он и попросил приютить его на ночь. Старик сурово отклонил его просьбу, но показал дорогу к поселку в ближайшей долине, сказав, что там его, быть может, примут и даже накормят.

Музо пошел по указанному пути и вскоре дошел до поселка, состоящего из немногих домов. В доме деревенского старосты его ласково встретили и приютили. В горнице, куда Музо вошел, было человек сорок, ему же отвели маленькую комнатку и приготовили постель и ужин. Он был утомлен и рано лег спать. Но незадолго до полуночи его разбудил громкий плач, доносившийся из соседней комнаты. Раздвинулись ширмы, — вошел молодой человек с фонарем, почтительно поклонился ему и сказал:

— Благородный наш гость, я должен исполнить горестный долг и объявить вам, что отныне я ответственный глава этого дома. Вчера я был здесь лишь старшим сыном. Но, когда вы пришли сюда, такой утомленный после долгой дороги, мы не хотели вас беспокоить; поэтому мы вам не сказали, что наш отец скончался лишь за несколько часов до этого. Люди, которых вы видели в соседней комнате, — наши односельчане, собравшиеся, чтобы отдать покойному последний долг. Теперь все отправляются в другую деревню, милях в трех отсюда, ибо таков наш обычай; никто не должен оставаться в этой деревне в ночь после чьей-либо смерти. Теперь мы принесем установленные дары и предписанные обрядом молитвы, после чего уйдем, оставив покойника одного. В доме, где остается покойник, всегда происходит много таинственного; думаю, что и для вас было бы лучше пойти с нами. Мы найдем для вас ночлег в другой деревне. Но, быть может, вы, как жрец, не боитесь злых духов? Если так, — мы охотно предоставим вам наше убогое жилище. Но, предупреждаю вас, только жрец решится провести здесь ночь.

— От души благодарю вас за доброту, великодушие и гостеприимство, — ответил Музо. — Жаль, что вы раньше не сообщили мне о кончине отца. Хотя я и был утомлен, но не настолько, чтобы быть не в состоянии исполнить обязанности жреца. Если бы вы раньше оповестили меня о постигшем вас горе, я совершил бы еще до ухода вашего все обряды. Теперь же я совершу их в вашем отсутствие и всю ночь до утра проведу рядом с покойником в молитве и бдении. Я не совсем понимаю, о какой опасности вы говорите, но я не боюсь ни злых духов, ни привидений. Не бойтесь же и вы за меня.

Молодого человека очень обрадовали эти слова, и он выразил свою благодарность по установленному в Японии этикету. Узнав об обещании жреца, пришли из соседней комнаты другие члены семьи, чтобы, в свою очередь, выразить ему благодарность.

— А теперь, уважаемый гость, — обратился к нему хозяин, — к нашему крайнему сожалению, мы должны оставить вас одного. До свидания. По обычаю нашей деревни никто не должен здесь оставаться после полуночи. Прошу вас, уважаемый гость, заботиться о своей почтенной особе, потому что мы не можем исполнить долга гостеприимства. А когда мы вернемся, не откажите рассказать нам обо всем, что увидите и услышите ночью.

И все покинули дом и деревню. Жрец остался один с мертвецом. Перед покойником были расставлены обычные дары и горел маленький буддийский светильник. Жрец прочитал сутры, совершил посмертные обряды и предался благочестивому размышлению. В таком состоянии, в глубочайшем молчании он провел часа два, и из покинутой деревни до него не доносилось ни звука. Но когда ночная тишина стала особенно глубока и прозрачна, по комнате беззвучно пронесся призрак, огромный, неясный. И вдруг Музо почувствовал, что не может ни двинуться с места, ни говорить. Он видел, как привидение набросилось на мертвеца, схватило его, будто руками, и, начав с головы, быстро проглотило его, как кошка мышонка. Ничего не осталось — ни волос, ни костей, ни покрова. Покончив с покойником, чудовище принялось за дары и тоже истребило их в один миг. После этого оно исчезло, — беззвучно, как появилось.

*

Вернувшись на другое утро, крестьяне увидели жреца, стоящего перед домом. Поздоровавшись с ним, они вошли в горницу, оглянулись, — исчезновение трупа их несколько не удивило.

— Святой отец, — обратился хозяин к жрецу, — ночью вы, вероятно, видели много страстей. Мы все боялись за вас. А теперь мы счастливы, что вы живы и невредимы. Мы охотно мы остались бы с вами, если бы это было возможно. Но, как я уже сказал вам, закон нашей деревни предписывает после каждой смерти уходить, оставляя покойника одного. Каждый раз, когда преступали этот закон, случалось большое несчастье. Когда же его исполняли, то во время отсутствия труп и дары исчезали. Теперь вы, быть может, знаете, что происходит?

Музо рассказал им о призраке, туманном и страшном, беззвучно появившемся и поглотившем труп и дары. Его рассказ не удивил никого.

— Все, что вы рассказываете, — ответил хозяин, — совпадает с древними сказаниями нашей деревни.

— А разве монах-отшельник, живущий в анджитсу на соседнем холме, никогда не совершает посмертных обрядов? — спросил Музо.

— Монах-отшельник? — удивленно воскликнул молодой человек.

— Тот, который вчера вечером направил меня к вам, — ответил Музо. — Я поступал к нему, но он не хотел меня приютить и указал дорогу сюда.

Пораженные крестьяне переглянулись, и после короткого молчания хозяин сказал:

— На этом холме нет ни отшельника, ни анджитсу, святой отец. Уже несколько поколений как в окрестностях нашей деревни нет постоянного проповедника.

Музо ничего не ответил. Он понял, что его добрые хозяева считают его жертвой злых духов. Распростившись с ними и получив указания дальнейшей дороги, он решил еще раз разыскать анджитсу на холме, чтобы убедиться, действительно ли то

было лишь наваждением. Он без труда нашел ветхий домик, и на сей раз старик — его обитатель — попросил Музо войти. Когда он последовал его приглашению, отшельник смиренно поклонился ему до земли и сказал:

— Ах, мне так стыдно, так стыдно...

— Оттого, что вы меня не пустили вчера? — спросил Музо. — Вам нечего стыдиться, ведь вы направили меня в ту деревню, где меня приняли очень ласково. Благодарю вас!

— Я никого не могу принимать, — ответил отшельник. — И стыдно мне не потому, что я не пустил вас. Мне стыдно потому, что вы видели меня в моем настоящем образе: ведь это я прошлой ночью при вас сожрал труп и дары. Знайте же, святой отец, что я людоед — дзикининки¹. Сжальтесь надо мною, позвольте открыть вам тот грех, за который я осужден на такое позорное существование. Много лет тому назад я был жрецом в этих диких местах. На много миль вокруг не было другого, и все тела умерших крестьян привозили ко мне, часто издалека, — для заупокойных молитв и обрядов. Но я легкомысленно читал и совершал обряды, думая при этом только о вкусной еде и нарядах, которые приносил мне мой сан. И в наказание за эти греховные мысли я тотчас после смерти возродился в образе дзикининки. С тех пор я осужден питаться трупами умерших в этой деревне. Я должен всех пожирать так, как вы видели в прошлую ночь... Умоляю вас, святой отец, прочитайте для меня святы молитвы Сегаки². Заклинаю вас, помогите мне вашей священной молитвой избавиться как можно скорее от такого позорного существования!

*

И вдруг отшельник исчез, исчез и домик его. Музо Кокуши очутился один в высокой траве на коленях перед поросшей мхом древней могилой, могилой жреца, — го-рин-иши³.

¹ *Дзикининки* — дословно «злой дух». В японском оригинале есть также санскритское слово «*ракшаса*», но слово это так же неопределенно, как дзикининки, так как существует много родов ракшасов. Очевидно, в этом случае дзикининки — это значит один из Барамон-Расетсу-Гаки, составляющих 26-й класс злых духов — прета, перечисленных в древних буддийских писаниях.

² Буддийское богослужение, посвященное особенно тем, о которых думают, что они воплотились в гаки (прета) или голодного духа. Краткое описание такого богослужения см. в моей книге «*Japanese Miscellany*».

³ Дословно — пятикруговой камень; памятник, состоящий из пяти частей разной формы, поставленных одна на другую, символизирующих пять мистических элементов; эфир, огонь, воздух, воду и землю.

МУДЖИНА

Есть на дороге Акасака близ Токио обрыв под названием Кии-но-куни-зака, то есть обрыв провинции Кии. Происхождение этого названия неизвестно. С одной стороны дороги глубокий широкий обрыв с крутым подъемом, который вверху кончается садом. С другой стороны дороги раскинулись высокие стены дворца. В те далекие времена, когда еще не было ни уличных фонарей, ни рикш, эта местность с наступлением темноты становилась совершенно пустынной, и запоздалый путник охотнее делал крюк в несколько миль, чем решался подняться один на Кии-но-куни-зака.

И все оттого, что по этим местам бродила Муджина.

*

Последний, кто видел ее, был старый купец из округа Киобаши, умерший лет тридцать тому назад. Вот что он рассказывает о своем приключении.

Однажды, когда он поздней ночью, спеша, поднимался на Кии-но-куни-зака, он увидел женщину, которая горько рыдала, сидя на корточках у откоса. Он испугался, подумал, что она хочет лишить себя жизни, броситься в воду, и остановился, чтобы утешить ее, расспросить и помочь. Она казалась стройной и миловидной, была нарядно одета и причесана, как молодая девушка из знатной семьи.

— О-джокку¹, — воскликнул он, подходя к ней, — О-джокку, не плачьте так!.. Скажите мне, что вас огорчает? Я сделаю все, чтобы помочь вам.

И он действительно хотел ей помочь, потому что был очень добр. Но она не переставала рыдать, скрывая лицо в складках широкого рукава.

— О-джокку, — повторил он нежно. — Пожалуйста, прошу вас, послушайте меня! В такой час здесь не место для молодой девушки! Не плачьте! Умоляю вас! Скажите мне только, что я могу сделать для вас!

Она медленно поднялась, но не оборачивалась к нему и не переставала рыдать, закрывая лицо рукавом. Он ласково положил руку ей на плечо и умоляющим голосом продолжал:

— О-джокку! О-джокку! О-джокку!.. Послушайте меня, ну послушайте же меня!.. О-джокку! О-джокку!

Вдруг женщина обернулась к нему, откинула рукав и ладонью ударила себя по лицу, — и купец увидал, что у нее не было ни глаз, ни носа, ни рта, и с криком ужаса бросился бежать.

Не помня себя от страха, он вбежал на Кии-но-куни-зака и, еле переводя дух, бежал все дальше и дальше. Перед ним все было черно, и пусто, и страшно. Он бежал все

¹ *О-джокку* — почтительное обращение к незнакомой молодой женщине.

дальше и дальше, не решаясь оглянуться назад. Наконец он увидел фонарь, но так далеко, что он казался не больше блестящего светлячка. Он побежал туда, где светил огонек. Оказалось, то был фонарь странствующего продавца соба¹, разбившего на дороге палатку. Но после такого приключения всякий свет и общество какого бы то ни было человека было желанно. Со стоном «А-а! А-а! А-а-а!!!» он бросился к ногам продавца.

— Корэ! Корэ!² — сурово закричал на него незнакомец. — Что с вами случилось? Напали на вас, что ли?

— Нет, никто на меня не нападал, — стонал купец. — Только... А-а! А-а-а!!!

— Так вы испугались, — равнодушно произнес незнакомец, — разбойников?

— Нет, не разбойников, не разбойников, — заикаясь, ответил обезумевший от страха купец. — Я видел... я видел женщину — на откосе. И она показала мне... Аа! Я не могу сказать, что она мне показала!..

— Эй! Не это ли она показала тебе? — закричал неизвестный, ладонью ударяя себя по лицу, — и лицо стало гладкое, как яйцо... В то же мгновение погас огонек.

¹ Соба — что-то вроде макарон из гречихи.

² «Ну, ну!» или «Хорошо, хорошо» (примеч. переводчика).

РОКУРОКУБИ

Лет пятьсот тому назад жил самурай по имени Исогай Хендазаэмон Такетсура, вассал князя Кикуджи в Кью-Шу. Исогай унаследовал от своих многочисленных предков-воинов необычайную физическую силу и способность к военному делу. Мальчиком он уже превосходил своих преподавателей в искусстве фехтования, в стрельбе из лука и метании копья, ребенком уже выказывал качества доблестного воина. Впоследствии он отличился во время войн Эйкио¹, стяжал на поле брани почести, приобрел славу. Но дом Кикуджи распался, Исогай лишился своего господина. Он легко мог бы перейти к другому дайме, но он никогда не искал славы ради славы и, оставаясь всем существом своим верным памяти прежнего господина, предпочел отречься от мира, остриг волосы и стал странствующим жрецом, приняв буддийское имя Квайрио.

Но и под священнической коромо² Квайрио по-прежнему сохранял горячее сердце самурая. Опасности по-прежнему не существовали для него, он не обращал на них внимания, презирал их. Во все времена года, невзирая на непогоду, он странствовал по стране, проповедуя «Священный Закон», бродил по местам, куда кроме него ни один жрец не решался проникнуть. То был век насилия и беспорядка, и на больших дорогах одинокого путника не ограждало от нападений даже одеяние жреца.

*

Во время своего первого большого странствования Квайрио посетил провинцию Кай. Однажды ночь застала его в глухой гористой местности, где на несколько миль вокруг не было ни души человеческой, ни жилья. Он решил переночевать под открытым небом, нашел придорожный холмик, поросший травой, и улегся на нем, собираясь заснуть. Он никогда не был изнежен, и если не находил лучшего, то и голая скала казалась ему хорошей постелью, а корни сосны — отличной подушкой. Он был закален и не обращал внимания ни на росу, ни на дождь, холод и снег.

Как только он лег, вдруг увидел человека, идущего по дороге с топором и большой вязанкой дров на спине. Увидав Квайрио, дровосек остановился и некоторое время молча с удивлением смотрел на него.

— Кто вы, добрый человек, — наконец спросил он, — что решились ночь провести здесь? Тут всюду бродят нечистые духи. Неужели вы совсем не боитесь волосатых чудовищ?

— Друг мой, — весело ответил Квайрио, — я странствующий жрец, гость дождя, ветра и вьюги, как выражаются люди, «ун-суи-но-рио-каку». И волосатых чудовищ

¹ Эпоха Эйкио (1429–1441).

² *Коромо* — верхняя одежда буддийского жреца.



Тоёхуни Утагава I. Актер Оноэ Сокаку в роли Рокурокуби

я несколько не боюсь, если вы разумеете бесов-лисиц, бесов-барсуков или подобных тварей. А пустынные местности я люблю: они располагают к созерцанию и наводят на благочестивые размышления. Я привык спать под открытым небом, разучился заботиться о себе.

— Вы очень храбры, отец, если решились переночевать здесь, — сказал дровосек. — Эта местность пользуется дурной славой, очень дурной. Поговорка гласит, что береженого берегут боги, и могу вас уверить, отец, что спать здесь очень опасно. Прошу вас пойти со мною в мой дом, хотя это только убогая, крытая соломой лачуга. Я, конечно, ничем не могу угостить вас, но у вас будет хоть крыша над головой, и вы спокойно проспите.

Незнакомец говорил убедительно. Квайрио понравился его ласковый голос, и он принял его скромное приглашение. Дровосек повел его по тропинке, вьющейся по лесистым холмам, в стороне от большой дороги. Тропинка была неровна и опасна: она то вилась по самому краю обрывов, то взвивалась на кручи отвесных скал, и часто ноги еле удерживались на спутанных скользких корнях. Наконец они взобрались на вершину холма, на ровную залитую лунным светом площадку. На площадке стоял маленький домик, крытый соломой, ярко освещенный внутри. Дровосек повел его за дом под навес, куда по бамбуковым трубам была проведена вода из соседней речки. Они обмыли ноги. За навесом был огород, дальше — рощица бамбуковых и кедровых деревьев, а из-за деревьев искрился и сверкал осеребренный луной водопад, ниспадающий с высоты, как длинное белое женское одеяние.

*

Квайрио вошел со своим спутником в домик. В первой комнате сидело четыре человека — мужчины и женщины. Они грели руки у маленького огня, разведенного в ро¹, и все почтительно приветствовали жреца, низко ему поклонившись. Квайрио удивился, что такие бедные, живущие в глуши люди, знакомы с этикетом, с учтивыми формами приветствия.

— Это хорошие люди, — подумал он. — А вежливости их обучал кто-нибудь, кто основательно знает все правила ее.

Обратившись к хозяину «аруджи», — как его называли другие — Квайрио промолвил:

— Вы и ваши домашние так предупредительны и учтивы, наверное, вы не всегда были дровосеками, а раньше принадлежали к высшему классу.

— Вы правы, отец, — ответил дровосек, улыбнувшись. — Теперь я, как видите, живу здесь, а было время, когда я пользовался некоторым уважением. Повесть моя — повесть о разбитой жизни, разбитой по собственной вине. Я жил при дворе дайме и имел чин немалый. Но я слишком предавался женщинам и вину и под влиянием этих страстей поступал очень дурно. Я был себялюбив и расточителен, я разорил свой дом, многие умерли по моей вине. У меня было много врагов, их месть преследовала меня, я бежал и долгое время скрывался. Теперь я часто молю богов, чтобы они дали мне возможность искупить все совершенное мною зло и восстановить отчий дом. Но бо-

¹ Ро — маленький очаг, врытый в пол, обыкновенно четырехугольное плоское углубление, выложенное металлом и наполовину наполненное золой, в которой разжигается древесный уголь.

юсь, что боги не услышат меня. Я стараюсь, однако, искренним раскаянием смягчить карму моих злодеяний и поэтому, насколько могу, помогаю несчастным.

Квайрио, тронутый таким добрым намерением, обратился к аруджи:

— Друг мой, я часто видел, что поработанные в молодости страстями впоследствии исправлялись и уже никогда больше не сворачивали с истинного пути. Священные сутры гласят, что особенно сильные в злодеянии доброй волей могут стать сильнее других и в благодеянии. Я не сомневаюсь в вашей доброй душе и надеюсь, что вам суждена лучшая участь. Ночью я буду читать для вас священные сутры и молиться, дабы боги ниспослали вам силу победить карму ваших проступков.

И Квайрио пожелал аруджи спокойной ночи. Хозяин повел его в крошечную боковую комнатку, где уже была приготовлена постель для него. Все улеглись, за исключением жреца, принявшего при свете бумажного фонаря за чтение сутр. До поздней ночи он читал и молился. Перед сном ему захотелось еще раз полюбоваться природой, и он распахнул окно своей спальни. Ночь была прекрасна, небо безоблачно. Было тихо, ни ветерка, и от яркого лунного света листва бросала резкие черные тени, и на траве сверкала роса. Трепание сверчка и колокольчика-семи¹ сливалось в странный концерт, и шум близкого водопада казался в темноте еще громче. Слушая журчание речки, Квайрио вдруг захотел пить. Он вспомнил бамбуковую водопроводную трубу за домом и надеялся утолить жажду, не тревожа своих спящих хозяев. Он бесшумно раздвинул бумажные ширмы, отделяющие его маленькую комнатку от большой, и при свете луны увидел на полу пять туловищ без голов!

В первое мгновение он в ужасе отшатнулся, уверенный, что здесь совершено преступление. Но тотчас же увидел, что нигде нет следов крови и что безглавые шеи не перерезаны. Тогда он подумал: «Или это бесовское наваждение, или меня завлекли в дом Рокурокуби... В книге „Сошинки“ написано: если найти безглавое туловище Рокурокуби, надо его куда-нибудь унести; тогда голова не может больше соединиться с туловищем. И дальше написано в этой же книге: когда голова вернется на прежнее место и увидит, что туловище исчезло, она ударится о землю, три раза подпрыгнет, как мяч, громко вскрикнет в смертельном страхе и умрет. Если это Рокурокуби, то они замышляют недоброе против меня. Поэтому я поступаю правильно, если последую предписаниям книги».

Он взял туловище аруджи за ноги, выбросил его в окно и направился к задней двери — она была заперта. Значит, головы улизнули в трубу. Бесшумно отпер он дверь, осторожно прошел сад и тихонько прокрался в рощу. Из рощи до него доносились звонкие, весело болтающие голоса. Он шел на звук голосов, осторожно прячась в тени, пока не достиг укромного уголка и не спрятался там. Из своей засады он увидел головы, все пять. Они носились взад и вперед, оживленно при этом болтали и ели насекомых и червячков, которых собирали с земли и с деревьев.

— Ах, этот странствующий монах, пришедший сегодня вечером к нам! — вдруг вспомнила голова аруджи, переставая жевать. — Какой он откормленный! Когда мы съедим его, животы наши будут полны... Как я был глуп, что так говорил с ним! Теперь я сам виноват, что для спасения моей души он отчитывает сутры! Пока он занимается этим, я не могу напасть на него. Во время молитвы к нему нельзя подступиться. Но утро близко, и он, может быть, уж заснул... Пусть кто-нибудь слетает в дом и посмотрит, что он делает...

¹ Колокольчик-семи — насекомое, издающее звук, дребезжащий, как колокольчик (*примеч. переводчика*).

Другая голова, голова молодой женщины, сорвалась с места и понеслась к дому, — легко, как летучая мышь. Через несколько мгновений она вернулась и возвестила голосом, охрипшим от ужаса:

— Жреца в доме нет, — он исчез! Но это еще не самое ужасное. Он взял с собою туловище аруджи, — я не знаю, куда он его спрятал.

При этих словах освещенное лунным светом лицо аруджи искажилось от ужаса. Глаза приняли страшное выражение и остановились, волосы встали дыбом, зубы заскрежетами. Он закричал, и в голосе его дрожали слезы ярости:

— Если туловище мое унесли, я не могу больше соединиться с ним. Я должен умереть!.. И во всем виноват этот монах! Но раньше чем умереть, я ему отмщу! Я его расстерзаю! Сожру! Посмотрите-ка, вот он! Спрятался за кустом! Посмотрите на него, на жирного труса!

И голова аруджи вместе с четырьмя остальными бросилась на Квайрио. Но жрец-силач успел вырвать с корнем молодое дерево и, вооруженный им, стал отбиваться от приближающихся врагов. Четверо бежали, но голова аруджи не переставала в яростном отчаянии насккивать на жреца, хотя он каждый раз ее снова с силою отбивал. Наконец голове удалось вцепиться зубами в левый рукав его одежды. Но Квайрио схватил голову за вихор и начал бить ее беспощадно. Голова не выпускала рукава.

Вдруг она жалобно застонала и перестала бороться, — она умерла. Но все еще висела на рукаве, вцепившись в него зубами, и Квайрио, несмотря на всю свою силу, никак не мог разжать челюстей мертвеца.

С висящей на рукаве головой он вошел в дом, где остальные четыре Рокурокуби, соединенные вновь с туловищами, сидели кучкой, тесно прижавшись друг к другу, с окровавленными, разбитыми головами. Увидя его, все в ужасе вскочили и с криком «Жрец! Жрец!» убежали через открытую дверь в лес.

На востоке занялась заря, и настало утро. Квайрио знал, что власть злых духов ограничивается ночными часами. Он осмотрел голову, висящую на его рукаве, — она была покрыта липкой землей, кровью и пеной. Жрец громко расхохотался.

— Вот так мийягэ¹, — промолвил он, — голова нечистого духа!

Собрав свои скудные пожитки, он медленно спустился с горы и продолжал путь свой.

Не останавливаясь нигде, он дошел до Сувы в Шинано. Там он торжественно прошелся по главной улице с болтающейся на рукаве головой. Женщины при виде его падали в обморок, дети визжали и убегали. Собралась большая толпа народа, и стоял неописуемый шум. Наконец, вмешались торитэ (так называлась полиция в те времена), схватили жреца и потащили в тюрьму. Все были уверены, что то была голова убитого человека, в отчаянной самозащите вцепившегося зубами в рукав убийцы. Но Квайрио только молча улыбался на все вопросы. Ночь он провел в тюрьме, а утром его повели к окружному начальнику. Там ему строго приказали объяснить, как он, жрец, дерзает расхаживать с головою убитого на рукаве, хвалясь так бесстыдно и всенародно своим преступлением.

Вместо ответа Квайрио громко расхохотался.

— Господа, — сказал он, — я не нацепил голову на рукав, а она против воли моей сама прицепилась. И никакого преступления я не совершал, потому что это не челове-

¹ *Мийягэ* — подарок, который привозят друзьям или домачадцам, возвращаясь после путешествия. Понятно, что для мийягэ обыкновенно выбирают предметы местного производства, на что шутиливо намекает Квайрио.



Нукекуби. Из сборника «Бакемоно но е» 1700

ческая голова, а голова нечистого духа. Если я и был причиной его смерти, то без кровопролития, а только мерой предосторожности, необходимой для самозащиты.

И он подробно рассказал о своем приключении, снова громко расхохотавшись при воспоминании о встрече с пятью головами.

Но судьи не смеялись. Они думали, что перед ними закоренелый преступник, и им было досадно, что он навязывает им небылицы. Они решили его немедленно казнить. Только один из них, древний старик, был против казни. Старик этот во все время судопроизводства не проронил ни слова. Но, выслушав приговор своих товарищей, он встал и промолвил:

— Сначала надо тщательно осмотреть голову, чего, кажется, еще не сделали. Если жрец сказал правду, то голова сама засвидетельствует его слова... Пусть голову принесут!

И голову, все еще державшуюся зубами за снятое со жреца коромо, положили перед старым судьей. Старик тщательно осмотрел ее со всех сторон и нашел на шее какие-то таинственные красные буквы. Он обратил на это внимание своих товарищей, указал и на то, что на шее нигде не было кровавого знака. Казалось, что шея отделилась от туловища, как падающий лист от стебля...

— Я убежден, — промолвил старец-судья, — что жрец сказал правду. Это голова Рокурокуби. В книге «Нан-хо-и-бутзу-ши» написано, что на затылке настоящего Рокурокуби всегда начертаны красные письмена. А вот и они. Вы все видите, что они не написаны рукой человека. Кроме того, всем известно, что в горах провинции Кай с незапамятных времен водятся такие нечистые духи... Но вы, — обратился он снова к Квайрио, — странный вы, однако, монах. Такую храбрость, какую вы проявили,

не часто встретишь. И внешне вы скорее похожи на воина, чем на священнослужителя. Не принадлежали ли вы раньше к сословию самураев?

— Вы не ошиблись, — ответил Квайрио. — Раньше чем принять священнический сан, я долгие годы был воином. И в те времена мне не страшны были ни люди, ни черти. Тогда меня звали Исогаи Хеидазаэмон Такетсура, родом из Кью-Шу. Может быть, некоторые из вас помнят меня?

Это имя всех поразило в зале суда. Многие из присутствующих помнили славного самурая. И вдруг вместо судей вокруг Квайрио оказались друзья, относящиеся к нему с братской лаской, наперерыв старающиеся выказать ему свое восхищение. Торжественно повели его во дворец к дайме, который ласково принял его, угостил и осыпал дорогими подарками, прежде чем отпустить. Когда Квайрио покинул Суву, он был так счастлив, как только может быть счастлив странствующий жрец в этом преходящем мире... Голову же он взял с собою, уверяя, что она послужит ему вместо мийягэ.

*

Чем же кончилась история с головой? Через несколько дней после того, как Квайрио покинул Суву, он встретил разбойника на уединенной дороге. Разбойник остановил его и потребовал платье. Квайрио охотно снял коромо и отдал его разбойнику, только теперь заметившему, что висело на рукаве. Разбойник испугался, несмотря на свою храбрость. Он в ужасе уронил платье и отскочил.

— Однако! — воскликнул он. — Нечего сказать, хорош! А еще жрец! Да, кажется, вы хуже меня! Правда, и я людей убиваю, но не расхаживаю с отрубленными головами на рукаве... Хорошо же, братец! Я думаю, мы одного поля ягоды. И, должен сказать, вы меня удивили!.. Эта голова могла бы мне пригодиться: ею можно напугать до смерти. Продайте мне ее. Я отдам вам за ваше коромо мою одежду, а за голову кроме того пять рио.

— Если вы непременно хотите, — сказал Квайрио, — то я отдам вам мое платье вместе с висящей на нем головой. Но должен сказать, что это не человеческая голова, а голова нечистого духа. И если вы, купив ее, наживете беду, то прошу на меня не пенять — я предупреждал вас.

— Удивительный вы священнослужитель! — воскликнул разбойник. — Убиваете людей, да еще смеетесь над этим! Но я говорю серьезно: вот мое платье, вот деньги, — отдайте же мне голову... Довольно смеяться!

— Возьмите, — сказал Квайрио. — Я не смеюсь. Смешно только то — если уж что-нибудь должно быть смешно, — что вы так безрассудно отдаете кровные деньги за голову нечистого духа!

И Квайрио, смеясь, пошел дальше.

Разбойник, получив голову и коромо, слыл одно время на больших дорогах жрецом нечистого духа. Но раз в окрестностях Сувы он узнал всю правду о голове. И он начал бояться, что дух Рокурокуби ему отомстит. Он решил отнести голову туда, где ее нашел жрец, и похоронить вместе с туловищем. Он нашел дорогу к одинокому домику в горах Кай. Но безглавого туловища не нашел. Тогда он закопал одну голову за домиком в роще, велел поставить камень на могиле и читать молитвы Сэаки для успокоения духа Рокурокуби.

Этот камень — памятник Рокурокуби — можно видеть и поныне, — по крайней мере, так говорит японский летописец.

ПОГРЕБЕННАЯ ТАЙНА

Много лет тому назад в провинции Тамба жил богатый купец Инамурайя Генсукэ с дочерью своею О-Соно, красивой и умной девушкой. Не желая ограничивать образование ее деревенской школой, он отправил дочь в сопровождении доверенного лица в Киото, где она могла получить высшее образование, как столичная девушка. Окончив учение, она вышла замуж за друга отцовской семьи, за купца Нагарайя и очень счастливо прожила с ним года четыре. Был у них ребенок, сынок. Но на четвертом году О-Соно заболела и умерла.

Ночью, после ее погребения, маленький сын рассказал, что мама вернулась, что она в своей комнате, наверху. Она улыбнулась ему, но ничего не сказала, а он испугался и убежал. Тогда родственники О-Соно отправились наверх в комнату, раньше принадлежавшую ей, и были страшно поражены, действительно увидев умершую при свете маленькой лампы, горевшей перед домашним алтарем. Она стояла перед танзу¹, где хранились еще ее платья и драгоценные вещи. Голова и плечи ясно вырисовывались, а туловище и ноги расплывались и исчезали в какой-то дымке. Она казалась слабым отражением О-Соно, прозрачным, как тень на водной глади.

Родственники ее испугались, поспешно ушли и, собравшись внизу, стали советовать, как поступить.

— Женщины любят свои вещицы, — сказала свекровь О-Соно. — Любила их и О-Соно. Быть может, она вернулась, чтобы еще раз ими полюбоваться. Это случается часто, пока не пожертвуют вещи в храм. Я думаю, стоит отнести в храм ее платья и пояса, и дух ее умиротворится.

Решили сделать это как можно скорее. На другое утро опорожнили все ящики и отнесли в храм имущество О-Соно. Но на следующий вечер О-Соно снова явилась и стояла, не спуская глаз со своей танзу. Каждый вечер она появлялась, и в доме воцарился ужас и страх.

Свекровь О-Соно отправилась в храм, все рассказала жрецу и попросила совета. Это был храм секты Зен, а жрец — мудрый старик Дайген Ошо².

— Что-нибудь в танзу или около нее тревожит покойницу, — сказал он.

— Мы все вынули из ящиков, — ответила старуха, — танзу пуста.

— Хорошо, — промолвил Дайген Ошо, — сегодня вечером я приду к вам, проведу в ее комнате ночь и увижу, в чем дело. А вы позаботьтесь, чтобы во время моего пребывания никто ко мне не входил, разве что я позову.

¹ Танзу — комод (примеч. переводчика).

² Дайген Ошо — монах-настоятель (примеч. переводчика).



Тоёкуни Утагава I

*

Когда солнце зашло, Дайген Ошо пришел в дом умершей. Комната была приготовлена для него. Оставшись один, он начал читать сутры. Все было тихо до Часа Крысы¹. Вдруг перед танзу ясно вырисовался образ О-Соно. Выражение ее лица было тревожно, глаза устремлены на танзу.

Жрец прочитал предписанные в таких случаях молитвы и, окликнув призрак О-Соно ее каймио², он сказал:

— Я пришел сюда, чтобы помочь вам. Может быть, в танзу спрятано что-нибудь, что вас тревожит? Поискать мне?

Казалось, будто призрак выразил согласие легким наклоном головы. Жрец выдвинул верхний ящик. Он был пуст. Он выдвинул второй, третий, четвертый, тщательно искал за ним и под ним, основательно осмотрел весь комод, но ничего не нашел. А призрак не спускал напряженного взгляда с танзу.

«Что ей нужно? — подумал монах. — Нет ли чего-нибудь под бумагой, которой выстланы ящики?»

Он вынул бумагу верхнего ящика — ничего! Поднял бумагу второго и третьего ящика — ничего. Наконец, в нижнем ящике под бумагой он нашел письмо.

¹ Час Крысы — *Не-но-коку* — по древнеяпонскому времяисчислению первый час. Он соответствовал нашему времени между двенадцатью и двумя часами ночи, потому что каждый древнеяпонский час равняется двум нашим часам.

² *Каймио* — посмертное имя.

— Это ли так тревожит вас? — спросил он.

Умершая устремила неземной взгляд на письмо.

— Сжечь его? — спросил он.

Она низко ему поклонилась.

— Я сожгу его утром в храме, — обещал жрец, — и никто не прочтает его, кроме меня.

Улыбка озарила призрачное лицо, и привидение исчезло.

*

Заря уже занялась, когда жрец сошел вниз к семье умершей, со страхом ожидавшей его.

— Не бойтесь, — сказал он, — она не появится больше!

Он был прав.

Письмо же он сжег. То было любовное письмо, посланное кем-то О-Соно во время ее учения в Киото. Но только жрец знал его содержание, и тайна умерла вместе с ним.



Хиродзаки Эйхо.
Призрак за москитной сеткой

ЮКИ-ОННА

В деревне провинции Мусаши жили два дровосека — Мосаку и Минокичи. Мосаку был уже стар, а Минокичи, помощник его, был юноша восемнадцати лет. Каждый день они вместе шли в лес, находящийся милях в пяти от деревни. По дороге в лес приходилось переправляться на пароме через широкую реку. Много раз тут строили мост, но каждый раз течение сносило его. Ни один мост не мог устоять против напора воды во время разлива реки.

Однажды вечером в сильный мороз Мосаку и Минокичи на обратном пути застигла снежная вьюга. С трудом они дошли до пристани, но лодочника не нашли; и паром он оставил на другом берегу, а переплыть реку нельзя было в такую погоду. Путники укрылись в хижине лодочника, благословляя судьбу и за такое убежище. В хижине не было очага, и нигде нельзя было развести огня. Это была хижина в две циновки¹ с одной дверью. Мосаку и Минокичи заперли дверь, улеглись и покрылись своими соломенными дождевыми плащами. Сначала они не чувствовали мороза и надеялись, что непогода скоро стихнет.

Старик сейчас же заснул, а юноша долго не мог сомкнуть глаз. Он прислушивался, как вокруг хижины кружилась вьюга, как в дверь хлестали снежные хлопья. Ветер ревел, хижина покачивалась и трещала, как легкая джонка в открытом море. Была страшная буря, становилось все холоднее. Минокичи дрожал под плащом, но наконец, несмотря на холод, заснул.

Проснулся он оттого, что все лицо его засыпало снегом. Казалось, что кто-то силой распахнул дверь. При свете бледного снежного отражения (юки-акари) он увидел белую женщину. Она наклонилась над Мосаку и обдавала его своим дыханием. А дыхание ее было подобно блестящему белому пару. Потом она обернулась к Минокичи и наклонилась над ним. Он хотел закричать — и не мог. Белая женщина все ниже и ниже склонялась к нему, ее лицо почти коснулось его. Он увидел, как она прекрасна, хотя глаза ее пугали его. Несколько мгновений она смотрела на него в упор, потом улыбнулась и прошептала:

— Я хотела и с тобой сделать то же, что со стариком. Но мне жалко тебя. Ты так молод... Минокичи, ты красив. Я не трону тебя... Но если ты когда-либо хотя бы собственной матери расскажешь о том, что видел нынешней ночью, я узнаю об этом, и тогда не миновать тебе смерти... Помни же это!

И скрылась за дверью. И прошло оцепенение, сковавшее члены Минокичи, он вскочил, выбежал за дверь. Женщина исчезла... Свет хлопьями валил в открытую дверь. Минокичи быстро ее затворил и заставил дровами. Он спрашивал себя: не буря ли распахнула ее, не было ли все это сном? Не принял ли он снежное отражение за женщину в белом? Он не мог разрешить этих вопросов. Он окликнул Мосаку и испугался, потому что старик не отвечал. В темноте он ощущал лицо старика. Оно было холодным, как лед, — Мосако очоценел и скончался...

¹ В две циновки — около шести квадратных футов.



Сюнсё Кацукава. Юки-Онна в снегу

На заре вьюга утихла. Вскоре после восхода солнца лодочник вернулся домой и нашел Минокичи, лежащим без памяти рядом с застывшим трупом Мосаку. Ему скоро удалось привести Минокичи в чувство, но юноша еще долго хворал от последствий ужасной ночи на речном берегу. Смерть старика потрясла Минокичи глубоко, но он никому ни слова не говорил о белой женщине. Оправившись после болезни, он снова принялся за обычный свой труд. Каждое утро он один ходил в лес и с наступлением ночи, нагруженный дровами, возвращался домой к старушке матери.

*

Прошел год. Была снова зима. Однажды вечером на обратном пути он обогнал девушку, идущую по той же дороге. Она была стройна и красива и ответила на приветствие Минокичи голосом, ласкающим слух, как пение птичек. Он пошел рядом и заговорил



Иппицусай Бунтё

с ней. Девушка сказала, что ее имя О-Юки¹, что она недавно осиротела и идет в Эдо к бедным родным, обещавшим ей найти место служанки. Девушка очаровала Минокичи, и чем больше он смотрел на нее, тем прекраснее она ему казалась. Он спросил, не обручена ли она. О-Юки ответила, засмеявшись, что она свободна. В свою очередь, она о том же спросила его. Минокичи ей ответил, что, хотя на его попечении только мать-вдова, но вопрос о «почтенной невестке» еще не возникал между ними, потому что он еще слишком молод. После этих признаний они некоторое время молча продолжали свой

¹ Юки — значит снег, — это имя часто встречающееся в Японии.

путь. Но есть поговорка: «Ки га арэба, мэ мо кучи ходо нимоно уо иу» («При желании глаза говорят столько же, сколько уста»). Дойдя до деревни, они уже подружились. Минокичи попросил О-Юки отдохнуть в его доме. После короткого колебания она согласилась. Мать приветствовала их и приготовила ужин. О-Юки была так обворожительна и мила, что мать Минокичи сразу ее полюбила и уговорила отложить свое путешествие в Эдо. В конце концов О-Юки, конечно, совсем не пошла в Эдо, а осталась в доме в качестве «почтенной невестки».

О-Юки была прекрасной невесткой, и, когда через пять лет мать Минокичи умерла, ее последние слова были полны признательности и любви к жене сына. У Минокичи и О-Юки родилось десять человек детей — мальчиков и девочек. Все были очень красивы и необычайно белы.

Односельчане считали О-Юки каким-то чудесным созданием, непохожим на них. Крестьянки старятся рано, О-Юки же, даже после того как родила десять детей, выглядела такой же юной и свежей, как в тот день, когда она встретила с Минокичи в лесу.

*

Однажды вечером, когда дети уже спали, О-Юки сидела и шила при свете бумажного фонаря. Минокичи долго смотрел на нее.

— Смотрю я на тебя, — наконец сказал он, — как ты сидишь и шьешь, озаренная светом, и возникает во мне воспоминание об одном чудесном приключении... То было давно, когда мне было лет восемнадцать... Тогда я видел женщину, такую же белую и прекрасную, как ты, — да, она была на тебя очень похожа...

— Расскажи мне о ней. Где ты видел ее? — спросила О-Юки, не отрывая глаз от работы.

И Минокичи рассказал ей про ужасную зимнюю ночь в хижине на речном берегу, про белую женщину, которая улыбалась и шептала ласковые слова, наклонившись над ним, и про безмолвную смерть Мосаку...

— И был ли то сон или действительность, я не знаю, — сказал он, — но, кроме тебя, я никогда в жизни не видел такой прекрасной женщины. Конечно, то было неземное создание, — я боялся ее, очень боялся, но она была так бела... И до сих пор я не знаю, было ли то сновидение, была ли то Снежная Женщина, Юки-Онна...

О-Юки бросила работу на пол, вскочила, подбежала к Минокичи и, наклонившись над ним, яростно закричала:

— То была я. Я! Я! То была Юки! Юки! Я сказала тогда, что убью тебя, если ты когда-либо об этом заговоришь... Я убила бы тебя сейчас же, если бы мне не жаль было спящих детей! Теперь ты должен посвятить им всю жизнь, и если у них будет хоть малейшее основание жаловаться на тебя, я отомщу тебе по заслугам!..

Тут голос ее стал прозрачен, как дуновение ветерка, она расплылась, поднялась, вылетела в окно, рассеялась и исчезла.

И никто никогда ее больше не видел.

АОЯГИ

В эпоху Буммей (1469–1486) молодой самурай по имени Томотада состоял на службе князя провинции Ното, Хатакэяма Йошимунэ. Томотада был родом из провинции Этидзэн, ребенком он был привезен в качестве пажа в Ното, во дворец дайме, и получил военное воспитание под наблюдением самого князя. Оказалось, что в науках он преуспевал так же, как и во всех родах рыцарского искусства. И все время он продолжал пользоваться благосклонностью своего господина. Его доброта, чарующее обхождение и красота вызывали восхищение и любовь всех его товарищей-самураев.

На двадцатом году жизни Томотада послали с секретным поручением к Хосокава Масамото, великому дайме Киото, родственнику Хатакэямы Йошимунэ. Так как ему было приказано ехать через провинцию Этидзэн, юноша испросил и получил позволение навестить по дороге свою мать.

Он отправился в путь в самое холодное время года, всюду лежал глубокий снег. У него была сильная лошадь, но он все-таки медленно подвигался вперед. Ему пришлось ехать по уединенным гористым местам, где только изредка встречались одинокие заброшенные селенья. На второй день своего путешествия после утомительной долгой езды верхом он с тревогой увидел, что до следующей стоянки ему раньше ночи не удастся доехать. Тревожиться он имел основание, потому что поднялась сильная снежная вьюга, и лошадь ему казалась очень усталой. Положение было безвыходное, но вдруг Томотада увидел на вершине ближайшего холма, среди ив, крышу хижины, покрытую соломой. С неимоверными усилиями он подогнал усталую лошадь к домику и громко постучал в дверь. Старая женщина отперла. При виде красивого путника она воскликнула с состраданием:

— Ах, жалость какая! Юноша-самурай один в пути в такую погоду!.. Благоволите войти, молодой человек.

*

Томотада сошел с лошади, поставил ее под навес и вошел в домик, где девушка и старик грелись у пылающего очага. Они почтительно встали, уступив ему место. Старики поспешно согрели немного рисовой водки и приготовили ужин для гостя, почтительно справляясь о цели его путешествия. Девушка же исчезла за ширмой. Томотада с изумлением заметил ее необычайную красоту, поражающую, несмотря на бедную одежду и на длинные распущенные волосы, беспорядочно спускавшиеся ей на плечи и спину. Он понять не мог, как такая красавица очутилась в этих глухих, унылых местах.

— Благородный гость, — промолвил старик, — до ближайшей деревни еще очень далеко, снег хлопьями валит, вьюга воеет, дорога очень плоха, и в путь пускаться опасно.

Хотя хижина эта — недостойное вас место, хотя мы не можем предложить вам никаких удобств, все-таки было бы лучше провести ночь под нашей убогой кровлей... О вашей лошади я позабочусь.

Томотада принял скромное предложение, радуясь втайне еще раз увидеть девушку. Ему подали простой, но сытный ужин, а девушка вышла из-за ширмы, чтобы угостить его вином. Она переоделась, надела простое, но чистое платье из самодельной ткани, изящно и гладко причесала свои длинные волнистые волосы.

Когда она наклонилась к нему, чтобы наполнить его кубок вином, он с изумлением заметил, что она красивее всех женщин, когда-либо виденных им. Каждое движение ее было прелестно и восхищало его. Старики же начали извиняться.

— Дочь наша, Аояги¹, — говорили они, — выросла здесь, в горах, почти в полном уединении, с придворными обычаями не знакома. Простите же ее за невежество и простоту.

Томотада стал уверять, что он счастлив, что такая красивая девушка прислуживает ему. Хотя он заметил, что его восторженные взгляды заставляют ее краснеть, он не мог оторвать глаз от нее и не дотрагивался ни до ужина, ни до вина.

— Добрый гость, — промолвила мать, — не откажите что-нибудь скушать и выпить, хотя наша крестьянская пища, конечно, очень плоха. Ведь вы окоченели от непогоды.

Чтобы не огорчить стариков, Томотада заставил себя приняться за ужин. Но обаяние девушки захватывало его все сильнее и сильнее. Он заговорил с нею, и речь ее была так же очаровательна, как и внешность. Если она и воспитывалась в горной глуши, то родители ее, вероятно, некогда занимали высокое положение в свете, потому что ее движения и разговор указывали на знатное происхождение. В порыве, не владея собою, он обратился к ней с вопросом, облеченным в стихи:

Тадзунэтсуру,
Хана ка тотэ косо,
Хи уо курасэ,
Акэну ни отору
Аканэ сасуран?

(Мне показалось цветком то, что я встретил в пути, — и я остановился, плененный. Не знаю: отчего нежно светит заря до появления дня?)²

Не задумываясь, она ответила ему тоже стихами:

Изуру хи но
Хономэку иро уо
Вага содэ ни

¹ *Аояги* — значит зеленая ива. Имя это теперь встречается редко.

² Стихотворение это может читаться двояко, так как многое в нем неоднозначно. Но объяснение законов его построения вряд ли здесь уместно и вряд ли заинтересует западного читателя. То, что Томотада хотел выразить, можно передать и так: «На пути к матери я встретил существо, прекрасное, как цветок; ради этого существа я здесь провожу этот день... О прелестная, отчего ты краснеешь, когда нежная заря еще не занялась? Значит ли это, что я любим?».



Тзутсумаба асу мо
Кимийя томаран.

(Хочу закрыть рукавом пробуждение нежной зари, хочу продлить темную ночь, хочу, чтоб мой повелитель вечно оставался со мною!¹)

*

Томотада понял, что она отвечает взаимностью на его любовь. Его пленила красота поэтической формы, в которую она облекла свое чувство, а признание, заключающееся в ее ответе, преисполнило его счастьем. Он был уверен, что на всем свете

¹ Возможна и другая трактовка, но и эта передает смысл ответа.



Ёситоси Цукиока

не было девушки красивее и умнее той, которую он встретил здесь, в горной глуши. И внутренний голос, голос сердца, настойчиво и властно твердил: «Бери, не упускай счастья, которое боги ниспослали тебе!»

Он был очарован, так очарован, что, не думая долго, попросил стариков отдать ему дочь их в супруги. При этом он сообщил им имя свое, происхождение и положение при дворе владетельного князя провинции Ното.

Пораженные, благодарные, они низко ему поклонились, но после короткого колебания отец сказал:

— Почтенный наш гость, вы пользуетесь высоким положением и, вероятно, подниметесь еще выше. Слишком велика честь, которую вы хотите нам оказать, и мы не в силах выразить словами всей глубины благодарности нашей. Дочь наша простая деревенская девушка, низкого происхождения, без образования и воспитания, и не пристало ей быть супругой благородного самурая. Даже и подумать об этом нельзя... Но если

девушка понравилась вам и вы так добры, что прощаете ей невежество и деревенское обращение, мы охотно отдадим ее вам в служанки. И делайте с ней, что хотите...

На другое утро, еще до восхода солнца, буря утихла, синело безоблачное небо. Аояги рукавом закрывала розовый отблеск зари, но любовник ее не мог больше с нею остаться, — но и расстаться с нею не мог. Когда все было готово к отъезду, он вновь обратился к родителям.

— Я покажусь неблагодарным, — сказал он, — что требую большего, чем уже получил, но я снова прошу вас отдать мне дочь вашу в супруги. Я не могу жить без нее, она согласна следовать за мной, я могу взять ее сейчас же с собою, если вы разрешите. Отдайте мне ее, и я всегда буду любить вас, как мать и отца. А пока возьмите этот жалкий знак моей благодарности за ваше гостеприимство...

Он передал старику кошелек, наполненный, золотыми рию. Но старик с низким поклоном смиренно отстранил подарок.

— Добрый наш гость, — сказал он, — золота нам здесь не нужно. Вам же оно пригодится во время долгого зимнего путешествия. Купить здесь нельзя ничего, и мы столько денег не можем истратить, даже если бы захотели... А девушку мы уже отдали вам в дар. Она ваша, и нашего позволения больше не нужно. Она уже выразила нам желание следовать за вами служанкой и быть с вами, пока ее присутствие вам будет приятно. Мы так счастливы, что вы хотите взять ее с собою. А о нас не тревожьтесь. Здесь, в этой глуши, мы не можем дать ей хорошего платья, не говоря уже о приданом. Кроме того, мы стары, нам все равно пришлось бы скоро расстаться. Большое счастье, что вы ее берете с собою.

Напрасно Томотада старался уговорить стариков принять какой-либо подарок. Ему пришлось убедиться, что деньги не существовали для них, что им было важно лишь счастье дочери. Он посадил девушку на коня и сердечно расстался со стариками, еще раз выразив им свою благодарность.

— Дорогой гость наш, — ответил отец, — не вы, а мы должны благодарить. Мы уверены, что вы будете добры к нашей дочери, и поэтому за нее не боимся.

*

(В японском оригинале здесь внезапно прерывается естественное течение рассказа, вследствие чего он делается бессвязным, неполным. Мы ничего больше не слышим ни о матери Томотада, ни о родителях Аояги, ни о дайме провинции Ното. Как будто автор вдруг утомился и с необычайной поспешностью довел рассказ до поразительного конца. Дополнить рассказ или исправить ошибки в его построении я не могу, но должен ввести несколько пояснительных слов, без которых конец рассказа был бы непонятен. Очевидно, Томотада, не размышляя, взял Аояги с собою в Киото и тем навлек на себя много бед; но мы не знаем, где они впоследствии жили.)

*

Дело в том, что в те времена самураи не имели права жениться без согласия феодального князя, и Томотада не мог получить разрешения до окончания своего секретного поручения. При таких условиях была опасность, что красота Аояги роковым образом обратит внимание на себя, что ее отнимут у него. Поэтому по приезде в Киото

本朝文雄百人一首
薩摩守忠度

故入道の舎弟之公達の
中より心も別ふ身も
健しやう平家繁一の
風流の歌人あり一谷落城
の時岡部六弥太忠澄を
組敷く小六弥太の郎等
落合て忠度卿の言の
腕を七切りけりて
終ふる

壽四十一歳

古柳を
時を待たるる
かたじけなく
末の世の
波にまかす

一
國書
村鉄



Кунйёси Утагава

он старательно скрывал ее от любопытных взоров. Но вассал князя Хосокава однажды увидел ее, узнал о ее отношении к Томотада и обо всем донес дайма. Дайме, молодой человек, большой любитель женской красоты, приказал привести девушку во дворец, что и было исполнено немедленно, без всякого церемониала.

*

Томотада неизъяснимо страдал, но понимал всю беспомощность своего положения. Он был только посланным на службе далекого дайме и в настоящее время во власти у гораздо более могущественного и владетельного князя, желания которого должны были исполняться. Кроме того, он сознавал, что сам легкомысленно навлек на себя беду, вступив с женщиной в тайную связь, осуждаемую кодексом военной касты. Оставалась одна только, последняя, отчаянная надежда, что Аояги захочет и сможет бежать с ним. После долгих размышлений он решил послать ей письмо. Это было, конечно, опасно, потому что оно могло попасть в руки князя, а посылать обитательнице дворца любовное письмо было непростительным преступлением. Но он все-таки решился на это. Написал его в форме китайского стихотворения и сделал отчаянную попытку доставить ей это послание. Стихотворение состояло только из двадцати восьми знаков, но этими немногими знаками он сумел выразить всю глубину своей печали и страсти¹.

*

Коши о-сон годжин уо оу;
Риокужью намида уо тарэтэ ракин уо хитатару;
Комон хитотаби иритэ фуаки кото уми но готоши
Корэ иори шоро корэ роджин.

(Юный властитель следует за девушкой, сияющей красотой, — слезы красавицы, падая, оросили платье ее; зажглась любовь властелина и тоска его глубока, как глубоко бездонное море; я же оставлен и одиноко томлюсь.)

*

Утром юноша отправил это послание, а вечером его потребовали во дворец к владетельному князю Хосокава. Томотада сразу понял, что его доверием злоупотребили. Он знал, что его ждет самое тяжелое наказание, если письмо попало в руки князю.

«Он приговорит меня к смерти, — подумал Томотада, — но мне жизнь не мила, если мне не возвратят Аояги. И если меня осудят на смерть, я, по крайней мере, попытаюсь раньше убить Хосокава».

Он заложил за пояс мечи и поспешил во дворец.

В приемном зале на троне сидел князь Хосокава, окруженный знатными самураями в высоких шапках и парадных одеждах. Все были, как статуи, безмолвны и неподвижны. Томотада прошел мимо них, чтобы броситься на землю перед владетельным

¹ Так, по крайней мере, нас уверяет японский рассказчик; в переводе же стихотворение кажется обыденным. Я постарался лишь передать общий смысл. Для более точного, дословного, перевода потребовалось бы больше учености.

князем. Царило молчание, жуткое, как затишье перед бурей... Но Хосокава сошел с трона, положил руку юноше на плечо и произнес первую строку стихотворения:

— Коши о-сон годжин уо оу...

И когда Томотада поднял глаза, он увидел, что князь прослезился.

— Любовь ваша так велика, — промолвил Хосокава, — что я решил вместо родственника моего, князя провинции Ното, дать вам согласие на брак. И пусть свадьба состоится сейчас же при мне. Гости собрались, и подарки готовы.

Князь сделал знак, — раздвинулись ширмы, Томотада увидел другой зал с толпою придворных, собравшихся для предстоящего торжества, а среди них Аояги, ожидающую его в брачном наряде... И они вновь сочетались браком. На свадьбе шел пир горой, царили веселье и роскошь. Молодые получили множество драгоценных подарков от князя и его приближенных.

*

Томотада и Аояги прожили счастливо и безмятежно пять лет. Однажды утром, когда Аояги говорила с мужем о каких-то домашних делах, она вдруг громко вскрикнула, вся побледнела, притихла. Через несколько мгновений она слабым голосом прошептала:

— Прости, что я вскрикнула так грубо, но боль была так внезапна!.. Дорогой мой, наш союз является кармой, он должен иметь отношение к нашим предсуществованиям. Думаю, что это счастливое отношение соединит нас снова в будущих жизнях. Но для настоящей жизни наступил конец нашему союзу. Настала разлука. Заклинаю тебя, прочитай для меня молитву Нембутсу, потому что я умираю.

— Что за странные, нелепые мысли, — воскликнул испуганный муж. — Дорогая моя, ты просто больна!.. Приляг немного, тебе станет лучше...

— Нет, нет, — ответила Аояги, — я умираю. Это не воображение, я знаю!.. И теперь я могу сказать тебе правду: я не человеческое создание. Моя душа — душа дерева; сердце дерева — мое сердце; жизненные соки мои — соки ивы. В этот роковой миг кто-то рубит меня, — мою иву. И я умираю!.. Даже плакать я не могу! Скорее, скорее читай за меня молитву Нембутсу... Скорей!.. Ах!..

Она еще раз вскрикнула от боли и отвернулась, стараясь скрыть свое прелестное личико рукавом. И вдруг она стала таять и опускаться все ниже и ниже, — к земле. Томотада хотел ее поддержать, — но поддерживать уже было нечего. На циновке лежали только платья и головные уборы, — тело же ее перестало существовать...

*

Томотада обрил голову и, дав священные буддийские обеты, стал странствующим монахом. Он объездил все провинции государства и во всех священных местах молился за душу Аояги. Когда во время своего паломничества он пришел в провинцию Этидзэн, ему захотелось посетить отчий дом своей дорогой Аояги. Он нашел глухое местечко в горах, где в ночную зимнюю выюгу его приютили. Но домик исчез. Только три ивовых пня — два старых и один молодой — указывали то место, где некогда стоял он. Все три дерева были срублены уж давно.

Около ивовых пней он воздвиг могильный памятник, покрыл его священными надписями, совершил все замогильные обряды и долго молился об умиротворении душ Аояги и ее родителей.

ДЖУ-РОКУ-ЗАКУРА

Усо но иона —
Джу-року-закура
Саки ни кэри!¹

В Вакэгори, одном из округов провинции Ийю, находится древняя вишня. Зовут ее джу-року-закура, или «вишня шестнадцатого дня», потому что она ежегодно цветет в шестнадцатый день первого месяца (по старому календарю) и цветет один только день. Цветет она странным образом, в самый сильный мороз, хотя обыкновенно вишневым деревьям присуще ждать до весны. Но джу-року-закура заставляет жить и цвести посторонняя сила. В это дерево переселился дух человека.

*

Жил в Ийю самурай; в его саду росла вишня; цвела она в привычное время, — в конце марта или начале апреля. Самурай ребенком играл под тенью ее, родители, деды и предки самурая в течение более тысячи лет ежегодно украшали ветви ее блестящими пестрыми бумажными лентами, исписанными стихами. Самурай дожил до глубокой старости, пережил всех детей, и у него ничего не осталось, что он мог бы любить, — ничего, кроме вишни. Но, увы, однажды летом вишня стала чахнуть и умирать...

Старик очень страдал, глядя на умирающее дерево. Чтобы утешить его, добрые соседи принесли ему молодую красивую вишню и посадили в саду. Старик сердечно благодарил их, стараясь выказать радость. Но сердце его было полно тоски: он так любил старую вишню, что ничто не могло утешить его.

Наконец его осенила счастливая мысль: он вспомнил способ, с помощью которого можно было спасти его вишню от смерти. (Был шестнадцатый день первого месяца.) Он украдкой отправился в сад, опустился перед засыхающим деревом на колени и обратился с мольбою к нему.

— Умоляю тебя, расцвети еще один только раз! Я умру вместо тебя!

Есть поверье, что милостью богов можно отдать свою жизнь за другого — за человека, животное, даже растение. Эта смерть за другого называется мигавари ни татсу, то есть замещение другого собой. Окончив молитву, старик разостлал под деревом белую простыню и несколько одеял, опустился на них и совершил над собой хакари по обычаю самураев. И дух его перешел в вишню, и она мгновенно зацвела.

И до сих пор ежегодно, в шестнадцатый день первого месяца, она цветет среди снега.

¹ Ах, однодневное дерево — вишня — уж отцвело!



Ёситоси Цукиока

СОН АКИНОСУКЭ

В Тончи, в провинции Ямато, жил гоши¹ по имени Мийята Акиносукэ. В саду Акиносукэ стоял огромный вековой кедр, в тени которого он любил отдыхать в жаркие дни. Однажды после обеда он сидел с двумя приятелями, тоже гоши, в тени кедра. Было жарко и душно, приятели пили вино и болтали. Но вдруг на Акиносукэ напала такая непреодолимая сонливость, что он попросил друзей позволения вздремнуть в их присутствии. Он лег на землю у подножия кедра, сразу заснул и увидел необычайный сон.

Будто лежит он в саду, а с ближайшей горы спускается нарядная толпа народа, — свита могущественного дайме. И будто он встал, чтобы лучше рассмотреть, в чем дело. Такой роскоши и пышности ему еще никогда не приходилось встречать. Шествие направлялось к дому его, впереди несколько молодых людей в богатых одеждах везущих большой придворный экипаж, гошогу-руму, лакированный, обитый голубым шелком. Недалеко от дома шествие остановилось. Человек в роскошной одежде — верно, высокопоставленная личность — подошел к Акиносукэ и промолвил, низко ему поклонившись:

— Светлейший, перед вами кераи (вассал) Кокуо страны Токойо². Царь, господин мой, приказал мне приветствовать вас от августейшего имени своего и предоставить себя в ваше полное распоряжение. Еще мне приказано объявить вам, что его милость желает видеть вас у себя во дворце. Благоволите же сесть в экипаж, присланный за вами моим господином.

Акиносукэ хотел ответить на эту речь, как того требовал этикет, но он был так поражен, что не нашел подходящих слов. Вместе с тем он почувствовал, что утратил волю свою и во всем должен повиноваться кераи. Он сел в экипаж, рядом с ним сел кераи. Возницы взяли за шелковые шнуры, повернули на юг и помчались.

К неопишуемому удивлению Акиносукэ, экипаж очень скоро остановился перед огромными двухстворчатыми воротами (ромон) в китайском стиле, которых он раньше никогда не видел. Кераи вышел.

— Я оповещу о высочайшем приезде, — сказал он и исчез.

Скоро из ворот вышли двое придворных в пурпуровых одеждах и высоких шапках, указывающих на высокий чин их. Почтительно приветствовав его, они ему помогли выйти из экипажа, вошли с ним в ворота и повели его по огромному саду ко входу

¹ *Гоши* — в Японии в эпоху феодального строя существовал привилегированный класс вольных помещиков-воинов, соответствующий классу английских именов, — это и были *гоши*.

² Название *Токойо* не имеет определенного значения. Оно может означать, в зависимости от обстоятельств, каждую неизвестную страну, или же ту, неоткрытую еще, страну, откуда никому не дано возвратиться, или волшебную страну из сказок далекого Востока, царство Хорай. Кокуо — значит властелин, то есть царь. Выражение подлинника «Токойо но Кокуо» можно было бы здесь перевести как «Властитель Хорай» или «Царь Волшебной Страны».

во дворец. А дворец простирался на целые мили на запад и на восток. Акиносукэ повели в приемный зал, поражающий необычайными размерами и роскошным убранством. Провожатые усадили его на почетное место, а сами почтительно сели в стороне. Прислужницы в парадных нарядах принесли плоды, лакомства и прохладительные напитки. Когда Акиносукэ утолил голод и жажду, двое придворных в пурпуровых одеждах, низко ему поклонившись, произнесли речь, причем по придворному этикету каждый из них говорил по очереди одну фразу:

— Наш почетный долг известить вас... с какой целью властитель наш призвал вас к себе... Наш царь и властитель избрал вас в зятя... По его приказу вас обвенчают сейчас же... с его девственной дочерью, светлейшей принцессой... Мы поведем вас в тронный зал... Там ждет вас великий наш царь... Но раньше благоволите облечься... в подобающий парадный наряд...¹

Окончив речь, придворные подошли к лакированному, расписанному золотом сундуку, скрытому в нише. Открыв его, они вынули наряды и пояса из драгоценных тканей и царский головной убор, камури. Нарядив Акиносукэ, как подобает царскому жениху, они повели его в тронный зал, где в высокой черной шапке, в желтом шелковом одеянии, окруженный толпою придворных, неподвижных и прекрасных, как изваяния в храме, сидел на троне (дайза) Кокуо страны Токойо. Акиносукэ прошел мимо придворных, поклонился царю, бросившись трижды на землю, как требовал этикет. Царь милостиво приветствовал его и промолвил:

— Вам сообщили уже, с какой целью мы вас призвали сюда. Мы избрали вас приемным супругом единственной дочери нашей. Свадьба должна состояться тотчас же.

Царь кончил. Раздались громкие ликующие звуки музыки, занавес распахнулся, длинной вереницей вышли красавицы, придворные дамы и повели Акиносукэ в хоромы, где его дожидалась невеста.

Огромная зала еле могла вместить всех гостей, собравшихся на брачные торжества. Когда Акиносукэ опустился на предназначенную для него подушку, напротив принцессы, все гости низко ему поклонились. Невеста показалась ему райской девой, и наряд ее был прекрасен, как летнее небо. При всеобщем ликовании совершился свадебный пир.

По окончании праздника новобрачных повели в другую часть дворца, где для них был приготовлен ряд хором и где их ждали знатные особы с поздравлениями и свадебными дарами.

*

Несколько дней спустя Акиносукэ снова позвали в тронный зал. Царь, приняв его еще милостивее, сказал:

— В юго-западной части нашего государства есть остров Райшу. Мы назначаем тебя правителем его. Народ будет верен и предан тебе. Законы Райшу не одинаковы с законами Токойо, и обычаи его не соответствуют нашим. Мы поручаем тебе улучшить насколько возможно общественные условия острова и желаем, чтобы ты правил мудро и справедливо. Все нужные приготовления для твоего отъезда уже сделаны.

¹ Последнюю фразу по древнему обычаю оба придворных должны были сказать вместе. Все эти церемонии можно до сих пор наблюдать на японских сценах.



*

Акиносукэ со своей молодой супругой покинул дворец Токойо, сопровождаемый до пристани большой свитой дворян и придворных. Они отчалили от берегов Токойо на роскошном царском корабле и благодаря попутному ветру вскоре благополучно прибыли в Райшу. На берегу собрался весь народ и радостно приветствовал их.

*

Акиносукэ немедленно отдался своим новым обязанностям, которые показались ему не слишком тяжелыми. В течение первых трех лет своего правления он преимущественно занимался составлением законов и проведением их в жизнь. Но у него были мудрые советники, во всем помогающие ему, и возложенная на него задача никогда не тяготила его. Когда законы были проведены, ему оставалось лишь правильно совершать установленные древними обычаями священные церемонии и обряды. Страна была так благополучна и плодородна, что в ней не знали ни нужды, ни болезни. А люди были так добронравны, что никогда не преступали законов. Акиносукэ остался



Эйдзан Кикугава. Сон Акиносукэ

на острове Райшу и правил им еще двадцать лет. За все двадцать три года правления его жизнь ни разу не омрачалась даже тенью печали.

Но на двадцать четвертом году его постигло большое несчастье: супруга его, подарившая ему пятерых сыновей и двух дочерей, захворала и умерла. Ее с большой пышностью похоронили на вершине живописного холма расположенного в округе Ханри-око и воздвигли великолепный памятник на могиле ее. Смерть ее так огорчила Акиносукэ, что жизнь для него потеряла всякую цену.

*

По окончании установленного этикетом траура из Токойо в Райшу прибыл шиша, то есть царский посланец. Шиша передал Акиносукэ соболезнование царя и сказал:

— Вот слова, которые великий государь наш, царь Токойо, приказал передать вам: «Мы намерены возвратить вас в вашу родную страну, вашему родному народу.

Что касается ваших детей, — то они внуки царя и будут воспитываться согласно их положению. О них не тревожьтесь».

Выслушав эту весть, Акиносукэ покорно стал готовиться к отъезду. Привел в порядок дела и распростился со своими советниками и придворными по установленному этикетом церемониалу. С большими почестями его проводили на пристань, где его уже ждал корабль, готовый к отплытию. И поплыл корабль по синему морю под синим сводом небес, а остров Райшу стал тонуть в синей дали, затуманился и исчез... И Акиносукэ проснулся под кедром в саду.

В первое мгновение он был ошеломлен, отуманен. Но, увидев, что его приятели, все еще весело болтая, сидят рядом с ним, он в недоумении уставился на них и воскликнул:

— Как странно!

— Верно Акиносукэ видел сон, — смеясь, сказал один из друзей. — Что же приснилось тебе, Акиносукэ? Что странно?

Тогда Акиносукэ рассказал им свой сон, — сон о двадцатитрехлетнем пребывании в царстве Токойо, на острове Райшу. Друзья удивились, потому что в действительности он проспал лишь несколько мгновений.

— У тебя был необыкновенный сон, — сказал один из гоши, — но и мы видели нечто чудесное во время твоего сна. Мы видели маленькую желтую бабочку, порхающую над тобою. Мы все время следили за ней. Потом она опустилась на землю рядом с тобой, совсем близко от кедра. И вдруг из земли выполз огромнейший муравей, схватил ее и потащил с собою под землю. За миг до твоего пробуждения бабочка опять появилась и стала порхать над твоим лицом. И вдруг она исчезла неизвестно куда.

— Может быть, то была душа Акиносукэ, — сказал другой гоши. — Мне показалось, что бабочка влетела ему в рот... Но если бабочка и была душой Акиносукэ, это не объясняет странного сна.

— Не растолкуют ли муравьи этот сон? — сказал первый гоши. — Муравьи — странные твари, может быть, они даже нечистые духи... Во всяком случае, здесь, под кедром, большой муравейник.

— Посмотрим, — оживленно воскликнул Акиносукэ и побежал за лопатой.

*

Почва вокруг и под кедром оказалась совершенно разрытой, изборужденной и населенной огромной муравьиной колонией. Муравьи под землей занялись строительством, и их крохотные сооружения из соломы, глины и сучьев были очень похожи на миниатюрные города. В одном из сооружений, значительно больше других, собралась кучка маленьких муравьев вокруг труп очень крупного муравья с желтыми крыльями и длинной черной головкой.

— Посмотрите-ка, ведь это царь из моего сновидения! — воскликнул Акиносукэ. — А вот и дворец Токойо! Как странно!.. Остров Райшу должен быть где-нибудь на юго-западе, — влево от этого большого корня! Да! Вот он!.. Как странно! Теперь я уверен, что найду и гору Ханриоко, и могилу принцессы!..

Он тщательно продолжал исследовать разрушенный муравейник и нашел наконец крошечный холмик, на вершине которого лежал маленький, обтесанный водою кремь, по форме похожий на буддийский могильный памятник. А под ним он нашел зарытый в землю труп муравья-самки.

РИКИ-БАКА

Имя его было Рики, то есть Сила. Но называли его Рики-дурак, Рики-глупый — Рики-Бака, — потому что умственно он оставался малым ребенком. Поэтому все и любили его. На него не рассердились даже тогда, когда он однажды бросил зажженную спичку в сетку от moskitов, поджег целый дом и при виде пламени радостно хлопал в ладоши. Шестнадцати лет он физически был большим, сильным парнем, но умственно оставался двухлетним ребенком. Соседние дети старше четырех лет с ним не водились, потому что он не мог научиться их играм и песням. Его любимой игрушкой была палка от метлы, изображающая лошадку. Целыми часами он мчался верхом на этой метле вверх и вниз по откосу близ моего дома и от радости громко кричал. Но наконец он стал мне мешать своим криком, и я ему дал понять, чтобы он искал себе другое место для игр. Покорно кивнув, Рики ушел, грустно таща за собой свою палку. Он был кроткий и безобидный — только бы ему не представлялся случай с огнем — и редко давал повод жаловаться на него. В жизни нашей улицы он играл не большую роль, чем собака или петух. И когда он внезапно исчез, я даже не хватился его. Прошло несколько месяцев, прежде чем я о нем вспомнил.

— Что стало с Рики? — спросил я старого пильщика, снабжающего весь наш околоток дровами. Я вспомнил, что Рики часто ему помогал.

— Рики-Бака! — ответил старик. — Ах, Рики умер — бедняга!.. Да, умер около года тому назад, умер совершенно внезапно. Врачи говорили, что у него в голове было неладно. А теперь рассказывают странные вещи про бедного Рики.

Когда он умер, его мать написала имя его «Рики-Бака» на его левой ладони: «Рики» китайскими письменами, а «Бака» буквами кань¹. И она усердно молилась о том, чтобы он возродился для более счастливого существования.

И вот три месяца тому назад в величественной резиденции Нанигаши-Сама, в Коджимачи родился мальчик с совершенно ясной надписью на левой ладони «Рики-Бака».

Родители новорожденного и все домашние поняли, что это рождение было следствием чьей-то молитвы. Стали наводить справки. Наконец попали на след через продавца овощей; тот рассказал им, что в округе Ушигомэ жил дурачок по имени Рики-Бака и умер прошлой осенью. Отправили слуг искать мать умершего дурачка.

Слуги нашли мать Рики и рассказали ей, что случилось. Она очень обрадовалась, потому что семья Нанигаши принадлежала к богатому и знатному роду. Слуги сказали, что семья Нанигаши очень взволнована словом «Бака» на ладони ребенка.

— А где вы похоронили вашего Рики? — спросили слуги.

¹ Кана — японская азбука, она легче и проще китайской (*примеч. переводчика*).

— На кладбище Зендоджи, — ответила мать.

— Пожалуйста, дайте нам немного земли с его могилы, — попросили они.

Она пошла с ними к храму Зендоджи и показала могилу своего сына. Они взяли с могилы горсточку земли и завернули в фурошики...¹ А матери дали немного денег — десять иен...

*

— Зачем они взяли земли? — спросил я.

— Вы можете представить себе, — ответил старик, — что родители не хотели, чтобы ребенок вырос с такой надписью на ладони. Уничтожить же надпись, таким образом появившуюся на теле, можно только, если натереть кожу землей с могилы того, чье существование перешло в новорожденного...

¹ *Фурошики* — четырехугольный кусок бумажной материи, употребляемый для завертывания маленьких пакетов.



Утамаро Китагава

ХИМАВАРИ

За домом, на лесистом холме, Роберт и я ищем волшебные кольца. Роберту восемь лет, он красив и очень умен, — а мне только семь, и я боготворю Роберта. Чудный, жаркий августовский день, в теплом воздухе носится острый и сладкий запах смолы.

Мы не находим волшебных колец, а только множество словых шишек в высокой траве... Я рассказываю Роберту старую валлийскую сказку о человеке, нечаянно заснувшем в волшебном кольце и исчезнувшем на семь лет. Когда же наконец друзья его освободили от чар, он уже никогда больше не говорил и не ел.

— Знаешь, они едят только кончики игл, — говорит Роберт.

— Кто? — спрашиваю я.

— Нечистые духи, — говорит Роберт.

Я немею от удивления и страха...

Но вдруг Роберт кричит:

— Смотри, вот арфист! Он идет прямо к нашему дому!

И мы мчимся с холма, чтобы послушать арфиста... Но что это за арфист! Не похож он на седовласых певцов, нарисованных на картинках. Загорелый, грубый, нечесаный малый с черными дерзкими глазами под нависшими черными бровями. Он в своей полосатой куртке похож скорее на каменщика, чем на певца.

— Будет ли он петь по-валлийски? — шепчет Роберт.

Я слишком разочарован, чтобы сказать что-нибудь. Арфист ставит свою арфу — огромный инструмент — на порог нашего дома, проводит неуклюжими пальцами по струнам, откашливается с каким-то сердитым ворчанием и запевает:

Поверь, когда юные чары,
Пленившие ныне меня...

Выражение его, фигура, голос — все вызывает во мне глубокое отвращение. Мне хочется громко закричать: «Ты не смеешь петь эту песнь!» Ведь ее пело самое дорогое, самое прекрасное существо в моем маленьком детском мире. И мне больно, я возмущен, что этот грубый, нахальный человек дерзает произносить те же слова. Это дерзость, насмешка! Но проходит мгновение — и нет во мне больше этого чувства... Со словом «ныне» низкий грубый голос вдруг преобразается, становится трепетным, несказанно нежным. Каким-то чудом он разрастается до полноты и богатства органного звука. Никогда не изведенное чувство сжимает мне грудь... Какая волшебная сила вдохновила его? Какая тайна открылась ему, этому мрачному певцу-бродяге?.. О, поет ли кто-либо во всем мире подобно ему?! И фигура певца бледнеет и тает в тумане; дом, поля, все вокруг исчезает. Но инстинктивно я боюсь этого человека, — я почти ненавижу его, мне стыдно и больно, что он способен так волновать меня...



Охара Косон. Бабочка и подсолнух

Арфист уходит, приняв подачку в шесть пенсов и не сказавши спасибо.

— Он заставил плакать тебя! — сострадательно замечает Роберт. — Я думаю, что это цыган. Цыгане — нехорошие люди, и они колдуны. Пойдем назад, в лес!

Мы снова взбираемся вверх к соснам, садимся на озаренную солнцем траву и смотрим вдаль на город и море. Но мы не играем, как прежде: мы еще под чарами колдуна...

— Не был ли это нечистый? — говорю я наконец. — Или волшебник?

— Нет, — отвечает Роберт, — просто цыган. Но это не лучше. Знаешь, они воруют детей.

— Что нам делать, если он придет к нам наверх, — говорю я дрожа. Мне вдруг стало страшно от нашего одиночества.

— О, знаешь, он не посмеет, — отвечает Роберт, — по крайней мере днем!..

*

Вчера я нашел поблизости от деревни Таката цветок, который по-японски называется почти также как у нас: химвари — подсолнечник. И из сорокалетней дали я снова слышу голос певца-бродяги:

На бога своего устремил подсолнечник взор свой,
Не отрывается, смотрит, восходит ли он иль заходит.

И снова я вижу солнечные блики на далеком валлийском холме, и Роберт на миг снова со мною... Я вижу его девичье лицо и золотистые кудри... Мы ищем с ним волшебные кольца... Но то, что в Роберте было земного, — исчезло, претворилось в другое, более полное и чудесное... Большой любви не может проявить человек, как отдав жизнь свою за други своя...

ХОРАИ

Синее видение: выси, утопающие в глубинах, море и небо, сливающиеся в сияющем аромате. Весеннее утро.

Только море и небо — синяя бесконечность... Спереди серебристые искры, пляшущие по ряби морской, и кружащиеся, пенистые волокна.

Дальше движения нет, только краски — нежная, теплая, воздушная синева, сливающаяся с синевой моря. Нет горизонта, есть только даль, стремящаяся к другим далям...

Разверзаются бездонные глубины, возносятся беспредельные выси, и чем выше, тем глубже становятся краски. А в самой дальней синеве парит легкое, как дымка, видение: дворцы с высокими, серповидно выгнутыми крышами, — силуэт, полный далекой и чуждой нам красоты, озаренный солнцем, прекрасным, как воспоминание...

То, что я пытался описать только что — какемоно, японская писанная по шелку картина, висящая в нише моего дома. Называется она «Шинкиро» то есть «Мираж». Но этого видения нельзя не узнать: это вход в Хораи, мирную обитель, страну блаженства. А во дворце с полумесяцами на крышах живет Царь Драконов. Очертания дворца, хотя и набросаны современным японским художником, но представляют собою копию с китайских зданий, существовавших за две тысячи лет до нас. А из китайских книг тех далеких времен до нас дошли следующие вести о Хораи, блаженной стране: «В Хораи нет ни страдания, ни смерти. Там не знают зимы, и цветы там вечно цветут, и плоды вечно зреют. Стоит раз вкусить тех плодов, чтобы навсегда утолить голод и жажду. Есть в Хораи волшебные растения со-рин-ши, рику-го-аои и банкон-то, исцеляющие от всех недугов, есть магическая трава, Ио-шин-ши, воскресающая мертвых. А магическую траву орошает волшебный источник, дарующий нетленную юность. В Хораи рис едят с крошечных блюд, но, сколько бы ни брали его, блюда всегда полны. Вино там пьют из крошечных кубков, но никто не может осушить такого кубка до дна, — вино все прибывает, и сладко туманит голову, и навевает нежную дрему...»

Это и многое другое сообщают легенды из времен династии Шин. Но писавшие эти легенды, конечно, никогда не видели даже миража Хораи... Ведь нигде нет волшебных плодов, навсегда утоляющих голод, нет волшебной травы, воскресающей мертвых, нет животворящего родника, нет ни неистощимых блюд, ни чаш, в которых не иссякает вино. Неправда, что в Хораи нет страдания и смерти, неправда, что нет там зимы. Зима в Хораи сурова, от бури душа застывает, и снег высоко громоздится на крышах дворца.

Есть в Хораи много чудес, много чар, но о самом чудесном ни один китайский писатель не говорит: это воздух Хораи. Такой воздух только в этой блаженной стране. И солнечный свет там белей, чем где-либо, — опаловый свет, не ослепляющий, удивительно ясный и нежный... Это не воздух нашего тленного мира, — он изумительно стар, так стар, что я содрогаюсь, когда стараюсь представить себе, как он стар.

Это не смесь азота и кислорода, — это даже не воздух, а дух, совокупность душ триллионов и квинтиллионов поколений, мысливших, чувствовавших иначе, отлично от нас. Каждый хоть раз вдохнувший воздух Хораи проникается трепетом этих душ, и они превращают чувства его, преобразовывают его представление о времени и пространстве, заставляют его смотреть так, как смотрят они, чувствовать их чувствами, мыслить их мыслями. Преображение это окутывает нас, как нежная греза, и сквозь его призму Хораи можно было бы описать так: «В Хораи нет зла, и поэтому сердце там никогда не стареет. И вечно юные жители Хораи улыбаются от рождения до смерти, — не улыбаются они только тогда, когда боги ниспосылают им страдания. Но тогда они скрывают лицо, пока не минует печаль. В Хораи все любят друг друга, все верят друг другу, как члены одной общей семьи. И говор женщин нежен, как пение птиц, потому что у них, как у птиц, окрыленные души. И волнение девичьих рукавов во время игры подобно трепетанию больших, мягких крыльев. В Хораи ничего не скрыто, кроме страдания, потому что нет причин для стыда. И ночью, и днем все двери открыты, потому что нет страха. В Хораи все, кроме замка Царя Драконов, малó, изящно, очаровательно, потому что жители блаженной страны — эльфы, хотя и смертные. И этот народец действительно ест рис с крошечных блюд и вино пьет из крошечных-крошечных кубков...»

Быть может, многое в этом дивном видении обманчиво, навечно таинственной атмосферой, однако не все.

Ведь чары, которые мертвые ткнут вокруг нас, лишь излучение Идеала, мерцание вечной надежды. И во многих сердцах надежда эта, хотя отчасти, осуществилась: в простой красоте самоотверженной жизни, в нежных женственных чарах...

С Запада повеяли лютые ветры. Они коснулись Хораи и, увы, разорвали, развеяли магическую атмосферу его. Только обрывки и нити ее носятся еще над страной блаженства, подобно тем длинным сияющим нитям, которые мы встречаем в пейзажах японских художников. Только под этой волшебной ароматной дымкой еще можно найти Хораи — нигде больше...

Хораи называют еще Шинкиро, то есть Миражом, видением неосязаемого...

Но бледнеет видение, и никогда больше оно не восстанет, кроме как в песнях, картинах, мечтах...



Цзян Юань

О НАСЕКОМЫХ

БАБОЧКИ

Хотел бы я быть таким счастливым, как китайский ученый, известный в японской литературе под именем Розан. Его любили две светозарные небесные девы, сестры, посещали его раз в девять дней и рассказывали ему сказки о бабочках, волшебные сказки... Мне хотелось бы знать их... Но вряд ли я научусь когда-либо читать не только по-китайски, но даже по-японски. А в немногих японских стихотворениях, которые я с величайшим трудом понимаю, столько намеков на китайские источники, что я, читая их, испытываю муки Тантала. И слишком я большой скептик, чтобы светозарная фея посещала меня...

Хотел бы я знать, например, весь рассказ о китайской девушке, за которой бабочки, принявши ее за цветок, носились роями, — так она была нежна и прекрасна.

Хотел бы я знать что-нибудь о бабочках императора Гензо или Минга Хванга, о бабочках, выбиравших возлюбленных для него...

В своих роскошных садах он устраивал празднества, на которые собирались самые красивые дамы всей страны. В сад выпускали пойманных бабочек, и они, выбрав прекраснейшую из них, окружали ее. И император дарил ей любовь... Но раз Гензо Котей пленился Иокихи (китайцы называют ее Янг-Квей-Фей) и не хотел, чтобы бабочки выбирали другую. А это сыграло свою роковую роль — Иокихи принесла ему много страданий...

Хотел бы я побольше узнать о китайском ученом, в Японии называемом Сошу: во сне душа его летала в образе мотылька, он жил и чувствовал, как мотылек, а проснувшись, он не мог больше жить и чувствовать, как человек... Хотел бы я, наконец, прочитать китайский официальный документ о бабочках-гигантах, — душах императора и его приближенных...

Большая часть японской литературы о бабочке, за исключением немногих стихотворений, почерпнута из китайских источников. Под китайским же влиянием развиваясь, быть может, и древний национальный эстетизм в отношении к бабочкам, так очаровательно воплощающийся в японском искусстве, в обычаях и песнях. По той же причине японские художники и поэты так часто выбирают такие геймио (псевдонимы), как Чоому (греза бабочки), Итчоо (одинокий мотылек) и т. д. А танцовщицы до сих пор любят геймио вроде Чоохана (бабочка-цветок), Чоокичи (счастье бабочки), Чоонозукэ (помощь мотылька). Кроме таких геймио, и в обыденной жизни в ходу имя Кочоо, или Чоо, — бабочка. Это имя дают обыкновенно женщинам, но существуют оригинальные исключения... Упомяну еще о своеобразном старинном обычае, сохранившемся в провинции Мутсу, называть младшую дочь Текона, — «бабочкой», или «красавицей», на диалекте мутсу.



Куниёси Утагава. Бабочки

Быть может, некоторые японские легенды о бабочках, полные глубокого мистицизма, тоже почерпнуты из китайских источников. Но они, вероятно, древнее самого Китая. Кажется, самая интересная та, что говорит, будто душа живого человека способна носиться в образе мотылька. Это верование породило много очаровательных фантазий. Если бабочка влетит в гостиную и спрячется за бамбуковую ширму, то в гости придет самый близкий, любимый человек. Если в образе бабочки иногда скрывается дух человека, то бояться ее все-таки не надо. Но бывает, что и бабочки становятся страшны, когда появляются в несметном количестве; в истории Японии был такой случай: когда Таира-но Масакадо тайно подготовил восстание, в Киото появился огромный рой бабочек, и народ обуял ужас и страх, — все приняли это за роковое предзнаменование. Эти бабочки могли быть душами многих тысяч людей, осужденных пасть на поле брани, мечущихся накануне битвы в смертельной тоске, объятых таинственным предчувствием смерти...

По японскому верованию, бабочка может быть душою как живого, так и умершего человека. Верят даже, что душа всегда принимает образ бабочки, когда навек разлучается с телом. Поэтому бабочку, влетевшую в дом, надо всегда ласково принимать.

Это верование и связанные с ним фантазии часто встречаются в народном драматическом искусстве. В известной трагедии, «Тондэ-дэру-Кочоон-о-Канзаши», то есть «Крылатая шпилька Кочоо» мы видим красавицу Кочоо, кончившую жизнь самоубийством из-за несправедливого обвинения и жестокого обращения. За нее хотят отомстить, но виновника ищут долго и тщетно. Шпилька умершей превращается в бабочку и порхает над местом, где скрылся злодей, виновник самоубийства. Его находят, и он несет заслуженное наказание.

Конечно, никому и в голову не приходит приписывать таинственное, сверхъестественное значение большим бумажным бабочкам (о-чоо и мэ-чоо), украшающим брачные торжества. Они служат только эмблемами счастья, любви и союза, они — символ надежды на то, что новобрачные пронесутся по жизни, как бабочки по прекрасному саду, играя, порхая, не разлучаясь.

Вот небольшое собрание хокку¹ как иллюстрация японского отношения к эстетической стороне этого вопроса. Одни — мимолетные наброски, легкие красочные эскизы в семнадцать слогов; другие — очаровательные фантазии или нежно-навеянные настроения. Но они очень разнообразны. Возможно, что стихи сами по себе не произведут большого впечатления. Японские эпиграммы не могут понравиться сразу, к ним надо привыкнуть, всю прелесть их можно понять только после терпеливого изучения. Легкомысленная критика не признает ценности этих стихотворений из семнадцати слогов. Но вот известная строка Крэшоу о чуде на браке в Кане:

Nimpha pudica Deum vidit et erubuit².

Только четырнадцать слогов, но в них — бессмертная красота!.. А японская поэзия в семнадцать слогов, конечно, так же прекрасна, и встречаем мы ее не раз и не два,

¹ *Хокку* (*хайку*) — жанр и форма японской поэзии.

² Целомудренная нимфа, увидев Бога, зарделась. Или более привычно: «Целомудренная вода, увидев Бога, зарделась». В этой строке двойное значение слова «Nympha», употребляемое поэтами-классиками в смысле реки и божества реки или источника, напоминает изящную игру слов, излюбленную японскими поэтами. (Ричард Крэшоу „Божественный“ (1613–1650), английский поэт, написавший „Epigrammatum sacrorum liber“.



Утагава Кунисада. Герой в кимоно с бабочками

а может быть, тысячу раз. Нижеследующие же хокку, выбранные не только по литературным соображениям, очень просты и обыкновенны:

Нути-какуру
Хаори сугата но
Кочоо-кана!

(Сброшенное хаори¹ мне бабочку напоминает!)

Торисаши но
Сао но жама суру
Кочоо-кана.

(Увы, всегда бабочка кружит вокруг столба птицелова.)

Тсуриганэ ни
Томарите немур
Кочоо-кана.

(Отдыхая на куполе храма, бабочка спит.)

Неру-учи мо
Асобу-юмэ уо я —
Куса но чоо!

(И даже во сне она грезит об играх — бабочка полевая!)

Оки, оки ио!
Вага тому ни сен,
Неру-кочоо!

(Проснись, проснись, спящая бабочка! Я хочу с тобой поиграть!)

Каго но тори
Чоо уо ураяму
Метцуки кана!

(Как печальны глаза этой пойманной птички, как завидует она свободному мотыльку!)

Чоо тондэ —
Казе наки хи то мо
Миезарики!

(В воздухе тихо — но крылья бабочки трепещут, будто от ветра!)

Раккуа эда ни
Каеру то мирэба —
Кочоо-кана!

(Я принял бабочку за опавший цветок, вернувшийся снова на ветку родную!²)

¹ *Хаори* — шелковая яркая одежда — нечто вроде накидки с рукавами, — которую носят женщины и мужчины.

² Намек на буддийскую пословицу: «Раккуа эда ни каэразу; ха-кио футатаби терасазу». — «Опавший цветок не вернется на ветку родную; в разбитом зеркале не отразится мир».



Сюнман Кубо. Мотыльки и бабочки

Хиру хана ни
Каруза арасоу
Кочоо-кана!

(Бабочки порхают легко, как опадающие цветочные лепестки!)

Чоочоо я!
Онна но мичи но
Ато я саки!

(О бабочка! Над женщиной несется она, то отставая, то перегоняя ее!)

Чоочоо я!
Хана нусубито уо
Тсукэтэ юку!

(О бабочка! Она летает за теми, кто срывает цветы!)

Аки но чоо —
Томо накэреба я;
Хито ни тсуку!

(Осенняя грустная бабочка! Потеряв друга, привязалась она к человеку!)

Оуарэтэ мо
Исогану фури но
Кочоо-кана!

(Спасаясь от погони, бабочка не спешит!)

Чоо уа мина
Джиу-шичи-хачи но
Сугата кана!

(Все бабочки юны, как девушки семнадцати лет!)

Чоо тобу я —
Коно ио ни урами
Наки ио ни!

(Бабочка беззаботно играет, — будто в мире нет вражды!)

Чоо тобу я,
Коно ио ни нозоми
Наки ио ни!

(Бабочка так беззаботно порхает, будто нет у нее больше желаний!)

Нами но хана ни
Томари канэтару,
Кочоо-кана!

(Как трудно бабочке опуститься на цветы пенистых волн!)

Мутсумаши я!
Умарэ кауараба
Нобэ но чоо!

(Если бы нам, бабочками, вновь возродиться, быть может, мы были бы счастливы вместе!)

Надэшико ни
Чоочоо широши.
Тарэ но кон?

(Белая бабочка опустилась на красный цветок. Чья-то это душа?)

Ичи ничи но
Тсума то мизэкэри —
Чоо-футатсу.

(Однодневная жена, наконец, появилась, — порхает бабочка с мотыльком.)

Китэ уа мау
Футари шидзука но
Кочоо кана!

(Бабочки несутся и ловят друг друга, соединившись, они замирают!)

Чоо уо оу
Кокоро модзитаси
Итсумадэмо!

(Хотел бы я навсегда сохранить душевную юность и любовь к игре с мотыльками!)

О бабочке у меня, кроме этих поэтических образцов, только один рассказ в прозе. Оригинал, написанный в форме диалога между автором и бабочкой, взят из старинной, очень своеобразной книги «Муши-Исамэ» («Наставления насекомых»). Это дидактическая аллегория о моральном значении социального расцвета и упадка. Привожу вольный перевод.

*

Весеннее солнце, нежные ветры, цветы многоцветные, мягкие травы... Сердце людское ликует... Легкокрылые мотыльки порхают, резвятся, вдохновляя поэтов.

Бабочки! Мотыльки! Настали для вас дни упоения и счастья! О бабочка, как ты прекрасна! Нет ничего прекрасней тебя! Все насекомые тобой любят, завидуют тебе. Но не только они: и в людские сердца ты вселяешь восхищение и зависть. В Китае Сошу во сне принял твой образ, в Японии дух Сакоку после смерти преобразился в крылатого мотылька. Даже неодушевленные предметы стремятся принять форму твою, например ячмень, превратившийся в мотылька.

И возгордилась ты, бабочка. Думаешь, на всем свете нет равной тебе! Я знаю, что происходит в сердце твоём: ты слишком высоко ценишь себя. Каждое дуновение ветерка возносит тебя, ты вечно порхаешь, никогда не бываешь спокойна и мнишь себя счастливейшей в мире.

А вспомни-ка свою жизнь! Стоит подумать о ней. Есть в ней и некрасивая, темная сторона. «Как, темная, некрасивая сторона?» — «Да». Когда ты появилась



Утагава Кунисси. Бабочки

на свет, то своей наружностью не могла похвалиться. Ты была жалкой капустницей, гусеницей, червяком, гадким и волосатым; и была ты настолько бедна, что ничем не могла прикрыть своей наготы, и была ты отвратительна и противна. В то время все гадливо отворачивались от тебя. Да, у тебя было основание стыдиться. И ты так оробела, что из веток и хвороста сплела гнездо, повесила его на ветку и спряталась в нем. Тогда тебя называли мино-муши — насекомое-плащ¹. О, в те времена грехи твои были очень велики: ты, твои друзья и подруги исказили, объели нежные зеленые листья вишневых деревьев. Издалека люди стекались, чтобы насладиться весенней красотой вишневого цвета, приходили в радостном нетерпении и находили тебя на разрушенных лепестках. И они отворачивались с гадливостью. Но на твоей совести еще большие преступления: ты знала, что бедные, голодные люди, женщины и мужчины, сажали на полях своих дайкон², что они работали и трудились под палящими солнечными лучами, пока горечь не подступала им к сердцу, потому что труд был непосильно тяжел и нищета безнадежна...

Ты же, соблазнив своих друзей и подруг, повела их на дайкон и другие овощи, посаженные в поте лица бедняками. В обжорстве своем вы испортили и изгрызли овощи, обезобразили их, не жалея бедных, голодных людей...

Ты была злой и негодной и творила негодные злые дела.

Теперь же, кружась и порхая, чаруя всех красотой, ты презираешь своих прежних друзей-насекомых и, встречаясь с ними случайно, отворачиваешься от них, будто не узнавая. Ты ищешь теперь только богатых, благородных друзей... Ты забыла прежнее время, забыла свое происхождение?

Многие забыли его так же, как ты. Поэты, вдохновленные красотой и белизной твоих крыльев, воспевают, тебя в японских и китайских стихах. Знатные девушки, которые раньше отворачивались при виде твоего безобразия, теперь глядят на тебя с восхищением и протягивают веер к тебе, чтобы ты на него опустилась.

Вспоминаю старинный китайский рассказ, где ты описана в самых непривлекательных красках.

Во времена императора Гензо во дворце жило много тысяч красавиц — одна лучше другой, — так что трудно было решить, которая прекраснее всех. Однажды всех красавиц созвали в сад и пустили тебя в их общество. Гензо решил полюбить ту, чьей шпильки ты коснешься крылышками. В те времена могла быть одна только императрица, и это был мудрый, хороший обычай. Но ты навлекла много бед на императора Гензо и на страну... Среди красавиц были, конечно, чистые сердцем и возвышенные душой. Ты же смотрела только на внешнюю красоту и выбрала ту, которая лицом и станом была заманчивей всех. Тогда придворные дамы стали думать только о том, как бы наружностью завлечь мужчин в свои сети. А император Гензо умер позорной и жалкою смертью. И виновато в этом твое легкомыслие. Твоя ветреность сказывается на каждом шагу. Почему ты чуждаешься дуба или сосны? Их вечнозеленая листва не вянет, не опадает, у них сильное сердце, и душа их крепка. Но ты их не любишь и избегаешь, тебе с ними скучно. Тебя тянет только к вишне, к кайдо³, пиону и

¹ Вследствие сходства искусно сделанного футляра для личинки с мино — соломенным дождевым плащом японских крестьян.

² *Дайкон* — корнеплод, выведенный в Китае, напоминающий редьку или большую морковь.

³ *Кайдо* — яблоня замечательная (*Malus spectabilis*) — вид яблони семейства розовые, произрастающей в Китае и культивируемой в этой стране в качестве декоративного растения.



Тоёкуни Утагава I



чайной розе. Ты любишь их за ослепительные цветы и стараешься понравиться им. А это не хорошо! Их цветы, правда, пленяют, но у них нет плодов, утоляющих голод. — И любят они только пышность и роскошь. И только поэтому они любят тебя, твоей красотой, нежным трепетом твоих крыльев, только поэтому призывно раскрывают чашечки при виде тебя.

Весной ты шаловливо несешься по пышным садам, порхаешь по душистым вишневым аллеям и думаешь: «Кто на свете счастливее меня? У кого такие очаровательные друзья?! Мне все равно, что бы люди ни говорили, — а я люблю пион, и золотистая роза любит меня. Я следую их призыву, в этом мое счастье, и радость, и гордость моя...» Так говоришь ты. Но недолговечна весна. Цветы быстро вянут и опадают. Настанут знойные летние дни, и зеленую листву сменят многокрасные цветы. А дальше, когда закрутят осенние ветры, понесутся с шумом сухие листья, подобно дождю парари-парари. Тогда вспомнится тебе поговорка: таномки но шита ни амэ фуру (сквозь ветви дерева, под которым я приютилась, шумно льет дождь). Ты обратишься к старым друзьям, к гусенице, ты попросишь ее скрыть тебя в своей норке, — но у тебя крылья, они помешают тебе, не дадут приютиться в прежней закуте. Нигде не будет убежища для тебя. Весь мох засохнет, и не будет ни капли росы для утоления жажды. Ляг, бабочка, и умри, — нет иного исхода!.. И во всем виновато ветреное сердце твое, — о, какой жалкий конец!..»



Сюнман Кубо. Женщины в саду

*

Кажется, что большинство японских рассказов о бабочках почерпнуто из китайских источников. Но я знаю один, возникший, очевидно, в Японии, и его расскажу. Он докажет, как ошибочно мнение, будто на далеком Востоке нет романтической любви.

В предместье столицы, за кладбищем храма Созанджи, долгое время стоял одинокий домик, в котором жил старик Такахама. Соседи любили его за ласковость и сердечность, но считали чудаком. От каждого мужчины, если только он не дал буддийского обета безбрачия, ждут, чтобы он обручился и обзавелся семьей. Но Такахама, хотя не принадлежал к религиозному союзу, не хотел вступать в брак. Никто не знал, любил ли он когда-либо. И прожил он, одинокий, более пятидесяти лет.

Однажды летом он захворал и почувствовал, что близок его конец. Тогда он позвал невестку свою, вдову, с сыном, юношей лет двадцати, которого он очень любил. Оба поспешили к больному и наперерыв старались облегчить последние часы старика.

В душный послеобеденный час, когда вдова с сыном сидели подле него, Такахама уснул. Вдруг в комнату влетела большая белая бабочка и опустилась на подушку больного. Племянник согнал ее всером, но бабочка возвратилась, ее снова согнали, и она вернулась опять. Тогда юноша прогнал ее в сад и — через открытую калитку — на кладбище соседнего храма. Но бабочка кружилась вокруг него, не улетала,

казалась недовольной. Она вела себя так странно, что юноша подумал: «Бабочка это или ма¹?»

Он снова прогнал ее на кладбище. Тогда бабочка полетела на могилу — могилу женщины — и внезапно исчезла. Юноша, тщетно проискав ее некоторое время, осмотрел могилу. На памятнике была написана неизвестная фамилия и имя Акико, скончавшейся восемнадцати лет... Могиле этой на вид было лет пятьдесят, она уже начала обрастать мхом. Но она хорошо сохранилась, была украшена цветами, и вазу, очевидно, недавно наполнили свежей водой.

Когда юноша вернулся домой, он, к своему горю, узнал, что дядя скончался. Смерть во сне безболезненно, нежно, любовно коснулась его... Улыбка озаряла почившее лицо Такахамы...

Юноша рассказал матери о таинственной бабочке.

— Это была Акико! — воскликнула мать.

— Кто такая Акико? — спросил юноша.

— Когда добрый дядя твой был еще молод, — ответила мать, — он полюбил очаровательную девушку, Акико, дочь соседа. Они стали женихом и невестой. Но незадолго до свадьбы Акико умерла от чахотки. Такахама был неутешен. После смерти Акико он дал обет никогда не жениться. Чтобы быть близ могилы ее, он выстроил себе этот домик рядом с кладбищем. Все это было более пятидесяти лет тому назад. Каждый день в течение этих пятидесяти лет, зимою и летом, твой дядя ходил на кладбище, молился на могиле ее, убирал цветами, приносил ей дары. Но он не любил, чтобы другие говорили об этом, и сам не говорил никогда... А сегодня Акико пришла за ним, — белой бабочкой прилетала ее душа...

МОСКИТЫ

Я прочитал книгу доктора Говарда «Москиты» из чувства самосохранения, потому что они преследуют меня. Есть несколько видов москитов; ужаснее всех один: крошечный, с острым, как игла, жалом, с серебристыми крапинками и полосками. Укус его пронизывает, как электрический ток, и жужжание его, пронзительное, как острый ланцет, действует как предчувствие боли, как запах иногда внушает предчувствие вкуса. Этот москит очень похож на насекомое, называемое у доктора Говарда *Stegomyia fasciata* или *Culex fasciatus*, — все признаки сходны. Насекомое это скорее дневное, чем ночное, и особенно докучает в послеобеденные часы. Появляется оно, как я понял, с буддийского кладбища, древнего кладбища за моим домом.

*

Доктор Говард пишет: «Чтобы избавить страну от москитов, надо влить немного керосина в стоячую воду, где они плодятся. Керосин надо вливать еженедельно, на каждые пятнадцать квадратных футов водяной поверхности по одной унции керосина, а на меньшую поверхность соразмерно меньше...»

Но надо принять во внимание, каковы условия в окрестностях нашего сада.

¹ Ма — злой дух.



Сюнтэй Миягава. Комары

Я сказал, что мои мучители приходят с буддийского кладбища. На этом старом кладбище почти перед каждой могилой бассейн или цистерна — мизутамэ по-японски. В большинстве случаев мизутамэ просто овальная выемка, выдолбленная в широком пьедестале памятника. Перед могилами более знатных людей ставят сосуд, высеченный из цельного камня и украшенный семейным гербом или символическими знаками. Перед самыми бедными могилами, не имеющими мизутамэ, воду ставят в чашках или другой посуде, потому что мертвые должны иметь воду, так же как и цветы: перед каждой могилой несколько бамбуковых чаш или сосудов с цветами, и в них, конечно, вода. На кладбище есть и колодезь, снабжающий могилы водой. Каждый раз, когда родные или друзья посещают могилы своих умерших, все водоемы и сосуды наполняются свежей водой. Но на таком старинном кладбище тысячи мизутамэ и десятки тысяч цветочных сосудов, поэтому воду невозможно возобновлять ежедневно. Она застаивается и заселяется. Глубокие водоемы редко высыхают совсем, потому что дождей в Токио так много, что в течение девяти месяцев в году водоемы полны.

И в этих-то водоемах и цветочных сосудах размножаются мои враги: миллионы выходят из этих вод, посвященных мертвым. И, по буддийскому верованию, быть может, в некоторых воплотился дух тех мертвецов, которые в наказание за преступления прежней жизни осуждены на существование в образе Дзики-кетсу-гаки или кровожадного прета¹. Злобность *Culex fasciatus* оправдывает подозрение, что в это крошечное жужжащее тельце переселилась злодейская человеческая душа.

*

Но вернемся к мыслям о керосине: надо лишь налить его тонким слоем на поверхность стоячей воды, где селятся москиты, чтобы их умертвить. Личинки погибают тотчас же, а самки — как только приближаются к воде, чтобы положить яйца. В книге доктора Говарда говорится, что достаточно трехсот долларов, чтобы избавить от москитов американский город в 50 000 жителей!

*

Интересно, что скажут, если городское управление Токио, вполне передовое, вдруг издало бы указ время от времени покрывать слоем керосина все водные поверхности буддийских кладбищ?! Как отнеслась бы к такому приказу религия, запрещающая убийство даже невидимой жизни? Как совместить подобный приказ с культом предков? А кроме того, представьте себе затрату сил, средств и времени, чтобы еженедельно поливать керосином миллионы мизутамэ и десятки миллионов бамбуковых ваз на всех кладбищах Токио! Невозможно! Чтобы избавить этот город от москитов, нужно было бы разрушить все старинные кладбища, а это обусловило бы разорение всех буддийских храмов, связанных с ними, и повлекло бы за собой уничтожение стольких очаровательных садов с лotosовыми прудами, памятников с санскритскими надписями, выгнутых мостов, священных рощ, статуй Будды с их таинственной вечной улыбкой... Истребление *Culex fasciatus* уничтожило бы всю поэзию культа предков, — это, конечно, слишком дорогая цена!

¹ Преты — злые духи (примеч. переводчика).



Хасуй Кавасэ. Весенняя луна

*

Я хочу, когда настанет мой смертный час, чтобы похоронили меня на одном из этих величавых, старинных кладбищ в обществе призрачном, древнем, равнодушном к обычаям, изменениям и нововведениям эпохи Мейдзи. Старое кладбище за моим домом — вот настоящее для меня место. Все там прекрасно чудесной красотой, далекой, забытой. Каждое дерево, каждый камень говорит об идеале далеком, отжившем, не существующем больше нигде в жизни. Даже тени там не нашего времени, не нашего солнца, — они причастны забытому, отзвучавшему миру, не знавшему ни пара, ни электричества, ни магнетизма, ни керосина. И звук большого храмового колокола пробуждает во мне ощущения, до жуткости чуждые тем, которые вызывает во мне современность. От его тихих, глухих колебаний по душе пробегает сладостный трепет... И на эти волнообразные звуки откликаются в душе моей мистические тайники, в них оживает трепетное движение, бьются незримые крылья, будто из тьмы миллионов смертей и рождений стремятся воспоминания к свету. Надеюсь, что звук этого колокола и после смерти будет доходить до меня... И если мне предначертано возродиться в образе Дзики-кетсу-гаки, я хотел бы появиться на свет в цветочной бамбуковой вазе или в мизутамэ. Напевая тоненьким голоском мою песнь, я полетел бы тихонько и... с наслаждением слегка уколол бы некоторых знакомых.

МУРАВЬИ

Миновала буря ночная. Утро настало, и небо снова сверкает ослепительной синевой. Воздух, опьяняющий, упоительный воздух, насыщен сладким, острым запахом сосновых ветвей, сломанных и развеянных бурей. В бамбуковой роще флейтой заливается птица, — она песнью своею славит сутру Лотоса. И, как всегда, когда ветер с юга, вокруг царит великая тишина. Долгожданное, желанное лето наконец наступило. Мелькают, кружатся японские бабочки, чарующие своей красочной красотой, семи¹ стрекочут, осы жужжат, комары пляшут на солнце, муравьи прилежно исправляют жилища свои. Вспоминается мне японское стихотворение:

Юки э наки
Ари но сумаи я!
Го-гэтсу амэ!

(Куда приютиться бедняжке!.. Дождь пятого месяца, увы, размыл жилище муравья!)

Но соседи мои, большие черные муравьи, кажется, не так жалки, как муравьи из японского стихотворения. Каким-то чудом буря их пощадила, — буря, вывернувшая с корнем большие деревья, размывшая дороги и разрушившая дома. А муравьи ничем не оградили себя от наступающего тайфуна, — только заперли вход в свои подземные города. Победа их над стихией заставляет меня сегодня заняться этими удивительными насекомыми.

Хотел бы я предпослать исследованию моему предисловие из древнеяпонской литературы, — что-нибудь лирическое или метафизическое. Но мои японские друзья

¹ Семи — насекомое (примеч. переводчика).

могли снабдить меня только китайским материалом, кроме нескольких незначительных японских стихов. Привожу, *faute de mieux*¹, один из китайских рассказов, — есть среди них много удивительных и своеобразных.

*

Жил в Китае, в провинции Тайшу очень благочестивый человек. В течение многих лет он усердно молился все одной и той же богине. Однажды утром, когда он, по обыкновению, погружен был в молитву, перед ним вдруг появилась прекрасная женщина в развевающейся желтой одежде. Пораженный ее появлением и красотой, он спросил, что ей нужно и почему она вошла без доклада.

— Я не простая женщина, — ответила она, — я та богиня, которой ты молишься так давно и усердно. Я хочу вознаградить тебя за долготерпение и непоколебимую веру... Знаешь ли ты язык муравьев?

— Я простой, необразованный человек, — ответил он, — я не ученый и не знаю даже языка выше меня стоящих.

Богиня улыбнулась и из складок одежды вынула ящичек с мазью. Она открыла его, обмакнула палец и помазала уши доброго человека.

— Теперь поищи муравьев, — сказала она, — а когда найдешь, склонись к ним и внимательно вслушайся в их разговор. Ты теперь поймешь их язык, и то, что ты узнаешь от них, принесет тебе счастье. Только смотри не пугай, не дразни их.

И богиня исчезла.

А человек пошел искать муравьев. Не успел он переступить через порог, как на камне, на котором стоял один из главных столбов его дома, увидел двух. Он склонился к ним и очень был удивлен, услышав, что они говорят и что он их понимает.

— Поищем более теплого места, — предложил один муравей.

— Почему? — спросил другой. — Разве тебе не нравится это место?

— Внизу так холодно и сыро, — ответил первый. — Это потому, что тут зарыт большой клад, не пропускающий в глубь земли лучей солнца.

Муравьи уползли, а человек побежал за лопатой.

В земле близ столба он нашел несколько больших сосудов, доверху наполненных золотом, и стал он богачом.

*

После этого он еще часто старался подслушать разговор муравьев, но никогда больше не понимал их. Мазь богини только на один день открыла его ухо для понимания таинственной речи.

Как тот благочестивый китаец, и я должен сознаться в глубоком невежестве, в полной неспособности понимать язык муравьев. Но иногда могущественная фея — Наука — касается своим волшебным жезлом моих глаз и ушей, и на короткое время я слышу неслышное и вижу невидимое.

Быть может, многие оскорбит то, что я сейчас расскажу о муравьях, оскорбит по той же причине, по которой в известных кругах запрещено говорить, что нехристианский народ достиг цивилизации, стоящей этически выше нашей. А между тем люди, умственного развития которых я и не мечтаю достигнуть, рассуждают о цивилизации и насекомых совершенно независимо от христианства. Меня ободряет новая книга

¹ *Faute de mieux* — за неимением лучшего (*фр.*).

«Cambridge Natural History», из которой я привожу следующее замечание о муравьях профессора Дэвида Шарпа¹: «Путем наблюдений открыли в жизни муравьев поразительные явления. Приходится почти согласиться, что социальное товарищество развито у них во многих отношениях гораздо совершеннее, чем у нас. А в некоторых отраслях промышленности и искусства, необходимых для облегчения социальных условий, они положительно превосходили нас».

Думаю, что знатоки этого дела не будут оспаривать такое ясное утверждение выдающегося специалиста. Современный ученый не станет сентиментально умиляться над пчелами и муравьями. Но он принужден согласиться, что в социальной эволюции насекомых эти стоят выше человека. Герберт Спенсер², которого, конечно, никто не обвинит в романтизме, идет еще дальше профессора Шарпа; он доказывает, что муравьи как в этическом, так и в экономическом отношении действительно превосходят людей, потому что жизнь их посвящена исключительно альтруистическим целям. И напрасно профессор Шарп умаляет свою хвалу муравьям следующим осторожным замечанием: «Стремления муравьев не похожи на наши. Они направлены более на благо рода в ущерб индивидуума, который как-будто жертвуется или специализируется для блага общественности».

С нашей современной точки зрения верно общепринятое мнение о несовершенстве социального строя, где развитие индивидуальности жертвуется на благо общественное. Человеческое развитие еще очень несовершенно, и наше общество еще многое может выиграть от дальнейшей индивидуализации. Но этого нельзя сказать относительно социальных насекомых.

«Эволюция индивидуума, — говорит Герберт Спенсер, — состоит в развитии его приспособляемости к социальной кооперации; поскольку она способствует социальному благополучию, постольку она способствует и сохранению расы».

Другими словами, индивидуум ценен только как член общества. И вопрос, следует ли жертвовать индивидуумом для общества, зависит, следовательно, от того, что общество выиграет или проиграет от дальнейшей индивидуализации своих членов. Но сейчас мы увидим, что значительно все этические стороны муравьиного общества: они стоят выше человеческой критики, ибо осуществляют тот идеал моральной эволюции, который Герберт Спенсер описывает как «состояние, в котором альтруизм и эгоизм настолько примирились, что сливаются воедино». Это такое состояние, где единственно возможная радость — радость самоотречения. Или, чтобы опять привести Спенсера, «в общественной жизни насекомых каждый член подчиняет свое благополучие благополучию общества; индивидуальная жизнь, очевидно, доводится до минимума, с особью считаются лишь постольку, поскольку она в состоянии отвечать требованиям общественной жизни, индивидуум пользуется покоем и пищей только для сохранения своей силы».

¹ Дэвид Шарп (1840–1922) — английский врач и энтомолог, член Лондонского королевского общества (примеч. ред.).

² Герберт Спенсер (1820–1903) — английский философ и социолог, один из родоначальников эволюционизма, основатель органической школы в социологии, идеолог либерализма (примеч. ред.).

*

Мои читатели, наверное, знают, что муравьи занимаются садоводством и земледелием, что они очень искусно разводят грибы, что, по собранным до сих пор данным, они приручили 534 вида животных; что они прокладывают туннели через массивные скалы, защищаются от атмосферных явлений, могущих повредить здоровью детей их; наконец, что жизнь их необыкновенно продолжительна для насекомых: более развитые виды живут много лет.

Но я не об этом хочу, главным образом, говорить. Прежде всего мне хочется указать на невероятную корректность и высокую нравственность муравья. Этика муравья превосходит наши светлейшие, высочайшие идеалы; в этом отношении человек отстал от муравья на миллионы лет. Под «муравьем» я разумею, конечно, высший тип муравья, — не весь род муравьиный. До сих пор известны приблизительно две тысячи разновидностей муравьев, — очень различных по степени социальной организации. Есть социальные явления, имеющие огромное биологическое и не меньшее этическое значение, встречающиеся только в наиболее развитых муравьиных обществах.

Думаю, что после всего, что за последние годы писали о муравьях, вряд ли кто-либо станет отрицать индивидуальный характер муравья. Способность этого маленького существа преодолевать непредвиденные препятствия, приспособляться к новым, чуждым ему, обстоятельствам доказывает необычайную силу самостоятельного мышления. Но одно несомненно: муравей никогда не проявляет своей индивидуальности в эгоистическом направлении, в буквальном смысле этого слова. Нельзя представить себе жадного муравья, чувственного муравья, муравья, совершающего один из семи смертных грехов или подверженного какой-либо плотской слабости. Также трудно, конечно, представить себе романтического, идейного, поэтического муравья или муравья, изощряющегося в метафизических спекуляциях. Ни один человеческий интеллект, при его настоящем развитии, не мог бы достигнуть и проявить того абсолютного непогрешимого практического понимания, какое мы встречаем у муравья. И это совершенное практическое чувство непогрешимо и в нравственном отношении. Трудно, конечно, доказать, что у муравьев отсутствуют религиозные идеи, но несомненно, что такие идеи были бы совершенно бесполезны для них. Кто не способен на нравственную слабость или ошибку, тот не нуждается в «духовном руководстве».

Правда, мы только отчасти можем понять характер муравьиного общежития и их этику. И даже для такого частичного понимания мы должны создать в воображении человеческое общество и людскую мораль, невозможные, несуществующие теперь. Постараемся представить себе человеческое общество, все члены которого женского пола и беспрерывно работают с пламенным рвением. Ни одну из этих работниц нельзя ни уговорить, ни соблазнить, чтобы она приняла немного больше пищи, чем необходимо для сохранения ее рабочей силы. И ни одна из них не спит ни секунды больше, чем необходимо для восстановления нервной системы и работоспособности. Все они так удивительно созданы, что малейшее излишество вызвало бы в них расстройство всех отправлений.

Ежедневная работа их заключается в прокладывании дорог, постройке мостов, рубке леса, бесчисленных архитектурных сооружениях, в садоводстве и земледелии, в питании и уходе за всеми разновидностями домашних животных, в производстве химических продуктов, изготовлении запасов, сохранении множества съестных припасов, в заботах о детях их расы. И весь этот труд — для общественной пользы.

Ни один член этого общества даже не помышляет о собственности иначе, как разумея под ней *res publica*¹, — и единственной целью всей общественной организации является питание и воспитание потомства, состоящего почти исключительно из самок. Период детства у муравьев очень продолжительный. Долгое время дети остаются не только беспомощными, но и бесформенными и настолько нежными, что требуют тщательной защиты от малейшей перемены температуры. К счастью, нянюшки их прекрасно знакомы со всеми законами гигиены: каждая из них знает все нужное о вентиляции, дезинфекции, осушении сырости и о бацилловой опасности, может быть, потому, что их близоруким глазам микроорганизмы доступны без микроскопа. Нянюшки эти так основательно знают все подробности гигиены, что в своей среде никогда не сделают санитарной ошибки.

И, несмотря на непрерывную деятельность, работницы заботятся о своей наружности: все они крайне опрятны и по несколько раз в день занимаются туалетом. Но так как они рождаются с отличными щетками и гребнями на собственных лапках, то не теряют времени в уборных. Кроме себя самих работницы-муравьи содержат в идеальном порядке сады и жилища детей. Ничто — кроме землетрясения, извержения вулкана, наводнения или ужасной войны — не нарушает ежедневной чистки, выметания, прибирания и дезинфекции.

*

Но мы видим в муравьином царстве более поразительные явления. Этот мир непрерывного труда и работы — мир весталок². Правда, иногда появляются там и самцы, но лишь в известные времена года; и они ничего не имеют общего с работницами-муравьями и их трудовой жизнью. Никто из них не посмел бы приблизиться к работнице-муравью, — разве при чрезвычайных обстоятельствах, например во время общей опасности. И ни одной работнице и в голову не придет удостоить самца взглядом, потому что в этом удивительном мире самцы считаются существами низшими, одинаково неспособными к труду и борьбе, которых терпят только как неизбежное зло. Обособленный род самок — избранные матери расы — в известные времена года на короткое время снисходят до общения с самцами. Но эти матери-самки не работают никогда: их долг и удел — брачный союз, хотя и краткий. Работницы же никогда и не думают о супругах-самцах не только потому, что брачный союз был бы непристойной, легкомысленной тратой времени, но и потому, что они по природе своей смотрят на всех самцов с невыразимым презрением — а главное, — потому, что они не способны к совокуплению. Есть работницы-муравьи, способные на партеногенез и рождающие детей без отцов. Но в общем их женственность проявляется только в нравственных инстинктах: в нежности, терпении, заботливости — во всех вообще «материнских» качествах. И пол их исчез, как пол Девы-Дракона в буддийской легенде.

Для защиты от хищных зверей и врагов государства работницы снабжены оружием. Кроме того, в муравьином царстве существует большая военная сила. Воины-муравьи настолько больше работниц (по крайней мере в некоторых случаях), что на первый взгляд трудно поверить, что они принадлежат к одному и тому же виду насекомых. Нередко случается, что воины-муравьи во сто раз больше работниц, защищаемых ими. Но и воины-муравьи — амазонки, или, вернее, полуженщины. Они очень

¹ Вещь публичная, вещь общественная (*лат.*).

² Весталка (*устар.*) непорочная девушка, девственница (*примеч. ред.*).

работоспособны, но телосложение их больше приспособлено для борьбы и перенесения тяжестей, и полезны они в тех случаях, где нужно больше силы, чем ловкости.

Почему самки, а не самцы развились в трудящийся и воинствующий класс, на этот вопрос ответить не так-то легко. Я, по крайней мере, не берусь дать ответа. Может быть, сама природа с точки зрения экономии разрешила этот вопрос. В царстве животных самки часто гораздо больше и сильнее самцов. Быть может, в данном случае природа использовала большой запас жизненной силы, первоначально присущий совершенной самке, для развития специальной военной касты. Вся энергия, которую рождающая самка израсходовала бы на производство потомства, здесь направилась, очевидно, на эволюцию агрессивной или трудовой силы.

Настоящих самок, избранных матерей, очень мало, и обращаются с ними как с царицами. Их окружают непрерывным почтительным вниманием, предупреждая все их желания. Борьба за существование, труд и забота — все снято с них, и единственная их обязанность — воспроизведение детей. Днем и ночью их всячески охраняют. Только их усиленно питают. Ради потомства они должны пить и есть и жить в царском довольстве, а их физиологическое устройство позволяет им предаваться при желании всяким излишествами. Они редко выходят, и только в сопровождении большого конвоя, потому что им не позволяют напрасно подвергаться опасности или утомляться. Впрочем, вряд ли они и желают того. Вокруг них кипит деятельность расы: весь интеллект, весь труд, все стремление направлены исключительно на благо матерей и потомства.

Самый низший класс в муравьином царстве составляют мужья матерей, самцы, — неизбежное зло. Я уже говорил, что они появляются только в известные времена года и живут очень недолго. Некоторые из них не могут даже похвалиться знатным происхождением, хотя они и предназначены в супруги цариц. Они же не царского рода, а плоды партеногенеза, рожденные девственницами. Потому-то они и считаются низшими существами, эти случайные плоды какого-то таинственного атавизма. Но в муравьином царстве допускается только ограниченное число самцов — не больше, чем нужно супругов для избранных матерей. И эти немногие, исполнив свой долг, умирают. В этом удивительном мире естественные законы совпадают с учением Рескина, что жизнь без труда — преступление. И самцы, не несущие ни трудовой, ни воинской повинности, имеют право только на кратковременное существование. Положим, их не убивают, у них не вырывают сердца, как у ацтекской жертвы, предназначенной для праздника Тецкатлипока, им позволяют насладиться медовым месяцем в течение двадцати дней. Но как они жалки, несмотря на блаженство свое!

Для самцов-муравьев брачный полет влечет за собою верную смерть, и нет у них даже надежды, что их будут оплакивать юные вдовы, которым суждено пережить их на многие поколения!

*

Но все это не более как пролог к настоящей повести из мира этих удивительных насекомых.

Поразительнее всего в этой своеобразной цивилизации — подавление половой жизни. На известной ступени развития муравьев у большинства индивидуумов пол совсем исчезает. Почти во всех вышших муравьиных обществах половая жизнь ограничилась степенью, необходимой для сохранения рода. Но биологический факт сам по себе не так поражает, как этическое заключение, вытекающее из него: это практическое

подавление или регулирование половой деятельности кажется добровольным! По крайней мере, добровольным с точки зрения рода. Предполагают, что эти удивительные создания особым способом питания умеют развивать или подавлять пол в своих детях. Им удалось управлять самым сильным, непокоримым инстинктом. И это строгое ограничение половой сферы в рамках, необходимых для сохранения рода, только одно, хотя и самое поразительное, проявление жизненной экономии, основанной на интересах расы. Всякая способность «эгоистической» радости в общепринятом смысле этого слова, — подавлена физиологическими изменениями. Удовлетворение какого-либо стремления возможно, только если оно прямо или косвенно полезно для всего рода. Даже естественные потребности пищи и сна ограничиваются степенью, необходимой для сохранения работоспособности. Особь имеет право существовать, действовать, мыслить исключительно для общего блага; и, насколько космический закон допускает, общество не признает господства ни голода, ни любви.

Большинству из нас воспитанием внушено, будто без религиозного верования, без страха перед будущим наказанием или без надежды на будущую награду цивилизация невозможна. В нас внедрили уверенность, что, не будь законов, основанных на моральных идеях, не будь власть имущих учреждений, поддерживающих эти законы, почти все будут стремиться только к собственной пользе в ущерб всем другим. Сильный погубит слабого, сострадание и симпатия исчезнут, и весь социальный строй рухнет на части... Все это, к сожалению, верно, но доказывает только несовершенство человеческой природы. Однако те, которые много тысяч лет тому назад впервые провозгласили эту истину, не могли представить себе социального строя, где эгоизм атрофировался бы, стал бы невозможным. Доказать это удалось иррелигиозной природе: она показала нам общество, где помимо идеи о долге царит радость активного благодеяния, где инстинктивная нравственность не нуждается в этических законах, где потомство появляется на свет таким бескорыстным и действительно добрым, что нравственное воспитание его было бы только потерей драгоценного времени.

Такие факты должны убедить эволюциониста, что ценность нашего нравственного идеализма только временная, что в будущем нечто лучшее может заменить добродетель, доброту, самоотверженность в нашем теперешнем смысле этих понятий. Он вынужден будет ответить на вопрос, не может ли мир без моральных понятий быть нравственнее и лучше мира, управляемого этическими прописями и предписаниями. Не доказывают ли именно все эти религиозные заповеди, нравственные законы и этические нормы низкую ступень нашего развития? А эти вопросы повлекут за собой еще и другой: достигнет ли когда-либо человечество на нашей планете этического состояния, которое превзошло бы все его идеалы, — состояния, когда зло исчезнет из жизни, а добро превратится в инстинкт, когда альтруизм воцарится и этические понятия и законы станут так же не нужны, как уже теперь в высших обществах муравьев?

Этими вопросами занимались гиганты современного мышления, и величайший из них отчасти ответил на них утвердительно. Герберт Спенсер высказал уверенность в том, что человечество в этическом отношении возвысится до той цивилизации, которой достигли уже муравьи.

«Наблюдая низшие виды в царстве животных, мы встречаем иногда в них такие органические изменения, при которых альтруизм сливается в одно с эгоизмом. Из этого логически вытекает, что при одинаковых условиях и у людей должна произойти та

же идентификация. Социальные насекомые убеждают нас в этом, — мы видим примеры поразительного растворения индивидуальной жизни в работе для блага других... Ни у муравьев, ни у пчел нельзя предположить чувства долга или постоянной самоотверженности в нашем общепринятом смысле этого слова... Факты доказывают, что природа способна создать организм столь же или еще более энергичный в преследовании альтруистических, чем в преследовании эгоистических целей. И оказывается, что в этом случае альтруистические цели, совпадая с эгоистическими целями, составляют как бы две стороны одной и той же медали. Для удовлетворения общественных потребностей необходимы действия способствующие блага других...

«Совершенно неверно то предположение, будто личные интересы будут вечно подчиняться интересам других только как обязанность и как долг. Нет, настанет то время, когда забота и попечение о других будет неистощимым источником радости, более высокой и чистой, чем радость, которую дает удовлетворение эгоизма... Тогда и мы, быть может, достигнем того счастливого состояния, когда эгоизм и альтруизм сочетаются, совершенно растворяются друг в друге».

*

Это, конечно, не значит, что человеческой природе когда-либо придется претерпеть физиологические изменения, подобные структурным специализациям, обусловившим дифференциацию различных каст у насекомых. Никто не требует, чтобы мы представили себе будущее человечество, в большинстве состоящее из полуженщин-работниц и амазонок, трудящихся для праздного меньшинства «избранных матерей». Даже Спенсер в главе «Человеческое население будущего»¹ не делает попытки подробного изложения физических изменений, необходимых для произведения высшего нравственного типа, — но его общие выводы об усовершенствованной нервной системе и большом упадке человеческой рождаемости заставляют предполагать, что такая нравственная эволюция повлечет за собою чрезвычайные физические перемены. Если верить в будущее человечество, для которого высшая радость будет состоять в отдавании себя на пользу других, — почему не верить и в другие, возможные, по теории эволюции, физические и нравственные перевороты, какие мы видим в биологии насекомых?.. Я не могу ответить на этот вопрос. Я почитаю Герберта Спенсера за величайшего философа, когда-либо жившего на земле, и для меня было бы большим огорчением написать что-либо противоречащее его учению и вызвать в читателях подозрение, будто это противоречие вытекает из его «синтетической философии». За все нижеследующее ответственен исключительно я; и если я ошибаюсь, то и в этом виноват буду только я.

Думаю, что предсказанный Спенсером нравственный переворот может совершиться только страшной ценою и только при физиологических изменениях. Этические состояния, которые мы встречаем у насекомых, могли быть достигнуты только отчаянной борьбой против ужаснейших необходимостей. Для достижения той же цели и человечество должно будет бороться с такими же беспощадными необходимостями, — и человечество должно будет преодолеть их. Спенсер говорит, что время величайшего человеческого страдания еще предстоит и что оно совпадает с периодом наибольшей густоты народонаселения. Думаю, что в человечестве эта долгая борьба

¹ Имеется в виду книга Г. Спенсера «Основания биологии» (том 2, часть VI «Законы размножения», глава XIII «Человеческое население в будущем») (*примеч. ред.*).

повлечет за собою громадное повышение интеллектуального развития и симпатии и что повышение это совершится в ущерб человеческой рождаемости. Но пониженная рождаемость еще не приведет, как нам говорят, к высшему нравственному состоянию. Она только облегчит тяжесть народонаселения, — главный источник человеческого страдания. Человечество только приблизится к социальному равновесию, но никогда не достигнет его.

Разве что откроют какой-либо путь к разрешению экономических проблем, вроде того как разрешили их социальные насекомые — подавлением половой жизни.

Положим, что путь такой был бы найден, что человечество согласилось бы подавлять у большинства подрастающего поколения половое развитие, для того чтобы силы, теперь поглощаемые половой жизнью, направить в другое русло, на развитие способностей нравственных и интеллектуальных, — разве тогда невозможно было бы состояние полиморфизма, как у муравьев? И разве тогда, путем более женской, чем мужской эволюции, высшие типы грядущей расы не могли бы вырастать из среды этого бесполого большинства?

Сколько людей уже теперь бескорыстно обрекают себя на безбрачие, — не говоря уже о тех, которые делают это под влиянием религиозных идей. Разве не вероятно, что человечество, на более высокой ступени развития, радостно пожертвует для блага общества большей частью половой жизни, особенно ввиду несомненной пользы для расы? Между прочим, это чрезвычайно увеличило бы человеческую долговечность, — я все время исхожу из того предположения, что человечество научится руководить половой жизнью по примеру муравьев. Высшие представители человечества, стоящие над полом, поборовшие пол, могли бы осуществить мечту о тысячелетней жизни.

Наша жизнь и теперь уже слишком коротка для всего, что мы хотим и что нам предстоит совершить. А ввиду все новых открытий, ввиду постоянного роста науки нам, конечно, придется все больше жалеть о краткости жизни. Невероятно, чтобы наука когда-либо открыла жизненный эликсир, мечту алхимиков. Не обмануть нам космических сил. За каждый шаг вперед, который они позволяют нам сделать, приходится расплачиваться полной ценой: даром ничего не дается — вот вечный закон. И не будет ли цена за долговечность именно та, которую муравьи заплатили? Быть может, на какой-либо другой, угасшей, планете уже купили этой ценой долгую жизнь, предоставив произведение потомства особой касте, каким-нибудь таинственным путем морфологически отличившейся от остального рода?

*

Но разве эти факты из биологии насекомых, дающие возможность многое предвидеть в будущей человеческой эволюции, не дают нам права делать очень важные заключения об отношении этики к космическому закону? Очевидно, высшее развитие недоступно тем, кто еще не освободился от пут эгоизма, осужденного нравственным опытом всех времен. Очевидно, величайшая сила — сила самоотвержения.

И никогда не достигнут высшей власти сладострастие и жестокость. Возможно, что боги не существуют, но силы, созидающие и разрушающие все формы бытия, кажутся еще неумолимее богов. Доказать «роковое течение» звездных путей невозможно, но, очевидно, космический процесс утверждает ценность этических систем, противоположных человеческому эгоизму.

ГРЕЗА ЛЕТНЕГО ДНЯ

Я бежал из открытых гаваней, где в европейском отеле «со всем современным комфортом» напрасно надеялся найти уют, отдых и покой. Поэтому гостиница маленького местечка показалась мне раем, а прислуживающие девушки небесными созданиями. Я был счастлив сбросить иго XIX столетия и снова сидеть в юкате¹ на прохладных мягких циновках, принимать услуги нежногослых девушек и любоваться окружающей красотой. Вместе с завтраком мне принесли в подарок побеги бамбука, луковицы лотоса и веер. На веере была нарисована только пенистая морская волна, разбивающаяся о крутой берег, и стремительный, будто в экстазе, полет чайк по синему небу, — но уже один этот рисунок вознаграждал за все труды путешествия: это было море света, поток движения, победа бури морской. Я смотрел на эту картинку, и мне хотелось громко кричать от восторга.

С балкона, между пролетами деревянных колонн, виден был маленький серый городок, расположенный по извилинам и изгибам берега; ленивые желтые джонки сонливо качались на якоре; между огромными зелеными скалами виднелась открытая бухта, а вдали летняя дымка далекого горизонта; в этой дымке высились горные тени, неясные, как старые воспоминания, — и все кроме серого города, желтых джонок и зеленых утесов было синее-синее...

Вдруг моего слуха коснулся звук голоса, нежного, как эолова арфа, и вежливые слова прервали грезы мои. То владетельница замка пришла поблагодарить меня за «чадай»², и я низко ей поклонился. Она была молода и очаровательна, как женщина-бабочка, жена мотылька; и вдруг я невольно подумал о смерти, потому что красота иногда вызывает предчувствие страдания.

Она спросила меня, куда я соблаговолю поехать, чтобы заказать мне куруму³.

«В Кумамото», — ответил я. «Но мне хочется знать имя вашего дома, чтобы навсегда запомнить его». — «Дом мой недостойн, и девушки мои неучтивы, но зовут его домом Урасимы; а теперь я пойду, закажу куруму».

Музыка ее голоса смолкла, а я остался замороженный, будто окутанный волшебною сетью, потому что об Урасиме поются песни, опьяняющие чувства людские.

Стоит раз услышать эту повесть, чтобы никогда ее не забыть. Каждое лето, когда я на морском берегу — особенно в теплые тихие дни, — она беспрестанно преследует меня. Разно рассказывают ее, и многих художников и поэтов она вдохновила. Но наибольшее впечатление производит древняя версия, находящаяся в «Манъёсю», сборнике стихов, охватывающем время V–IX веков. Великий ученый Астон передал это предание в прозе, а великий ученый Чемберлен — как в прозе, так и в стихах. С этой

¹ *Юката* — разновидность легкого кимоно для отдыха.

² *Чадай* — столик для чайных церемоний.

³ *Курума* — Японская двухколесная коляска.

книжечкой в руках, очаровательно иллюстрированной местными художниками, я постараюсь рассказать легенду своими словами.

Тысяча четыреста шестнадцать лет тому назад мальчик-рыбак Урасима Таро отчалил в лодке от берега Суминоэ. Тогда стояли такие же летние дни, как теперь, ароматно-мечтательные, нежно-голубые; высоко над морской гладью плыли такие же легкие белые облачка, и те же мягкие очертания далеких дымчато-синих холмов сливались с синевой неба, и листьями шелестел тот же полный неги ветер...

Мальчик лениво удил, а лодка тихо скользила по волнам... Странная была эта лодка, некрашенная, без руля, — вы такой, вероятно, еще никогда не видали. Но в рыбацких деревнях японского побережья и до сих пор, после четырнадцати столетий, существуют еще такие же лодки. Наконец, после долгого ожидания, Урасима поймал и выудил нечто: но это была черепаха. А черепаха посвящена богу морских драконов и живет она тысячу, некоторые говорят, даже десятки тысяч лет, и убивать ее — большой грех. Поэтому мальчик осторожно снял ее с крючка и с молитвой снова опустил ее в воду. Но после этого ничего больше не клевало. А день был жаркий — море и воздух и все вокруг было тихо-тихо. Дремота одолела мальчика, и он уснул в скользящей по волнам лодке.

Вдруг из дремлющих волн всплыла красавица девушка в алой и синей одежде — точь-в-точь как на картинке профессора Чемберлена. Длинные черные волосы размотались по плечам и по спине. Таковы были все царские дочери четырнадцать веков тому назад.

Скользя по воде, она тихо, как дуновение ветерка, приблизилась к лодке, наклонилась над мальчиком, разбудила его нежным прикосновением и сказала: «Не удивляйся! Отец мой, царь морских драконов, прислал меня, потому что у тебя доброе сердце, иначе ты не отпустил бы сегодня на волю черепаху. А теперь отправимся во дворец, к моему отцу, в страну, где никогда не умирает лето; и, если хочешь, я стану твоею женой — женою-цветочком, и мы будем счастливы — навсегда!».

Урасима смотрел на нее и удивлялся все больше и больше: она была прекрасна, никогда еще он не видывал такой красоты; он не мог устоять и полюбил ее...

Он взял одно весло, она — другое, и они поплыли по волнам; так гребут на западном берегу и теперь, когда рыбацьи лодки выплывают навстречу вечерней заре.

Легко и быстро неслись они по тихой синей поверхности вод вниз, к югу — туда, где лето никогда не умирает, во дворец морского царя...

Вдруг строчки маленькой книжки исчезают, голубые курчавые облака покрывают страницу. И вдали на волшебном горизонте виднеется длинный пологий берег сказочной страны; а на берегу, сквозь вечнозеленую листву — высокие кровли дворца морского царя, — точь-в-точь дворец микадо¹ Юриаку тысяча четыреста шестнадцать лет тому назад...

Там, навстречу им, спешат странные слуги, морские чудища, и с почтением приветствуют Урасиму, зятя морского царя.

И дочь царя морских драконов стала женой рыбака Урасимы. На свадьбе царила волшебная пышность и неопишемое веселье; замок драконов ликовал.

Каждый день приносил Урасиме новые чудеса и радости; слуги морского царя извлекали из глубокой пучины все новые дары; его окружало ликование волшебной страны вечного лета...

¹ *Микадо* — устаревший титул для обозначения императора Японии (*примеч. ред.*).



Утагава Хиросигэ. Морское побережье в Суруга провинции

Так прошло три года. И, несмотря на все это, мальчику-рыбаку становилось то-скливо и грустно, когда он думал о своих родителях, одиноко ждущих его на родной стороне. Наконец он не выдержал и попросил жену отпустить его на короткое время, только бы повидаться с отцом и матерью и сказать им словечко — и потом опять вернуться к ней, в царство драконов.

Услышав это, она залилась слезами; долго она плакала, потом произнесла: «Раз ты хочешь покинуть меня, я тебя удерживать не могу; но разлука мне очень страшна; я боюсь, что мы никогда-никогда не увидимся больше. Но я дам тебе ящичек на дорогу; он поможет тебе вернуться ко мне, если ты послушаешь меня. Никогда не открываяй его, что бы ни случилось — не открывай; если откроешь, то никогда не найдешь дороги обратно, и мы не увидимся больше».

Она дала ему маленький лакированный ящичек, перевязанный шелковым шнурком. (Этот ящичек и теперь можно видеть в храме Камагайя на морском берегу; жрецы хранят его вместе с рыбацьею утварью и драгоценностями, привезенными Урасимой из владений морского царя.)

Урасима утешил свою супругу, обещав ей никогда не открывать ящичка и даже не развязывать шелкового шнурка. И он поплыл по вечнодремотному морю, прорезая лодкой летний сверкающий воздух, а страна, где вечное лето царит, осталась позади и исчезла как сон. И снова появились пред ним синие горы Японии, резко обрисовывающиеся на горизонте в белом пламени северного солнца. Лодка, скользя по волнам, причалила в родной бухте, и он очутился на знакомом берегу.

Он оглянулся и удивился, и жуткое сомнение охватило его. Родительская хижина исчезла; правда, пред ним расстилалась деревня, но дома были ему незнакомы, чужие были поля, и деревья, и даже лица людские. Почти все знакомое исчезло. Ему показалось, что синтоистский храм очутился на другом месте; леса исчезли со склонов; лишь говор ручья да очертания гор были знакомы — все остальное было чужое. Напрасно искал он родительский домик; рыбаки с удивлением разглядывали его, и он не мог припомнить их лиц.

Наконец к нему подошел, опираясь на палку, старый-престарый старик; пришелец спросил, не знает ли он дорогу к дому семьи Урасимы. Старик посмотрел на него удивленными, широко раскрытыми глазами и заставил его несколько раз повторить тот же вопрос; наконец он воскликнул: «Урасима Таро?! Да откуда же ты, что ничего не знаешь о нем? Ведь прошло чetyреста лет с тех пор, как он утонул! Ему поставили памятник на кладбище; там же могилы всех его близких, — там, на старом кладбище, где уже теперь никого не хоронят. Урасима Таро! Как глупо спрашивать, где он живет!».

И старик, ковыляя, отправился дальше, смеясь над глупым вопросом.

Урасима отправился на кладбище, на старое заброшенное кладбище, и увидел свой собственный надгробный камень и надгробные камни отца и матери, родных и знакомых. Они были так стары и гнилы и так заросли травой, что он с трудом мог разобрать на них имена.

Тогда он понял, что стал жертвой какого-то колдовства. Задумчиво возвращался он к берегу, крепко держа в руках ящичек, подарок дочери морского царя. Но что это за колдовство? И что в этом ящичке? И нет ли связи между таинственным ящичком и тем, что непонятно и жутко творится вокруг него? Сомнение было сильнее веры; он необдуманно нарушил обет, данный дочери морского царя, развязал шелковый



Мицуно Тосиката. Курума

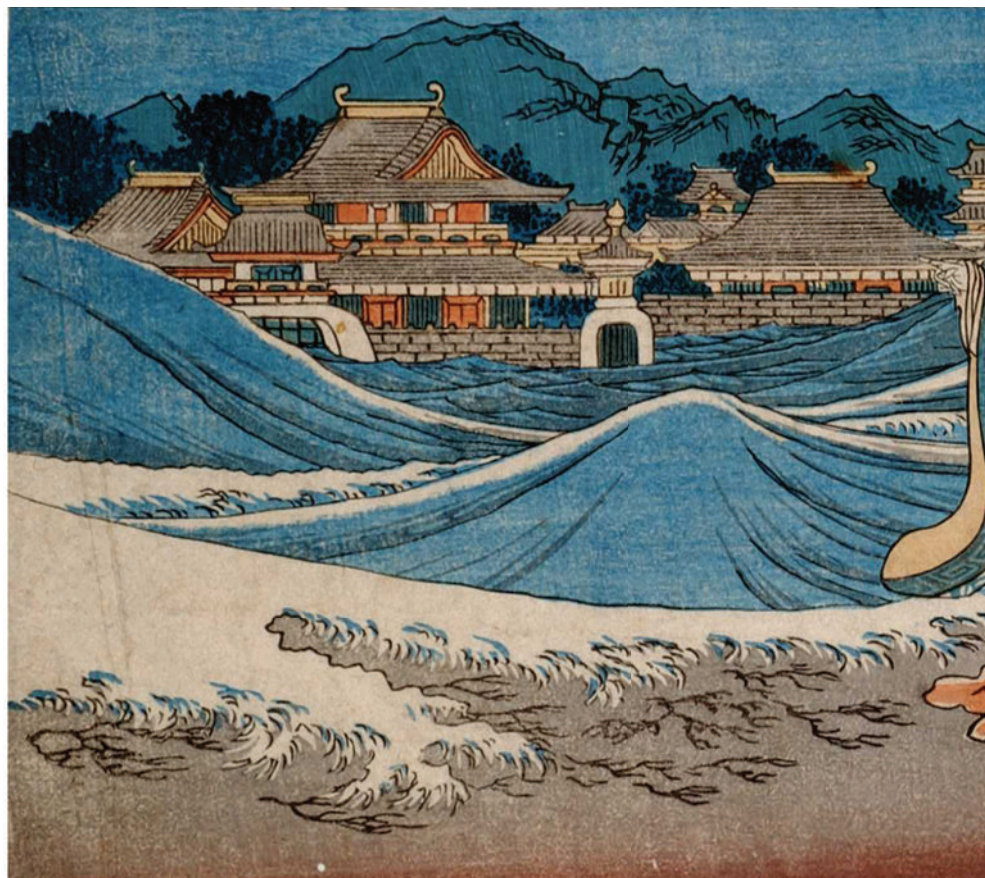
шнурок и открыл ящик... Бесшумно поднялся оттуда белый, холодный, как призрак, дымок, вознесся на воздух и, как летнее облачко, быстро поплыл над безмолвной водой. Ящик опустел.

Тогда юный рыбак понял, что сам разрушил свое счастье, что теперь ему не вернуться к своей возлюбленной, к дочери морского царя. В отчаянии он громко закричал и горько заплакал... Но через мгновение он сам весь преобразился; кровь его застыла, будто скованная льдом, зубы выпали, лицо сморщилось, волосы побелели, жизненные силы иссякли, и он упал, бездыханный, на землю, сраженный тяжестью четырех столетий...

В официальных летописях сказано, что в двадцать первом году царствования микадо Юриаку (478 г.) в округе Иоса, провинции Тангу мальчик Урасима из Мицуноэ, потомок божества Симанами, отправился в рыбацкой лодке в хораи — место бессмертия.

После этого в течение тридцати одного царствования, то есть с V по IX столетие, ничего не было слышно о нем. Но дальше летопись гласит, что во втором году Тенхо (825 г.), во время царствования микадо Юнна, мальчик Урасима вернулся и снова бесследно пропал неизвестно куда...

Хозяйка волшебного царства вернулась и известила меня, что все готово. Своими нежными ручками она попробовала поднять мой чемодан, но я воспротивился,



потому что он был слишком тяжел; она засмеялась, но и мне не дала нести его, а позвала какое-то маленькое существо — морское чудовище, — спина которого была покрыта китайскими письменами. Я согласился, простился, и она попросила меня не забывать недостойного дома, несмотря на жалкую неучтивость девушек.

«И, — присовокупила она, — курумайя¹ должен получить от вас только 75 сен²».

Я вскочил в экипаж, и через несколько минут маленький серый город исчез за поворотом дороги.

Меня везли по белой дороге вдоль берега; справа высились коричневые скалы, слева видно было лишь море и горизонт.

Мило за милей катил я вдоль берега, и взоры мои утопали в необъятном свете. Все было окутано синевой, чудесной, переливчатой, как перламутр. Искрилось синее море, сливаясь с прозрачной синевой неба; синие громады — горы Хиго — отделялись на сверкающем фоне, как гигантские сапфиры. Какая прозрачная синева! Эта

¹ *Курумайя* — возницы в Японии, возящие седоков в легких двухколесных колясках (*курума*).

² *Сена* — японская монетная единица, 1 сена = 10 рин = 1/100 исны.



Утагава Хиросигэ. Урасима Таро и дочь морского царя

симфония синих оттенков прерывалась лишь ослепительной белизной немногих летних облачков, недвижно висящих над вершиной, похожей на призрак. От них на воде мелькали белоснежные трепетные блики; казалось, что корабли, там, вдали, тянули за собой длинные нити, — единственные резкие линии в этой волнующейся, трепетной красоте. Что за божественные облака! Белые, преображенные души облаков, остановившиеся, чтобы отдохнуть на пути к блаженству нирваны. Или то был туманный дымок, улетевший 1000 лет тому назад из ящичка Урасимы?

Бабочка-психея вспорхнула, улетела туда, в эту синюю грезу между солнцем и морем, и вернулась к берегу Суминоэ, пролетев в один миг четырнадцативековое сновидение. И я почувствовал, что подо мной тихо скользила лодка; то было во время царствования микадо Юриаку. А дочь морского царя говорила голосом нежным, как звуки эоловой арфы:

- Пойдем во дворец отца моего; там всегда все синее.
- Почему синее? — спрашивал я.
- Потому что я спрятала в ящик все облака, — отвечала она.
- Но мне пора домой, — утверждал я.

浦嶋之子歸國
從龍宮城之圖

芳村
印





Цукиока Ёситоси. Урасима возвращается домой.

— В таком случае, — промолвила она, — курумайя с вас должен получить только 75 сен.

Вдруг я проснулся в додзё¹, во время сильнейшей жары, в двадцать шестом году летосчисления Мэйдзи², в чем мог убедиться по линиям телеграфной проволоки, которые тянулись вдоль берега и терялись вдали. Курумайя все еще летел мимо синих видений неба, моря и горных вершин; но белые облака исчезли, и скалы сменились рисовыми и овсяными полями, тянувшимися к далеким холмам. На миг телеграфная проволока приковала мое внимание: на верхней проволоке сидела стая маленьких птиц; они смотрели на дорогу и ничуть не смутились нашим появлением. Они не двигались и равнодушно смотрели на нас, как на мимолетное видение. На протяжении целых миль проволока была усеяна ими, и не было ни одной птички, обращенной хвостом к дороге. Я не понимал, почему они так сидели, на что так смотрели. Я махнул шляпой и крикнул, хотел спугнуть и смешать их ряды; несколько птичек, щелбеча, вспорхнули, но тотчас же опять уселись на прежнее место. Остальные же и во все не обратили внимания на меня.

Какой-то странный гул заглушал громкий стук колес, и, когда мы мчались по деревне, я мимоходом сквозь открытую дверь хижины увидел огромный барабан, в который били голые люди.

— Курумайя, — воскликнул я, — что это такое?

Не останавливаясь, он отвечал:

— повсюду то же; давно стоит засуха, и поэтому посылают молитвы к богам и бьют в барабаны.

Мы мчались мимо других деревень, и везде я видел барабаны различной величины и слышал их гул; он доносился неведомо откуда, разносился по далеким рисовым полям, и другие барабаны отвечали как эхо.

А я опять задумался над судьбой Урасимы. Я думал о картинах, поэмах и пословицах, сложившихся под влиянием этой легенды в фантазии народа. Я вспомнил гейшу в Ицумо, которая на каком-то празднике исполняла роль Урасимы; из маленького лакированного ящичка в роковой момент вознесся дымок от благовонного курения. Я думал о происхождении пляски и об исчезнувших поколениях гейш; это породило мысль о прахе и пыли в переносном смысле и, естественно, обратило мое внимание на настоящую пыль, клубами поднимающуюся под сандалиями моего курумайя, которому надо было заплатить только 75 сен. И я стал рассуждать о том, много ли человеческого праха в этой пыли и что важнее в вечной закономерности вещей: кровообращение или вращение этих пылинок? Я испугался моих рассуждений, слишком далеко уходящих вглубь давно минувших времен, и постарался доказать себе, что легенда об Урасиме потому прожила тысячу лет, делаясь с каждым столетием все прекраснее, потому пережила все остальное, что в ней скрыта глубокая истина. Но какая? На этот вопрос я не мог ответить.

Стало нестерпимо жарко.

— Курумайя, — воскликнул я, — у меня горло пересохло. Нельзя ли достать воды?

¹ *Додзё* — место для медитаций и других духовных практик (*примеч. ред.*)

² *Мэйдзи*; при восшествии на престол нового микадо всегда устанавливается новая эра; с 1868 года, с воцарения микадо Муцухито, была установлена эра с официальным названием *Мэйдзи*, то есть эра просвещения; летосчисление идет начиная с этого момента наряду с установленным в 1873 году григорианским календарем.



Утагава Хиросигэ. Горы в провинции Хиога

Он ответил, не останавливая своего бега:

— В деревне Длинный Берег, недалеко отсюда, большой водопад, — там благородный господин найдет свежую воду.

— Курумайя, — спросил я опять, — вот сидят птицы; почему они смотрят так на дорогу?

— Все птицы сидят по ветру, — ответил он, ускоряя свой бег.

Я засмеялся, сначала над своей глупостью, потом над своей забывчивостью; мне вспомнилось, что давно, еще в детстве, я это знал. Быть может, я так же забыл и тайну Урасимы?..

Я опять подумал о нем. Я увидел дочь морского царя, разряженную для его приема. Она ждала его — долго, напрасно... Вдруг возвратилось облачко, жестокое облачко, вестник того, что милый ей изменил. Я видел печаль морской царевны и видел, как добродушные неуклюжие морские чудовища утешали ее. Но в рассказе об этом не говорилось, и люди жалели одного Урасиму.

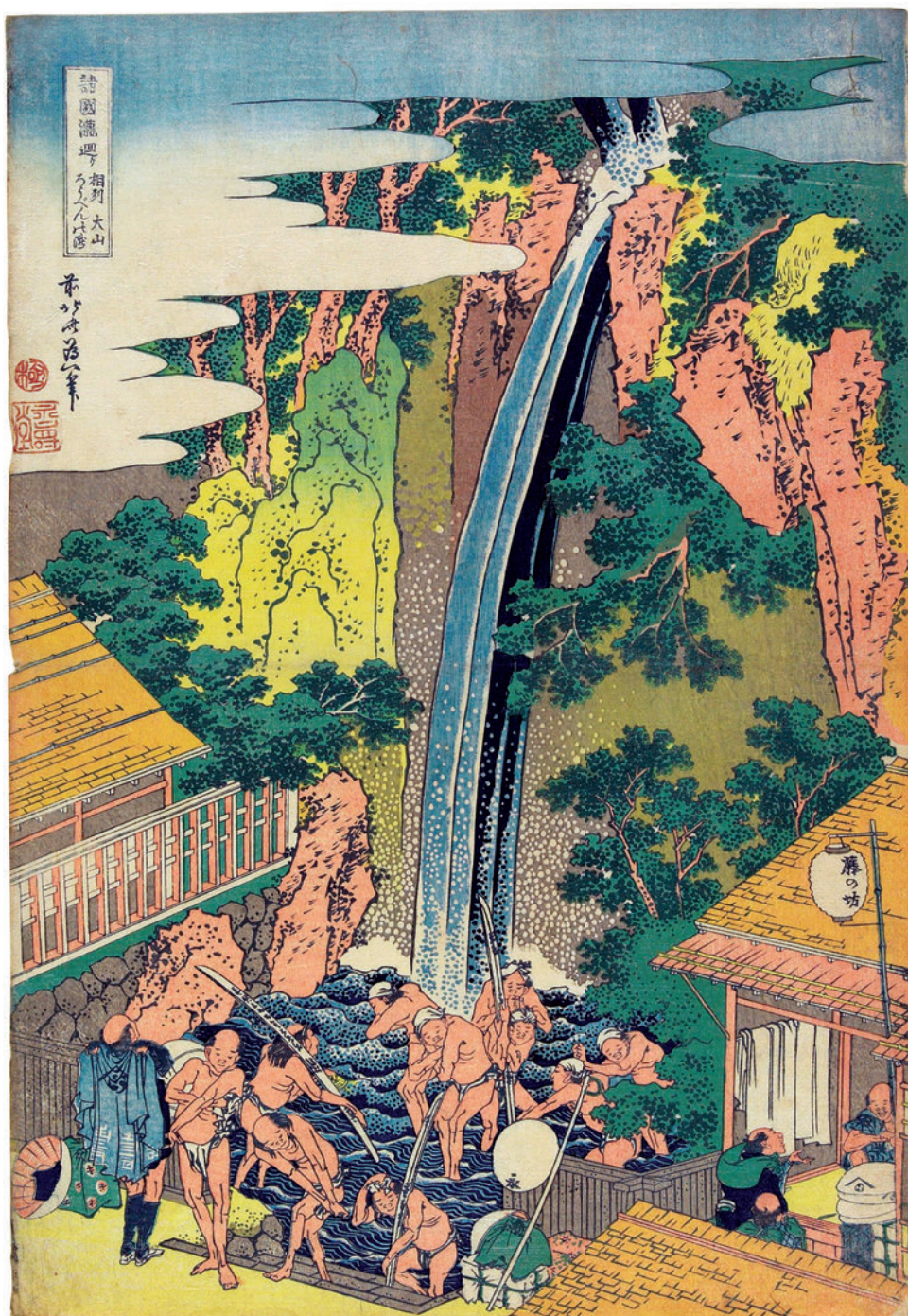
Я подумал: «Справедливо ли, что мы жалеем Урасиму? Правда, боги его ослепили, но кого же боги не ослепляют? И разве не вся жизнь есть наваждение? Урасима был ослеплен, потерял веру и открыл ящик. Потом умер без всяких страданий, и народ возвеличил его, воздвигнул ему могильный памятник. За что же жалеть его?.. У нас эти драмы разыгрываются совершенно иначе. Если мы ослушались наших богов, то мы обречены жить дальше и изжить всю глубину страдания; нам не дают счастья умереть в надлежащий момент, из нас не делают маленьких божков с неотъемлемыми правами...

Зачем жалеть о безрассудном поступке рыбака Урасимы, когда он так долго блаженствовал в общении с богами? А мы все-таки жалеем его! Не в этом ли заключается разгадка тайны?! Это сострадание — самосострадание, потому и легенда о рыбаке Урасиме — легенда о мириадах душ. Мысль эта приходит только в известные времена, с лазурным светом и нежными ветерками, и всегда как тихий упрек. Она слишком тесно связана с известным временем года и поэтому, несомненно, связана чем-то реальным с нашей собственной жизнью и с жизнью предков; но в чем же состоит эта реальная связь? Кто была дочь морского царя? Где был остров вечного лета? Что означает облачко, улетевшее из ящичка? Я не могу ответить на эти вопросы; одно лишь я знаю, — но то, что я знаю, не ново.

Я вспоминаю зачарованную страну и волшебное время, когда солнце и месяц были больше и ярче... Было ли это в настоящей жизни или в жизни иной, — этого я сказать не могу; но я знаю, что небо было синее и ближе к земле, — почти такое, каким оно кажется над мачтами корабля, плывущего навстречу тропическому лету... Море было живое, оно говорило, а когда ветер касался меня, мне хотелось кричать от восторга. Еще раз или два, в божественные дни, проведенные мною в горах, были миги, когда мне казалось, что тот же ветер касался меня, — но это был сон, воспоминание, мечта...

В той стране были волшебные облака, и окраску их никакими словами не описать. Помню, что тогда и дни были гораздо длиннее, и каждый день был для меня новым чудом и новым блаженством. И в то далекое время в той далекой стране кротко царила она, — та, которая любила меня и дарила мне счастье. Иногда я отказывался от счастья, и тогда она очень страдала, несмотря на свою божественность. А я, помню, очень старался вызвать в себе раскаяние...

Когда день угасал и до восхода луны наступала глубокая, безмолвная темнота, она рассказывала мне сказки; я внимал им с восторгом, затаивши дыхание; никогда



Кацусика Хokusай. Водопад в провинции Сагами



Утагава Хиросигэ.
Смерть Урасимы Таро

больше не слыхивал я таких сказок! А когда наше блаженство доходило до боли, она запевала чудесную песнь, убаюкивая меня; и я затихал. Но вот настал час разлуки; она горько плакала, подарила мне талисман и сказала: «Никогда не теряй его, потому что он сохранит тебе юность и даст возможность вернуться ко мне».

Но я не вернулся, а годы шли, и внезапно я понял, что потерял талисман и что старость пришла — смешная и грустная старость...

Деревня Долгий Берег расположена у подножия зеленой скалы; она состоит из дюжины покрытых рогожей домов, теснящихся вокруг пруда в тени старых сосен. Студеная вода переливается через край водоема; широким потоком бьет она из самого сердца скалы, как поэма из сердца поэта.

Судя по множеству курум и путешественников, это — любимое место отдыха. Утолив жажду, я уселся под дерево на скамейку и, покуривая, стал наблюдать, как женщины стирали белье, а путешественники наслаждались студеной водой. Мой курумайя разделся и из ушата стал обливать холодной водой свое разгоряченное тело. Потом молодой человек с ребенком на спине принес мне чаю. Я попробовал заиграть с ребенком, лепечущим «аба». Это первые звуки, которые



Ясима Гокутэй. Дровосек





Сагай Тадатсугу. Тайко (Большой барабан)

произносит японский младенец, — чисто восточные звуки. Интересен неосознанный ребенком смысл этого слова. На языке японских детей «аба» — значит «прощай», последнее слово, которое можно было бы ожидать от ребенка, только что вступившего в наш мир иллюзий. С кем же прощается эта маленькая душа? С друзьями ли прежней жизни, о которых еще свежо воспоминание? С товарищами ли по таинственному пути из того царства, о котором никто никогда не расскажет? С религиозной точки зрения такие вопросы совершенно невинны, ибо ребенок никогда не ответит на них. О чем он думал в тот таинственный миг, когда начал говорить, об этом он, конечно, забудет, когда настанет время отвечать на вопросы.

Вдруг меня охватило странное воспоминание, — может быть, навеянное молодым человеком с ребенком, может быть, песнью воды, разбивающейся об утес... Я вспомнил одну сказку.

Давно-давно где-то в горах жил бедный дровосек с женой. Они были бездетны и уже очень стары. Каждый день муж один уходил в лес, а жена оставалась дома за прялкой.

Как-то раз дровосек глубже обыкновенного зашел в лес; он искал каких-то особенных дров. Вдруг он очутился у маленького ключа, которого раньше никогда не видал. Вода была чудесная, прозрачная и холодная; ему захотелось пить; день был жаркий, и он много работал. Он снял свою широкополую соломенную шляпу, встал на колени и стал жадно пить. Вода удивительно освежила его. Вдруг он в воде увидел отражение своего лица и испугался. Это было его лицо, а между тем не такое, каким он привык видеть его в старом зеркале дома: то было совсем молодое лицо. Он не поверил своим глазам. Невольно он схватился за голову, совершенно лысую за несколько минут до этого, — теперь густые черные волосы покрывали ее; лицо его стало гладким-гладким, как лицо юноши, — все морщины исчезли. Вместе с тем он почувствовал, что по всему его телу разливалась юношеская сила. В изумлении он посмотрел на свои ноги; давно уже от старости они стали слабы и дряблы, а теперь вдруг ноги его стали красивыми и упругими. Он не знал, что испил живой воды из ключа юности. В первое мгновение он закричал и запрыгал от радости, потом побежал домой; никогда в жизни он не бежал так скоро. Дома жена испугалась, потому что приняла его за чужого; а когда он рассказал ей о случившемся чуде, она сначала не хотела верить ему. Наконец ему все-таки удалось убедить ее в том, что он — ее муж. Подробно описав, где находится волшебный ключ, он попросил ее пойти с ним.

«Ты теперь такой молодой и красивый, — сказала она, — любить такую старуху, как я, ты, конечно, не можешь. Мне тоже надо испить этой водицы. Но обоим нам нельзя уйти из дома, так ты здесь подожди, а я пойду.

И она поплелась в лес одна.

Найдя источник, она стала пред ним на колени и начала пить водицу. О, как она была освежительна и вкусна! Она пила, пила, останавливаясь, только чтобы передохнуть, — и снова пила, пила без конца.

Дома муж с нетерпением ее поджидал. Он надеялся, что она вернется к нему молодой и красивой. Но он ждал час, ждал другой, а она все не возвращалась. Тогда его охватил страх. Он запер дом и отправился ее искать. У источника не было никого. Он хотел было вернуться домой, но вдруг услышал, что в высокой траве рядом с ключом кто-то тихо плачет. Он стал шарить в траве и сначала нашел платье жены, а рядом с платьем маленького, шестимесячного ребенка.

Старуха слишком много хлебнула волшебной водицы и допилась до того, что перешагнула юность и стала младенцем. Муж поднял ребенка, грустно и удивленно смотрящего на него, и понес его домой, погруженный в грустные думы.

Теперь смысл этой сказки меня менее удовлетворил, чем прежде, потому что я еще находился под чарами моей фантазии о рыбаке Урасиме. Мы не становимся моложе, если слишком много пьем из жизненного ключа...

Мой курумайя вернулся, голый и освеженный, и объявил, что слишком жарко, и он не может сделать обещанных 25 миль, но что вместо него меня довезет до места назначения другой. За труды он потребовал 75 сен.

Было действительно очень жарко, и вдали, будто лихорадочный пульс природы, слышался бой барабанов, просящих у неба дождя. И я снова вспомнил о дочери морского царя.

«Она сказала мне: 75 сен, — заметил я, — хотя ты и не исполнил условленной работы, но я дам тебе 75 сен, потому что боюсь гнева богов».

Мою тележку подхватил бодрый, еще не утомленный бегун, и я покатиł дальше по сверкающей ароматной дали и шири, навстречу большим барабанам...

КИМИКО

Желание быть забытой возлюбленным
душе гораздо труднее, нежели старание
самой не забыть...

Из стихотвор. „Кимико“

На бумажном фонаре у входа в один из домов «улицы гейш» написано ее имя. Ночью эта улица производит фантастическое впечатление: узкая, как коридор, с глухими фасадами из темного полированного дерева, напоминающими паровозные вагоны первого класса; в маленьких раздвижных дверях — оконца, затянутые бумагой, похожей на узорчатое стекло. Здание в несколько этажей, но в безлунную ночь этого и не заметишь; освещены только нижние помещения до спущенных маркиз, — все остальное, вверх, темно. Внутри светятся лампы, сквозь узенькие бумажные окна видно, как светятся фонари, висящие снаружи, по одному у каждой двери. Смотришь вдоль улицы — и ты между двумя рядами таких фонарей, сливающихся в перспективе в неподвижную массу желтого света. Фонари — яйцеобразные и цилиндрические, четырех и шестиугольные — с японскими надписями, в красивых иероглифах.

Улица безмолвствует, как выставка после ухода посетителей. Обывательницы ее упорхнули и украшают своим присутствием банкеты и пиршества; как ночные бабочки, они живут только ночью.

Если идти с севера на юг, то на первом фонаре слева читаешь: «Киноя: ухи О-Ката», то есть «золотой дом, в котором живет Оката».

Фонарь справа повествует о доме Нишимура и о девушке Миутсуру, о «пышном аисте». Следующий дом слева — дом Каиты с Коханой-цветочком и Хинакой-куколкой. Напротив возвышается дом Нагайэ, где живут Кимика и Кимико... С полмили тянутся эти параллельные линии светящихся имен.

Хозяйка и владелица последнего дома — Кимика. Она последовательно воспитала двух гейш, назвав обоих одним и тем же именем: Кимико первую — Ихи-дай-мо и ныне существующую Кимико — Ни-дай-мэ, то есть Кимико номер второй. Очевидно, Кимико-Ихи-дай-мэ в свое время пользовалась большой известностью, так как имена обыкновенных гейш никогда не переходят на их преемниц.

Может быть, случай занесет вас когда-либо в этот дом; раздвинув дверь, вы услышите звук гонга, возвещающего о вашем посещении, и увидите Кимику, если только она со своей маленькой труппой не приглашена в этот вечер куда-нибудь. Кимика очень интеллигентная особа, с которой стоит поговорить. Если она в настроении, то порасскажет вам много интересного, почерпнутого непосредственно из живой жизни, из наблюдений над природой людской. Ведь улица гейш полна преданий, — трагических, комических, мелодраматических. Кимике все известно. В каждом доме — свои воспоминания: страшные, смешные и такие, над которыми невольно задумаешься.



Цуцзя Коицу. Ночная улица





Утагава Тоёхару. Мужчины и гейши

Такова повесть Кимики первой: не то чтобы она была необычайной, но, во всяком случае, она доступнее других нашему западному пониманию.

Ихи-дай-мэ-Кимики нет больше в доме Нагана; о ней осталось лишь одно воспоминание. Кимики была еще очень молода, когда Кимики стала ее товаркой по профессии.

«Необыкновенная девушка», — отзывается Кимики о ней.

Чтобы стать известной, гейша должна быть или красива, или умна, — а лучше, если в ней соединено и то и другое. При выборе девочек-подростков — будущих гейш — воспитатели их обращают на это особенное внимание. Даже от гейш второго и третьего разряда требуют в юности известной прелести, хотя бы *beauté du diable*¹, породившей японскую поговорку, что в восемнадцать лет и черт красив и в двадцать — дракон.

Но Кимики была не просто хороша собой, — в ней как бы воплотился японский идеал красоты, что среди тысяч женщин редко находишь в одной.

Она была не просто умна, — она была талантлива: писала изящные стихи, с изысканным вкусом все вокруг себя украшала цветами, безукоризненно проделывала все чайные церемонии, прекрасно вышивала и делала шелковую мозаику, одним словом, она была совершенство.

В Киото, с первого же выхода ее *dans le monde où l'on s'amuse*², она произвела сенсацию; ее успех сразу был обеспечен, и началось победоносное шествие. Подготовка у нее была прекрасная, она справлялась со всеми пополнениями, не терялась ни при каких обстоятельствах. А то, чего она еще не знала, — то ведала Кимики: власть красоты и слабость под влиянием страстей, цену обещаний и муку равнодушия, все безумие, всю низость, царящую в сердцах мужчин. Руководимая ею, Кимики редко ошибалась и мало проливали слез. Со временем она стала немного опасной, чего Кимики и желала, — опасной, как горящая лампа для ночных бабочек, не более того; иначе ее могли бы и потушить. Лампа должна освещать то, что приятно для глаз; страдать же она никого не заставляет, — так и Кимики никого не заставляла страдать; она была не слишком опасной. Заботливые, почтенные родители скоро убедились, что она и не думает вторгаться в их семьи; она даже романтических приключений не искала. Но юношам, подписывающим договоры собственной кровью, требующим от гейш отрезанного мизинчика в знак вечной верности, — им она спуску не давала и исцеляла их безумие жестокостью. Так же безжалостна она была и по отношению к богатым поклонникам, желавшим купить ее ценою домов и имений. Один из них был так великодушен, что предложил за ее свободу сумму, которая сделала бы ее сразу богатой женщиной. Кимики сердечно поблагодарила, но осталась гейшей. Отказывая, она не обижала, и отчаяние почти всегда умела врачевать. Были, конечно, и исключения. Пожилой господин, вообразивший, что жить без Кимики не может, пригласил ее однажды на пирушку и предложил выпить с ним вместе вина. Но опытная Кимики, по лицу читающая в душах людских, сразу смекнула, в чем дело, быстро заменила вино в бокале девушки чаем и спасла, таким образом, ее драгоценную жизнь. А душа старого влюбленного глупца несколько минут спустя одна отправилась в *меидо*³, вероятно, очень удивленная и разочарованная своим одиночеством.

С тех пор Кимики оберегала Кимики, как дикая кошка своего котенка.

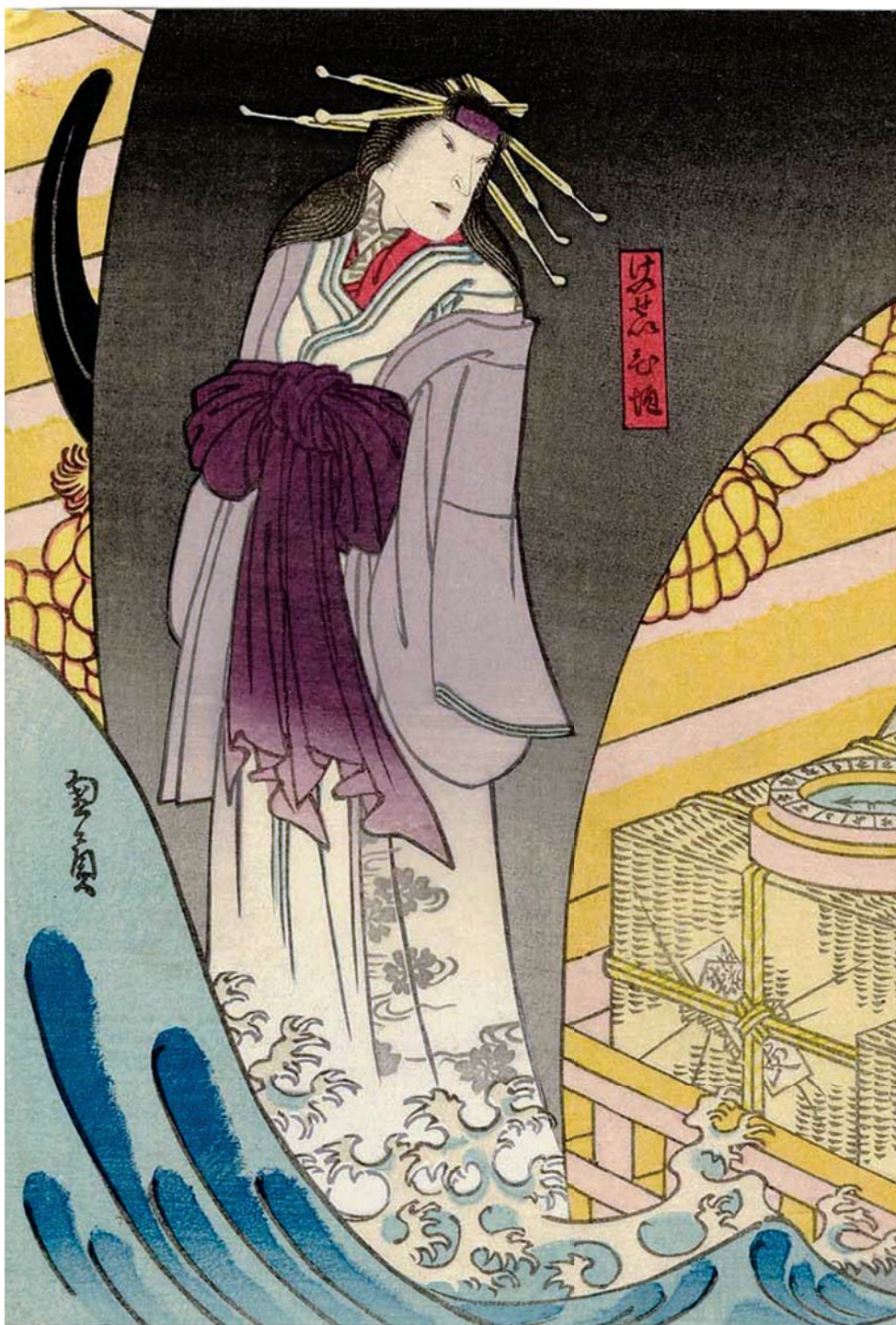
¹ *Beauté du diable* — дьявольская красота (фр.).

² *Dans le monde où l'on s'amuse* — в мире где мы веселимся (фр.).

³ *Meido* — загробный мир.



Цукиока Ёситоси. Гейша





Утагава Киниказу. Куртизанка и господин

«Котенок» стал баловнем высшего света, злобой дня, местной знаменитостью.

Один из ее поклонников, заграничный принц, до сих пор помнящий ее имя, посылал ей бриллианты, которых она никогда не носила; счастливицы, имеющие возможность доставлять ей удовольствие, засыпали ее драгоценными подарками; пользоваться ее благосклонностью хотя бы в течение одного дня было мечтой золотой молодежи. Но она никому не давала предпочтения, и слышать не хотела о вечной верности. На мольбы и клятвы она неизменно отвечала, что знает свое место и назначение. Даже женщины света снисходительно отзывались о ней, так как она никогда не была причиной семейной драмы. Она действительно знала свое место. Время, казалось, щадило ее; она с годами становилась все лучше. Появлялись другие гейши, достигали славы, но не было равной ей. Фабрикант, приобретший право пользоваться ее фотографией на своих ярлыках, составил себе тем самым состояние.

Но вдруг распространилась изумительная весть: неприступное сердце Кимико сдалось! Она распортилась с Кимико и ушла к возлюбленному, богатому и щедрому. Говорили также, что он хотел упорядочить ее социальное положение, восстановить ее репутацию, зажать рот сплетникам, всех заставить забыть о ее прошлом. Он готов был тысячу раз умереть за нее, хотя уже и так был еле жив от любви.

По рассказам Кимика, Кимико жалилась над безумцем, покушавшимся из любви к ней на самоубийство, и ухаживала за больным, пока вместе со здоровьем не вернулось и прежнее безумие его...

Тайко Хидеёиши сказал, что боится только безумцев и темных ночей. Кимика тоже боялась безумцев, — и к такому безумцу ушла ее Кимико. Со слезами, не лишенными эгоизма, Кимика уверяла, что Кимико ушла навсегда, так как взаимная любовь их так велика, что переживет несколько человеческих жизней.

Но, несмотря на всю свою проницательность, Кимика ошибалась: если бы ей дано было проникнуть в самый тайник души своей воспитанницы, — она громко вскрикнула бы от удивления.

Кимико отличалась от других танцовщиц еще и своим знатным происхождением. Кимико было профессиональным именем, а раньше ее звали Аи. Смотря по начертанию, имя это означает то «любовь», то «страдание». Судьба Аи действительно сплелась из любви и страдания. Она получила хорошее воспитание, училась в частной школе, которой заведовал старый самурай. На корточках сидели девочки на своих подушках за низенькими двенадцатидюймовыми пюпитрами и прилежно учились; обучение было бесплатное. (Нынче, когда учителя получают больше жалованья, нежели другие чиновники, обучение не так интересно и не так основательно, как было раньше.) Служанка провожала девочку в школу и домой, неся за нею книги, подушку, тетради и столик.

После этого Аи поступила в общественную начальную школу. Первые «модные учебники» только что появились. Это были переводы на японский язык английских, французских и немецких рассказов о чести, долге и героизме, — чудесные сборники с наивными маленькими картинками, изображающими людей Запада в таких костюмах, которых никто на свете никогда не видел и не носил. Эти трогательные книжечки теперь стали редкостью; их давно вытеснили другие, составленные с большей претензией и меньшей любовью.

Аи училась с большой легкостью. Раз в год, во время экзаменов, в школу приезжал знатный сановник; он отчески разговаривал с девочками и, раздавая награды, ласково



Цуция Коицу. Гейша у входа в чайный дом

гладил их по шелковистым головкам. Потом он достиг высших чинов, удалился от общественной жизни и, конечно, забыл об Аи. В наши дни не так нежно обращаются с маленькими ученицами и не радуют наградами их сердечек.

Но наступили общественные перевороты; именитые семьи лишались положения и имущества. Аи должна была оставить школу. Непрерывной цепью сливалось одно горе с другим. Аи осталась без поддержки, без помощи, одна с матерью и маленькой сестрой. Мать и Аи умели ткать, но это приносило так мало, что скоро пришлось распродавать имущество, оставляя только самое необходимое; сначала продали дом и землю, затем одну за другою хозяйственные принадлежности, драгоценности, богатую одежду, гравированные и лакированные вещицы. За полцены все это переходило в руки тех, чье благосостояние построено на несчастье других, чье богатство в народе называется слезными деньгами. От живых нечего было ждать поддержки: большинство родственников самураев находились в таком же безотрадном положении. Когда же все источники истожились, когда все было распродано — даже учебники Аи, — тогда прибегли к помощи мертвых...

Вспомнили, что дедушка Аи был похоронен с драгоценным, — в золотой оправе мечом — подарком дайме. Раскрыли могилу, заменили драгоценную рукоятку простой и сняли украшение с лакированных ножен. Лезвие же оставили, — оно могло понадобиться воину. Аи увидела высокую фигуру в красной глиняной урне, употребляемой по старинному обычаю вместо гроба при погребении знатных самураев. Долго пролежал он в могиле, но черты его лица еще можно было узнать; и когда ему возвратили меч, Аи показалось, что по лицу его пробежала свирепая, но одобрительная улыбка.

Но наступили черные дни: мать Аи все слабела и не могла больше работать за ткацким станком; золото мертвеца истожилось. Тогда Аи решительно сказала:

— Мама, исход один: я продам себя, пойду в танцовщицы.

Мать молча рыдала; Аи не плакала и одна вышла из дома.

Она вспомнила свободную гейшу по имени Кимика, часто бывавшую на пирах в доме ее отца и всегда ласкавшую ее. К ней-то она и направилась.

— Купи меня, — сказала Аи, входя — мне очень много денег нужно.

Кимика улыбнулась, приласкала, накормила девочку и выслушала печальную повесть ее.

— Дитя мое, — сказала Кимика, — много я дать тебе не могу, у меня у самой денег мало. Но обещаю тебе заботиться о твоей матери; это лучше, чем дать ей в руки большую сумму. Мать твоя, дитя мое, была знатной дамой; она не сумеет обращаться с деньгами. Попроси ее подписать договор, по которому ты обязуешься остаться у меня до двадцатичетырехлетнего возраста или до тех пор, пока не уплатишь своего долга. А то, чем я сейчас могу поделиться, возьми с собой как подарок.

Так Аи стала гейшей; Кимика назвала ее Кимико и сдержала обещание относительно матери и маленькой сестры.

Кимико еще не достигла славы, когда мать ее умерла; сестрицу отдали в школу, затем произошло то, о чем рассказано выше.

Молодой человек, покушавшийся на самоубийство из-за любви к гейше, был достоин лучшей участи. Он был единственным сыном богатых, уважаемых людей, готовых ради него на всякую жертву, готовых даже гейшу признать невесткой, — так трогала их ее любовь.



Эйсуй Итеракутэй. Куртизанка Харакито

Незадолго до ухода от Кимика Кимико выдала замуж сестру, Умэ, только что окончившую школу. Пользуясь своим знанием людей, Кимико сама ей выбрала мужа, прямого, честного купца старой закалки, решительно неспособного ни на что дурное.

Умэ беспрекословно и радостно приняла выбор сестры, и брак в самом деле оказался очень счастливым.

В четвертом месяце года Кимико ввели в новый, приготовленный для нее дом. Великолепие его могло изгладить из памяти все тяжелые воспоминания: это был волшебный замок в зачарованном молчании больших тенистых садов. Ей показалось, что боги перенесли ее за добрые дела в царство Хораи. Но прошла весна, наступило лето, а Кимико все еще не решалась на последний шаг. По необъяснимым причинам она уже трижды откладывала день свадьбы.

Прошло еще несколько месяцев. Настроение Кимико омрачалось все больше, и в один прекрасный день она кротко, но решительно изложила причину своего отказа. «Пора высказать то, что я так долго таю в себе. Из любви к матери, давшей мне жизнь, из любви к сестрице я жила как в аду... Все это миновало, но позорное клеймо осталось на мне, и ничто в мире не смоет его. Не может такая, как я, войти в вашу семью, стать матерью вашего сына, устроить вам уютный родной уголок. Не перебивайте меня, — дайте высказать... В познании зла я много, много опытнее вас... Не могу я стать вашей женою, не хочу опозорить вас, — нет, никогда... Я лишь подруга ваша, товарищ ваших игр, мимолетная гостья, — бескорыстная, свободная... Нам должно расстаться, и, когда я буду далеко, вы все поймете. Я всегда буду вам дорога, но чувства ваши изменятся: не будет больше слепого безумства, которым вы охвачены теперь. Слова эти вытекают из недр души моей, — вы со временем вспомните их... Для вас выберут прелестную невесту из знатной семьи; она станет матерью ваших детей; быть может, я увижу их, — но супругой вашей мне не быть, и материнских радостей мне не знать никогда... Дорогой мой, ведь я — только безумие твое, иллюзия, греза, легкая тень — промелькнула в твоей жизни и снова исчезла... Может быть, когда-нибудь я буду большим для тебя, но супругой твоей — нет, никогда... Не уговаривай меня, — иначе я сейчас же покину тебя...».

С наступлением шестого месяца Кимико вдруг скрылась неожиданно и бесследно.

Никто не знал, как и когда она ушла. Даже соседи не заметили ее ухода. Сначала надеялись на ее скорое возвращение, так как из всех своих вещей, роскошных и красивых, она ничего не взяла с собою — ни платья, ни драгоценностей, ни даже подарков, стоивших целое состояние. Но проходила неделя за неделей, а она все не возвращалась. Уж стали опасаться несчастного случая. Отводили реки, обыскивали колодцы, — все было напрасно. Наводили справки письменно и по телеграфу. Во все концы за нею рассылали верных слуг. Назначили награду за ее нахождение; Кимико же обещали золотые горы, хотя она так любила девушку, что была бы счастлива найти ее и без всякой надежды на награду... Тайна так и осталась тайной. Обращаться же к властям было бы напрасно: ведь беглянка не совершила преступления, не нарушила закона, а ради страсти и прихоти влюбленного юноши нельзя было приводить в движение сложный полицейский механизм.

Проходили месяцы, проходили годы; ни Кимико, ни юная сестра в Киото, ни бывшие поклонники прекрасной гейши, — никто никогда не видел ее больше...

Кимико была права: время — великий целитель — осушило слезы, залечило раны; дважды по одной и той же причине не покушаются на самоубийство, даже в Японии.

Ее друг стал ее забывать, успокоился, женился на премилой девушке и стал отцом престного мальчугана.

Прошло несколько лет. Счастье и довольство царили в волшебном замке, где некогда жила Кимико.

В один прекрасный день к дому подошла странствующая монахиня, будто за милостыней. Услышав ее буддийский возглас «Ха-и! Ха-и!», ребенок подбежал к воротам. Служанка, следовавшая за ним с обычным подаянием рисом увидела с изумлением, что монахиня ласкает ребенка и шепотом разговаривает с ним. Увидев служанку, мальчик воскликнул: «Я подам ей!».

А из-за фаты, спускавшейся с широкополой соломенной шляпы, раздался голос монахини:

— Прошу вас, исполните его просьбу!

Ребенок высыпал рис в чашечку монахини; поблагодарив, она сказала:

— Повтори мои слова!

Мальчик тихо произнес:

— Отец, та, которую в этом мире ты никогда не увидишь, говорит, что сердце ее преисполнено радостью, потому что она видела сына твоего!

Монахиня кротно улыбнулась, еще раз приласкала мальчика и поспешно удалилась.

Служанка с удивлением смотрела ей вслед, а ребенок, подбежав к отцу, исполнил поручение таинственной посетительницы.

Услышав неожиданную весть, отец склонился к головке ребенка и тихо заплакал. Он один только знал, кто подходил к его воротам; он постиг глубину жертвы, руководившей всей жизнью ее.

С тех пор он часто сидит, погруженный в глубокие, скрытые думы. Он знает, что легче сойтись светилам небесным, чем ему с этой женщиной, так много любившей его. Он знает, что напрасно было бы искать, где — в далеком ли городе, среди безличной, пестрой толпы или в темном, безвестном, убогом храме — она ждет наступления мрака, предтечу необъятного, вечного света... В этом свете лик Учителя с улыбкой склонится над ней, и голос его, слаще голоса земной любви, коснется уха ее.

— О дочь моя, — скажет Он, — верный путь избрала ты; ты поверила и проникла в самую глубь истины. Привет тебе! Приди ко мне!

ВЕНЧАННЫЕ СМЕРТЬЮ

Внезапные вспышки любви с их роковыми последствиями в Японии реже, чем на Западе; отчасти потому, что общественная жизнь на Востоке отличается от нашей, отчасти потому, что ранние свадьбы по выбору родителей предупреждают возможность несчастной любви. И все-таки романтические самоубийства, и почти всегда двойные, в Японии встречаются очень часто. В большинстве случаев они являются неизбежным следствием незаконных отношений. Есть, конечно, исключения, особенно в деревнях, где трагический исход нередко зарождается в невинной, детской дружбе. Но и в таких случаях мы видим своеобразную разницу между самоубийством двух любящих на Западе и на Востоке. Восточное самоубийство не есть следствие внезапного слепого взрыва отчаяния; оно не только обдуманно и хладнокровно, — оно священно, как таинство. Смерть соединяет, обручает любящих. Именами богов они клянутся быть верными друг другу, пишут прощальные письма и вместе идут навстречу смерти. Это священные узы, нет их священных. Если же случай или искусство врача спасут от смерти одного из любящих, спасенный связан священной клятвой любви: умереть при первой возможности. Если же удастся спасти обоих, то все может еще окончиться благополучно. Но лучше совершить преступление, караемое пятьюдесятью годами тюрьмы, чем обещать девушке умереть вместе с нею и нарушить обет. Женщина, нарушившая клятву, может надеяться на снисхождение, мужчина же — никогда: он клеймен на всю жизнь как клятвопреступник, убийца, негодяй, трус, позор рода человеческого. Я знаю такой случай, но теперь хочу рассказать простую любовную повесть. Это было в одной из деревень восточных провинций.

Деревня расположена на берегу широкой, но мелкой реки; ее каменистое русло только во время дождей затоплено водой.

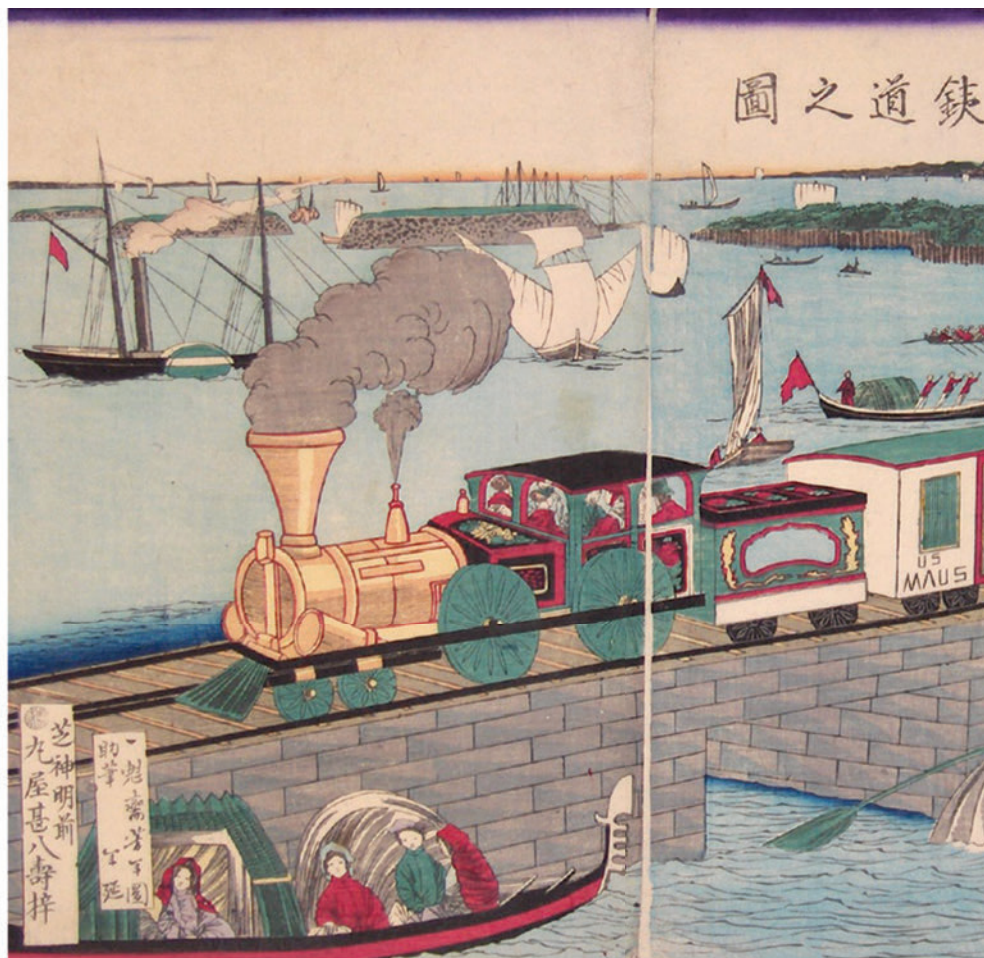
Река течет по широчайшей равнине, между бесконечными рисовыми полями, которые тянутся с юга на север и теряются за чертой горизонта; на западе их окаймляет горная цепь, а на востоке — низкие лесистые холмы; между деревней и холмами — около полумили рисовых полей; на соседнем пригорке — кладбище с буддийским храмом, посвященным божественной одиннадцатиликой Каннон.

Как узловой пункт, деревня эта имеет некоторое значение. Кроме нескольких сотен крытых рогожей жилищ обыкновенного деревенского типа, в ней целая улица двухэтажных каменных зданий с изящными магазинами и гостиницами. Там же возвышается и синтоистский приходский храм, Уигами, посвященный богине Солнца; а рядом, в тутовой роще, таится святилище, посвященная богине шелковичных червей.

В этой деревне, в седьмом году летосчисления Мейдзи, в доме Усиды — красильщика — родился мальчик, которого назвали Таро. Его рождение пришлось в несчастливый день — Аку-Ниики — седьмого или восьмого месяца старого летосчисления. Его родители, простые люди старой закалки, очень опечалились этим. Но добрые друзья и соседи уверили их, что все обстоит благополучно, потому что императорским



Omuau Eccuky



указом старый календарь отменен, а по новому календарю день рождения мальчика — Китсу-Ниики, то есть счастливый день. Родители несколько успокоились, но, когда они в первый раз понесли младенца в храм, то пожертвовали богам большой бумажный фонарь, горячо моля их избавить ребенка от всякого зла. Жрец прочитал установленные древним ритуалом молитвы, осенил головку ребенка священными гохэй¹ и дал ему маленький талисман. После этого родители отправились в храм божественной Каннон на холме, принесли и там разные жертвы и горячо помолились всем изображениям Будды, дабы он защитил и спас их первенца.

Когда Таро исполнилось шесть лет, родители решили послать его в новую начальную школу по соседству с деревней. Дедушка купил ему кисточку для письма, бумагу, книгу и аспидную доску и в одно прекрасное утро повел его в школу.

¹ Священные гохэй — деревянные жезлы, украшенные двумя бумажными лентами, используемые в синтоитских ритуалах.



Цукиока Ёситоси. Железная дорога в Таканаве

Таро был очень доволен; аспидная доска и другие обновки доставляли ему такое же удовольствие, как новые игрушки; кроме того, ему говорили, что в школе очень весело, можно играть и резвиться. А мать обещала по возвращении домой дать ему вдоволь сладкого пирога.

Они пришли в школу, огромное двухэтажное здание со стеклянными окнами, и слуга провел их в большую пустую комнату, где за пюпитром сидел господин со строгим лицом. Дедушка низко поклонился ему, назвал его «сенсей» и покорнейше попросил его быть столь добрым и научить мальчика уму-разуму. Сенсей встал, ответил также поклоном и вежливо заговорил со стариком; он положил руку на головку Таро и сказал ему несколько ласковых слов.

Таро вдруг испугался. Когда дедушка простился, ему стало так страшно, что он охотнее всего убежал бы домой. Учитель повел его в большую, высокую белую комнату; там, на скамейках, сидели мальчики и девочки. Учитель указал и ему место на

одной из скамеек. Дети смотрели на новичка, шептались и хихикали. Таро подумал, что они смеются над ним, и у него стало очень тяжело на душе. Раздался звонок. Учитель, занявший кафедру в глубине комнаты, приказал им молчать таким громким голосом, что Таро опять испугался. Стало совсем тихо; можно было бы услышать полет мухи; учитель заговорил. Таро показалось, что он говорит очень страшно.

Учитель говорил, что школа не место для удовольствий; он внушал ученикам, что они пришли сюда не играть, а серьезно работать; он говорил, что учение — труд, что надо быть прилежным, не бояться ни работы, ни утомления. Он излагал школьные правила и говорил о наказаниях за непослушание и невниманию. Дети сидели тихие, запуганные. Тогда он заговорил другим тоном, — как добрый отец, — обещая им любить их, как своих собственных детей. Потом он рассказал им, что школа выстроена по высочайшему повелению его величества императора для того, чтобы дети стали разумными людьми, что за это они должны искренно любить своего господина и повелителя, почитая за счастье умереть за него. Он сказал им также, что надо горячо любить своих родителей, которым нелегко сколачивать гроши для платы за их обучение; поэтому грешно и неблагодарно лениться во время уроков. Окончив речь, он стал вызывать детей, каждого отдельно по имени, и спрашивать о том, о чем только что говорил. Таро слышал только часть его речи. Он весь был поглощен мыслью, что при его появлении в классе все дети уставились на него и смеялись над ним. Все окружающее казалось ему непонятным, все страшило его, и он ни о чем другом не мог думать. Поэтому он был совершенно ошеломлен, когда учитель вызвал его: — Урасима Таро, что тебе дороже всего на свете?

Таро вздрогнул, вскочил и чистосердечно ответил:

— Сладкий пирог.

Дети глазели на него и хихикали, а учитель с упреком спросил:

— Урасима Таро, разве тебе пирог дороже родителей, дороже долга по отношению к его величеству императору?

Таро понял, что провинился, и покраснел до ушей. Дети рассмеялись, а он заплакал. Это их еще больше развеселило, и они хохотали, пока учитель, приказав им молчать, не обратился к следующему ученику с тем же вопросом. Таро продолжал горько рыдать, закрыв лицо рукавом.

Раздался звонок. Учитель сказал, что следующий урок будет уроком писания у другого учителя, и разрешил им пойти на двор поиграть.

Учитель вышел из комнаты, а детвора выбежала на двор, не обращая больше ни малейшего внимания на Таро. Это равнодушие удивило мальчика еще больше прежнего всеобщего внимания. Пока никто, кроме учителя, не сказал ему ни единого слова, а теперь, казалось, и тот совершенно о нем позабыл. Он снова уселся на своей скамеечке и плакал, тихо плакал, боясь, что дети вернутся и опять будут смеяться над ним.

Вдруг кто-то положил ему руку на плечо, и его слуха коснулся нежный, сладкий голосок; он обернулся и увидел девочку, немногим постарше его; она смотрела на него таким ласковым взглядом, какого он еще никогда не видал.

— Что с тобою? — нежно спросила она.

Таро продолжал беспомощно рыдать и сопеть; наконец он мог ответить:

— Мне тут так страшно; я хочу домой.

— Почему? — спросила девочка, обнимая его.

— Меня здесь никто не любит; никто не хочет ни играть, ни говорить со мною.



Миягава Сьунтэй. Играющие дети

末の巻



— Да что ты! Это только потому, что ты еще новичок. То же самое было и со мною, когда я в прошлом году в первый раз пришла в школу. Не огорчайся!

— Да, но все играют, а я тут сижу один, — возразил Таро.

— И вовсе этого не нужно. Пойдем со мною играть. Я буду твоим товарищем. Пойдем же!

Таро вдруг громко разрыдался. Он не мог удержаться: жалость к себе, благодарность и радость, вызванные внезапной лаской, переполнили его маленькое сердечко. Ласка была так приятна. Но девочка засмеялась и быстро увлекла его из комнаты, чуточку поняв своей маленькой материнской душой, что происходило в душе мальчика.

— Если хочешь, можешь, конечно, поплакать; но ты должен и поиграть!

И как же они чудно играли!

Но когда по окончании учения дедушка пришел за ним, Таро снова заплакал, на сей раз вследствие предстоящей разлуки с подругой. Но дедушка засмеялся и воскликнул:

— Да ведь это маленькая Иоси, Мийахаре О-Иоси! Ведь она может пойти с нами и остаться немного у нас; ей все равно по дороге.

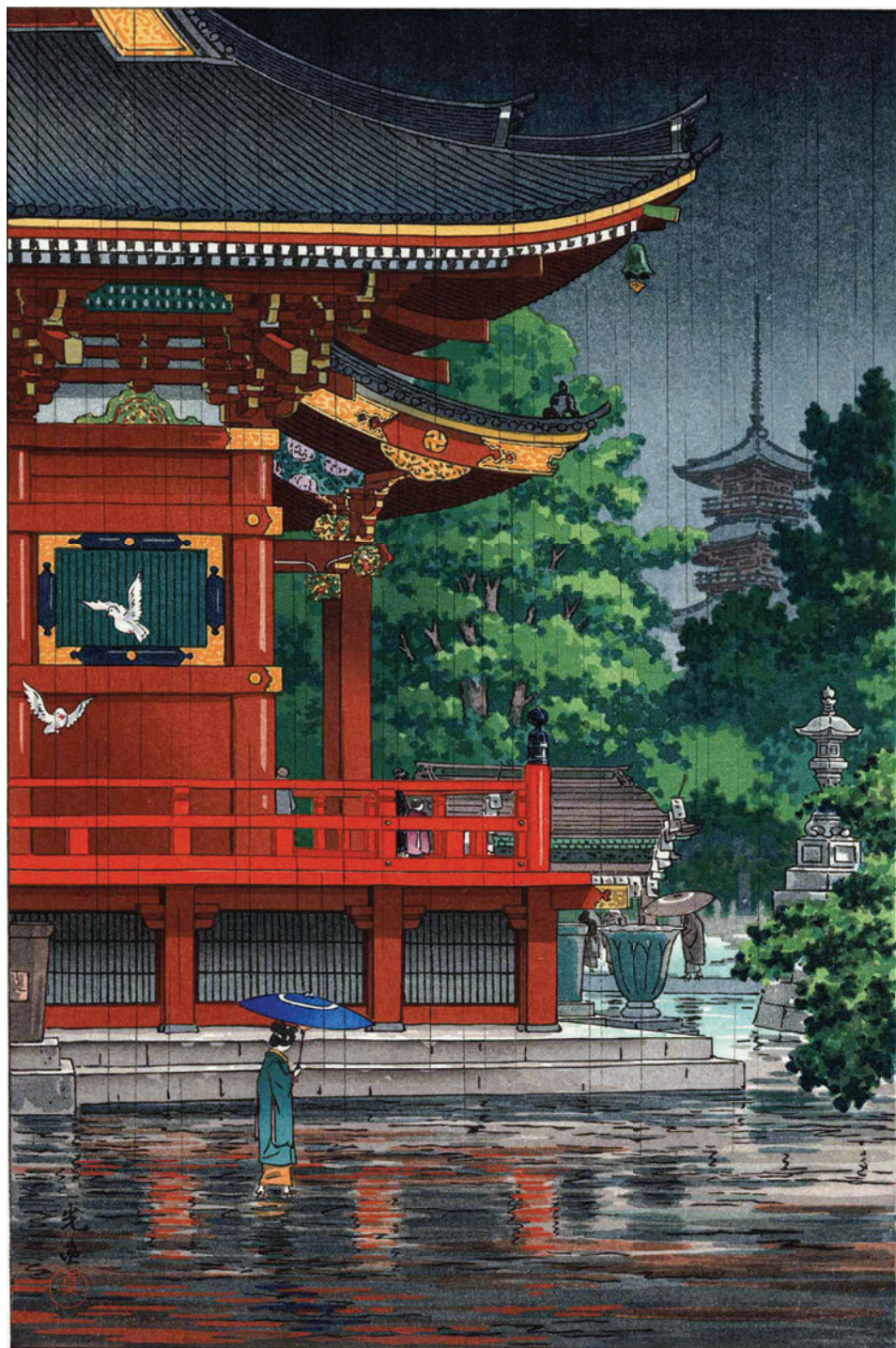
Дома новые друзья вместе съели обещанный сладкий пирог, и О-Иоси лукаво спросила: Урасима Таро, что тебе дороже: сладкий пирог или я?!

У отца О-Иоси по соседству было несколько рисовых полей и лавка в самой деревне. В жилах ее матери текла самурайская кровь; во время отмены военной касты ее приняли в семью Мийахара. У супругов родилось несколько человек детей, но все умерли, кроме О-Иоси. Мать умерла, когда О-Иоси была еще ребенком. Отец, уже немолодой человек, вторично женился на дочери одного из своих арендаторов, молодой девушке по имени Ито О-Тама. Несмотря на медно-красный цвет лица, О-Тама была необыкновенно красива, — высокая, стройная, полная жизни и силы.

Однако брак вызвал всеобщее удивление, потому что О-Тама не умела ни читать, ни писать. Удивление сменилось насмешкой, когда обнаружилось, что с первого же момента супружеской жизни О-Тама сразу и навсегда забрала в свои руки бразды правления. Но познакомившись с нею ближе, соседи перестали смеяться над уступчивостью мужа. Она блюла выгоду мужа лучше его самого и взялась за ведение его дел с такой осмотрительностью, что года через два почти удвоила его доходы. Соседи убедились, что Мийахара сумел выбрать жену, способную сделать его богачом. С падчерицей она обращалась хорошо даже после рождения своего первого ребенка; о ней заботились и посылали ее в школу.

О-Иоси и Таро еще ходили в школу, когда в тех краях произошло давно ожидаемое и важное событие. С Запада приехали какие-то странные люди, очень высокого роста, с рыжими бородами и волосами; они привезли с собою множество японских рабочих и внизу, в долине, заложили железную дорогу. Ее провели вдоль подножия низкой цепи холмов, через рисовые поля, мимо тутовой рощи до входа в деревню; и в укромном местечке, где она пересекала прежнюю дорогу, ведущую к храму божественной Каннон, построили маленький станционный домик. На доске красовалось имя деревни, написанное китайскими письменами. Параллельно с рельсами поставили ряд телеграфных столбов, и движение началось: поезда приходили, свистели, останавливались и мчались дальше, с такой силой сотрясая воздух, что старые изображения Будды еле удерживались на своих украшенных лотосами пьедесталах.

Дети с изумлением смотрели на странные полосы — рельсы, — таинственно исчезающие на севере и на юге; они замирали от страха, когда подходили поезда,



Цутия Коицу. Храм Каннон в Асакусе



пыхтящие, дымящиеся, как огнедышащие драконы, сотрясающие воздух и землю. Но страх сменился жгучим любопытством, особенно после того как один из учителей на доске демонстрировал им устройство локомотива, объяснил чудесное устройство телеграфа и рассказал, что новая восточная столица со священной столицей Киото



Утагава Хиросигэ. Деревня

соединится рельсами и проволокой, так что путешествие из одной в другую займет менее двух дней, а известия будут долетать в несколько секунд.

Таро и О-Иоси очень подружились; они вместе учились, играли, навещали друг друга. Но на одиннадцатом году О-Иоси забрали из школы, потому что дома мачехе



Токурики Томикициро. Синтоистский храм

нужна была помощь; с тех пор Таро редко виделся с нею. Таро вышел из школы на четырнадцатом году и стал работать в деле отца в качестве ученика.

Настали тяжелые дни. Мать умерла после рождения маленького братца; в тот же год скончался и добрый старый дед, проводивший его в первый раз в школу; и жизнь показалась Таро мрачней и тоскливей.

После этого, до семнадцати лет, он прожил однообразно, без перемен и без ярких событий. Изредка он заходил в дом Мийахары, чтобы побеседовать с О-Июси. Она стала красивой, стройной девушкой, но он по-прежнему видел в ней лишь веселого товарища игр минувших счастливейших дней.

Однажды, в прекрасный весенний день, на душе у Таро было пустынно и грустно. «Хорошо было бы повидаться с О-Июси», — подумал он.

Вероятно, его душа бессознательно связывала чувство одиночества с воспоминанием первого школьного дня... Как бы то ни было, но что-то в нем жаждало ласки; быть может, душа умершей матери пробуждала в нем это чувство, быть может, души других, ушедших из мира сего. Он знал, что найдет эту ласку у своей подруги О-Июси. По дороге в лавочку старика Мийахары он, еще не доходя до дома, услышал ее смех, серебристый и сладкий. Войдя в лавку, он увидел, что она продавала что-то старому крестьянину, весело и оживленно болтавшему с нею. Таро пришлось подождать, и он был

разочарован этой помехой. Но уже от одной ее близости ему стало отрадней. Он не спускал с нее глаз и вдруг удивился тому, что раньше не замечал ее красоты. Она была очень красива, лучше всех девушек в их деревне. Очарованный, он продолжал смотреть на нее, и ему казалось, что с каждым мгновением она становится все прекрасней.

Странно и непонятно было ему, что под его упорными взглядами О-Иоси впервые казалась смущенной и вся зарделась, даже ушки ее покраснели. Тогда Таро решил, что она красивее, лучше, милее всех девушек в мире. И ему захотелось скорее признаться ей в этом. И вдруг он разозлился на старого крестьянина за то, что он говорит с нею, как с обыкновенным существом. В несколько мгновений для Таро преобразился весь мир, но он этого не сознавал. Ясно было для него лишь то, что О-Иоси стала прекрасна, как божество.

При первой возможности он открыл ей свое безумное сердце; она ответила тем же, и они удивились тому, как похожи были их чувства и мысли. И это было началом рокового конца.

Старый крестьянин, которого Таро видел в лавке Мийахары, приходил туда не только за товаром. Он занимался побочной профессией, сватовством. Теперь он хлопотал за богатого рисового торговца, Окацаки Яиширо. Окацаки увидел О-Иоси, она ему приглянулась, и свату было поручено дать делу ход.

Окацаки ненавидели все его односельчане и даже жители соседних деревень. Это был пожилой человек с неприятным костявым лицом и грубыми повадками;



Митцума Тосо. Влюбленные

его считали злым. Шел слух, что он сумел воспользоваться неурожаем для своей личной выгоды, продав дешево скупленный рис по баснословно высокой цене. А это в глазах крестьян было непростительным преступлением. Он не был уроженцем этого округа и ни с кем из его жителей не состоял в родстве. Восемнадцать лет тому назад из какой-то западной провинции он переселился сюда с женой и единственным ребенком. Два года назад жена умерла, а сын, с которым он обращался очень жестоко, вдруг покинул родительский дом и пропал без вести.

О нем шли еще и другие неблагоприятные слухи, и на его родине, на Западе, разъяренная толпа сожгла его дом и амбары, и он мог спастись только бегством. А в день своей свадьбы он вынужден был дать пир богу Дзидзо¹. В некоторых провинциях и до сих пор существует обычай на свадьбе людей, не пользующихся любовью односельчан, требовать от жениха пирушки в честь бога Дзидзо. Несколько здоровых молодых парней со статуей этого бога, взятой с какого-нибудь перекрестка или с соседнего кладбища, силой врываются в дом в сопровождении огромной толпы. Они воздвигают статую в зале и требуют для нее обильного угощения и саке. Это значит, что они сами хотят хорошо попить и поесть, и горе хозяевам, если они не исполнят желания непрошенных гостей; их надо накормить и напоить до отвала. Такая насильственная пирушка — не только знак общественного порицания, но и вечный позор.

Уже пожилым человеком, Окацаки захотел позволить себе роскошь обзавестись молодой женкой, но скоро ему пришлось убедиться, что это не так-то легко. От его предложений уже уклонилось несколько семейств, выставляя невозможные условия. Деревенский староста ответил грубее и проще: дочь-де свою он скорее отдаст Они², чем рисовому торговцу Окацаки. И пришлось бы ему искать себе жену в другой провинции, если бы он случайно не увидел О-Иоси. Девушка крепко полюбила его; он считал ее родителей бедными и надеялся выгодными предложениями получить их согласие. И он через свата попытался завести дружбу с семьей Мийахара.

Мачеха О-Иоси была совсем необразованна, но далеко не глупа. Она никогда не любила свою падчерицу, но была слишком умна, чтобы без причины обращаться жестоко с нею. Ведь О-Иоси ей не мешала; наоборот, она была прилежной работницей, полезной в доме, послушной и доброй. С холодной проницательностью она оценивала и достоинства О-Иоси и ее цену на брачном рынке. Окацаки даже не снилось, что его союзница была гораздо хитрее его. Многие из его жизни О-Тама знала; она знала, насколько он был богат, и слышала о его тщетном сватовстве в самой деревне и за пределами ее. Она верила, что красота О-Иоси действительно воспламенила его, и знала, что в большинстве случаев из старческой страсти многое можно извлечь. Хотя О-Иоси и не была писаной красавицей, но она была очень мила и привлекательна, — такой жены Окацаки не скоро найти. Откажись он только от уплаты требуемой цены, и О-Тама сейчас же найдет других женихов, умных и молодых, которые охотно согласятся на ее условия. Нет, дешево они не уступят О-Иоси! После первого отказа нетрудно будет понять его намерения. Если он серьезно влюблен, то может заплатить больше других. Прежде всего необходимо узнать, насколько сильна его страсть; а от О-Иоси до поры до времени все надо держать в тайне. Болтливости свата нечего бояться: ведь его популярность основана на умении хранить тайны...

¹ *Дзидзо* — буддийское божество, покровитель детей.

² *Они* — демон, злой дух.



Кавабата Гёкусо. Поезд отходит от станции Таканава

Отец и мачеха О-Иоси выработали план действий. Старик всегда во всем подчинялся жене, но в данном случае она была так осторожна, что с самого начала убедила его, что этот брак был бы счастьем для его дочери. Они взвесили все возможности, все выгоды этого брака. Конечно, могли быть неблагоприятные случайности, но их можно было предупредить, заставив Окацки заранее дать дарственную запись. О-Тама сама разучила с мужем ту роль, которую ему надо было разыграть. Но пока велись переговоры, посещения Таро поощрялись родителями О-Иоси. Ведь молодая любовь как легкая паутинка, дунешь — и нет ее. Ее легко разорвать в нужный момент, а пока она могла быть даже полезной. Присутствие молодого соперника должно было сделать Окацки податливее.

Поэтому, когда отец Таро от имени сына в первый раз сделал предложение, ему дали неопределенный ответ. Единственной веской причиной против брака выставили то, что О-Иоси была на год старше Таро, что противоречило семейным традициям; но причина была так неважна, что все поняли, что ее выбрали только для вида.

Предложения же Окацки приняли так, будто не верили в их искренность. Чета Мийахара притворилась, будто не понимала слов свата, и отказала ему наотрез. Тогда Окацки счел нужным предложить заманчивые условия. На это старик Мийахара сказал, что посоветуется с женой.

О-Тама, недолго думая, отвергла и предложение самого жениха с презрительным удивлением. Она стала делать неприятные намеки; рассказала про человека, которому

захотелось дешево купить красавицу жену; наконец этот человек нашел девушку, уверившую его, что насыщается в день двумя зернами риса. Он женился на ней, и правда, она ежедневно съедала не больше. Но однажды вечером, вернувшись домой, он тайком подсмотрел за нею в щелку и увидел, к своему удивлению, что она пожирает целые горы риса и рыбы, препровождая пищу в отверстие в голове под волосами; тогда он понял, что женился на ведьме...

Целый месяц О-Тама терпеливо ждала результата своего отказа. Она спокойно и уверенно выжидала, твердо зная, что цена желанного растет с препятствиями. Она не ошиблась в расчетах: сват снова вернулся. На сей раз его слова были еще более вески: к первым предложениям Окацаки прибавил новые; его обещания стали весьма заманчивы.

Тогда О-Тама поняла, что влюбленный старик в ее власти. Ее план действий был сложный, построенный на глубоком знании темных сторон человеческой души. Успех был обеспечен.

«Обещаниям пусть верят глупцы, законными условиями с ограничениями пусть ловят простаков, — говорила она, — раньше чем назвать О-Иоси своей женой, пусть-ка Окацаки перепишет значительную часть своего состояния на наше имя!»

Отец Таро серьезно желал брака своего сына с О-Иоси, и он прямо шел к этой цели. Его удивляло, что чета Мийахара не давала ему определенного ответа. Он был человеком простым, чистосердечным и чутким. О-Таму он никогда не любил, а теперь ее лживый, заискивающий тон возбудил в нем подозрение, скоро превратившееся в уверенность, что его сыну не на что надеяться. Он откровенно поговорил с ним; разговор этот так огорчил бедного мальчика, что он захворал и слег.

Но мачеха О-Иоси вовсе не желала, чтобы Таро так рано впадал в отчаяние, — это не входило в ее расчеты. Во время болезни она посылала ему несколько раз дружеские приветы, а раз даже письмо от О-Иоси, которое вновь воскресило все надежды юноши. Когда он выздоровел, семья Мийахара приняла его очень любезно; ему позволили поговорить с О-Иоси, но о предложении его отца умолчали.

Молодым людям удавалось встречаться и во дворе синтоистского храма, посвященного богине Солнца, куда О-Иоси часто водила гулять младшего ребенка своей мачехи. Там, в толпе нянек, детей и молодых матерей, они обменивались несколькими словами, не рискуя навлечь на себя дурную молву.

Так прошел целый месяц, полный надежды. Но вдруг О-Тама, двуличная, как всегда, предложила отцу Таро совершенно невозможную для него денежную сделку. Она приподняла уголок своей маски, потому что Окацаки уже беспомощно бился в сетях, которыми она окутала его; она знала, что скоро он сдастся.

О-Иоси еще ничего не знала о том, что замыслили против нее, но она имела основание думать и бояться, что ее никогда не отдадут в жены Таро; и с каждым днем она все бледнела.

Однажды утром Таро, взяв с собою маленького брата, отправился во двор храма; он искал случая поговорить с О-Иоси. Они встретились, и он рассказал ей, как тревожно у него на душе: маленький деревянный амулет, который мать в детстве повесила ему на шею, сломался в своей шелковой оболочке.

— Это недурная примета, — промолвила О-Иоси, — а лишь доказательство, что великие боги пощадили тебя. В древне свирепствовала болезнь, и тебя лихорадка скрутила, но ты перенес ее. Священные чары охраняли тебя, — а теперь уничтожились. Скажи сегодня об этом жрецу, — он даст тебе другой амулет.



Томиока Эйсэн. Сбор риса

Они были очень несчастны, а между тем никогда никому не причиняли зла; и на них нашло сомнение в справедливости мировых законов...

— Быть может, — молвил Таро, — мы в предыдущей жизни ненавидели друг друга. Может быть, я обращался жестоко с тобою, или ты со мною; а теперь мы искупаем прошедшее зло; так утверждают, по крайней мере, наши жрецы...

— Тогда я была мужчиной, а ты женщиной; я очень любила тебя, но ты был так жесток со мною... я все помню, — ответила О-Иоси, и в ее глазах слабо блеснула прежний лукавый огонек.

— Ты не босацу¹, — возразил Таро, улыбаясь, несмотря на свое горе, — ты этого помнить не можешь. Только на десятой ступени босацу возможно воспоминание о предыдущей жизни.

— Почему же ты знаешь, что я не босацу?..

— Ты женщина, а женщине не дано стать босацу.

— Разве Куан-це-он-босацу не женщина?

— Правда; но босацу ничего не должен любить, кроме священных книг.

— Разве у Шаки² не было жены и детей? И разве он не любил их?

— Да, но ты знаешь, что он должен был их покинуть.

— Это было очень дурно с его стороны, Шака был злой... Но я не верю этим рассказам... А ты покинул бы меня, если бы я стала твоею?..

Так рассуждали, болтали, даже шутили они. Им так хорошо было вместе, но вдруг девушка, задумавшись, сказала:

— Слушай! Прошедшей ночью мне снилась какая-то необыкновенная река, снилось море... Я стояла у реки, там, где она впадает в море. И мне было так страшно, так страшно... я не знаю сама отчего. Смотрю я и вижу: ни в море, ни в реке нет воды, вместо воды кости — кости Будды; и колышутся они, как волны... Потом мне вдруг показалось, будто я дома; и будто ты подарил мне прекрасного шелка для кимоно; и кимоно будто уж сшито... Я надела его и удивилась: сначала ткань отливала разными цветами, а тут стала белой — я по глупости сложила ее на изнанку, — такой, как шьют сава-ны... Потом я будто отправилась ко всем родным, проститься с ними; я всем говорила, что ухожу в меидо; все спрашивали меня: почему? А я не могла им ответить...

— Это хорошо, — успокоил ее Таро, — видеть мертвых во сне — значит счастье. Может быть, это предзнаменование нашего обручения?!

Девушка ничего не ответила и не улыбнулась.

Некоторое время молчал и Таро, потом произнес:

— А если ты думаешь, что это недобрый сон, то Расскажи его шепотом нантовому кусту, с которым связано странное суеверие: если приснится дурной сон, надо его рано утром шепотом рассказать этому кусту; тогда сон не сбудется. Существуют две разновидности этого растения: одно с белыми, другое с красными ягодами (первое встречается редко).

А вечером того же дня отец Таро получил известие о том, что О-Иоси будет женой Окацаки.

О-Тама была очень умна и редко ошибалась в расчетах. Она принадлежала к породе людей, всегда во всем успевающих, пользующихся слабостью и глупостью людской

¹ Босацу — буддийские святые, ученики Будды.

² Шака — индийское имя Будды.



Хандзан Мацукава. Школьники

и извлекающих из своих ближних всевозможную для себя выгоду. Делалось это О-Тамой просто, естественно. Весь опыт ее предков-крестьян: терпение, хитрость, житейская дальновидность, сообразительность, расчетливость — соединились в ее необразованном уме. Это был совершенный в своем роде механизм и действовал безупречно в том кругу, из которого вышел, и с теми людьми, которые были близки ему по происхождению.

В настоящем же случае дело касалось натуры совершенно иной, недоступной О-Таме, потому что в переживаниях ее предков-крестьян не было ключа для понимания ее. О-Тама не верила в тонкое различие между дочерью самурая и крестьянкой, она не понимала его. Для нее не существовало коренных различий между военным и земледельческим классом, кроме внешнесловесных, созданных законами и обычаями. А законы и обычаи, по ее мнению, никуда не годились. Законам и обычаям она приписывала вину в беспомощности и неразумности самураев и втайне презирала всех дворян. Она видела, что неспособность к тяжелой работе и полное отсутствие житейской мудрости повергли их в нищету; видела, что пенсии, дарованные им правительством, вырывались из рук их хитрыми дельцами из низших классов. Она презирала слабость и неспособность, и в ее глазах зеленщик-разносчик был выше любого дворянина, в старости прибегающего к помощи тех, которые раньше при виде его снимали обувь и падали ниц. По ее мнению, О-Июси ничего не выигра-

вала от того, что в ее жилах текла самурайская кровь. Хрупкость и нежность девочки она приписывала ее дворянскому происхождению, которое считала несчастьем. Она читала в душе О-Иоси лишь постольку, поскольку это возможно тому, кто сам не принадлежит к культурному классу; она, например, понимала, что ненужной строгостью с ней ничего не возьмешь, и эта черта ей даже нравилась в падчерице. Но в душе О-Иоси были еще другие изгибы, недоступные ее мачехе.

Девушка глубоко чувствовала всякую несправедливость, но скрывала это чувство; в ней было непоколебимое самоуважение и скрытая сила воли, способная пересилить всякую боль. Поэтому спокойствие и покорность, с которыми она приняла известие о своем предстоящем браке с Окаками, сбила мачеху с толку; О-Тама ждала открытого сопротивления.

Она ошиблась. Сначала девушка побледнела как полотно; но в следующее же мгновение она покраснела, улыбка показалась на ее лице; она поклонилась и в изящных словах заговорила о детской покорности и уважении и о своей готовности во всем подчиниться родительской воле. О-Тама была приятно разочарована.

И в дальнейшем поведении девушки не было и намека на скрытую обиду. О-Тама была так рада, что выдала ей свои тайны, рассказала кое-что из комедии, разыгранной с Окаками, и поведала ей, на какие громадные жертвы должен был согласиться старик. К избитым словам, какие всегда говорят девушке, обреченной на замужество с нелюбимым стариком, мачеха прибавила несколько действительно неоценимых советов, как в будущем вести себя с мужем. Имя Таро не было ни разу упомянуто. За советы девушка, как подобало, поблагодарила с миловидным поклоном. Советы были действительно неоценимы: всякая деревенская девушка, обученная такой опытной учительницей, вероятно, снесла бы совместную жизнь с Окаками. Но О-Иоси была только наполовину крестьянкой. Смертельная бледность при вести о ее печальной судьбе и потом внезапная краска были вызваны двумя ощущениями, о которых О-Тама не имела ни малейшего представления; они были слишком сложны для ее расчетливого ума.

Когда девушка поняла полное отсутствие нравственного чутья у мачехи и всю безнадёжность, всю бесполезность протеста, поняла, что она бесповоротно продана ненавистному старику единственно ради ненужной наживы, поняла всю жестокость и позор этого торга, — ее охватил бессильный ужас. Но почти в то же мгновение в ней блеснуло сознание необходимости мужественно принять на себя все, самое последнее, самое крайнее; необходимо было притвориться, чтобы обмануть коварство врагов.

И она улыбнулась. И под покровом этой улыбки ее юная воля стала твердой, как сталь, которая не гнется... Ей мгновенно стало ясно, чего от нее требовал долг: это ей подсказала кровь самураев. Надо было только обдумать, когда и как привести в исполнение необходимое решение... Она была так уверена в своем торжестве, что с трудом удерживалась от громкого смеха. Блеск ее глаз ввел в заблуждение О-Таму, которая сочла его за выражение радости при мысли о столь выгодном браке.

Был пятнадцатый день девятого месяца, а свадьба должна была состояться шестого числа десятого месяца.

Но спустя три дня после их разговора О-Тама, встав на заре, не нашла падчерицы и поняла, что она ночью скрылась из дома. А старик Урасима не видел своего сына Таро с предыдущего дня.

Несколько часов спустя от обоих беглецов пришли письма.

Прибыл утренний поезд, отправляющийся в Киото; на маленькой станции было шумно и суетливо: стук гэт¹, гул голосов и протяжные возгласы деревенских мальчишек, продающих пирожки и прохладительные напитки. Через несколько минут раздался резкий свисток; стук гэт, захлопывание вагонных дверей и возгласы мальчишек умолкли; тяжело дыша, тронулся поезд; дымя и пыхтя, медленно двинулся к северу, и маленькая станция снова погрузилась в безмолвную тишину. Дежурный полицейский запер калитку и стал расхаживать взад и вперед по усыпанному гравием полотну железной дороги, блуждая бдительным оком по молчаливым полям.

Была осень, время прозрачности и резких световых переходов. Солнечный блеск стал белее, резче стали все тени, и контуры предметов обрисовывались остро, как края стеклянных осколков. Всюду на черной вулканической почве обнаженные места, выжженные жарким летним солнцем, снова покрылись полосами и лентами мягкой блестящей зелени. С высоких сосен раздавался резкий крик: «Тсуку-тсуку-боши!». А над рвами и канавами зигзагами носились, играя, сверкающие, трепещущие стрекозы — розовые, голубые, — перламутром переливаясь на солнце.

Быть может, вследствие необыкновенной прозрачности утреннего воздуха полицейский увидел вдаль на рельсах нечто необычайное. Он затенил рукою глаза и посмотрел на часы. От острого взора японского полицейского ничего не ускользает, как и от глаз недвижно висящего в воздухе коршуна.

Помню раз, в далеком Оку, мне захотелось посмотреть на уличный карнавал. Сажу моему мне не хотелось показываться: я сделал маленькую дырочку в бумажном окне и стал выглядывать на улицу. По улице шел полицейский в белоснежном плаще и мундире; было лето. Он шел, не оглядываясь ни вправо, ни влево; казалось, что он вовсе не видел ни толпы, ни танцующих, мимо которых он проходил. Но вдруг он остановился около моего дома и прямо вперил взор в дырочку бумажного окна: за этой дырочкой он увидел глаз, который по форме признал не японским. Он вошел в гостиницу и справился о моем паспорте, который был уже визирован.

То, что полицейский деревенской станции увидел и о чем он потом доложил, были две человеческие фигуры, которые около полумили к северу от станции пересекли рисовые поля и подошли к рельсам; очевидно, они шли с северо-запада, из какой-нибудь деревенской усадьбы. Одна из них, женщина, судя по цвету платья и кушака, была еще очень молода. Ранний поезд из Токио должен был прибыть через несколько минут, со станции уже виден был приближающийся дымок. Вдруг человеческие фигуры побежали по рельсам, по которым должен был пронестись поезд, и скрылись за поворотом дороги. То были Таро и О-Июси. Они бежали так быстро, отчасти чтобы скрыться от внимания полицейского, отчасти чтобы встретить поезд по возможности дальше от станции. Но за поворотом они остановились и потом медленно продолжали свой путь.

Пар от локомотива уже почти касался их; поезд был совсем близок; они сошли с рельсов, чтобы не дать машинисту повода к тревоге. Они стояли и ждали, держа друг друга за руки...

В следующий момент их уха коснулся глухой грохот, и они почувствовали, что настало роковое мгновение. Они ступили на полотно железной дороги и быстро легли между рельсами, крепко прижавшись друг к другу. От приближающегося чудовища рельсы дрожали и гудели, как наковальня под ударами молота.

Юноша улыбался; девушка, обнимая его, прошептала:

¹ Гэта — японские деревянные сандалии в форме скамеечки, одинаковые для обеих ног.

— На время двух и трех жизней я твоя супруга, ты мой супруг, Таро-сама!

Таро уже не мог ответить: несмотря на чрезвычайное усилие машиниста, поезд не удалось остановить, и колеса пронеслись по О-Иоси и Таро, разрезав их, как громадным ножом...

Деревенские жители украшают цветами в бамбуковых вазах надгробный камень, под которым спят венчанные смертью любовники. Над их могилой зажигают благовонные травы, творят молитвы.

Это неправомерно, потому что буддизм запрещает самоубийство, а это буддийское кладбище. Но в этих обрядах скрыта глубокая религиозность, заслуживающая уважения.

Вы спросите, почему и как люди молятся этим усопшим.

Не все молятся им; молятся те, кто любит, особенно кто любит несчастно. Остальные лишь украшают их могилу, произнося над нею благочестивые тексты. Но любящие воссылают с этой могилы к небу молитвы о помощи и сострадании.

Я спросил, почему этим усопшим воздают столько почестей, и ответ был таков: «Потому что они так много страдали».

И кажется мне, что вдохновляет такие молитвы нечто, что древнее и вместе с тем современнее религии Будды, — идея вечной религии страдания.

ГЕЙША

Как тихо начало японского праздника! Иностранец, впервые присутствующий на японском банкете, не может представить себе, как он шумно кончается.

Тихо входят нарядные гости и молча рассаживаются на подушках. Девушки неслышно, скользя по полу босыми ногами, расставляют лакированные приборы на ковриках перед гостями. Сначала в зале только шелест и колыхание, легкое волнение, улыбки — все еле заметно, как в сновидении. Извне тоже не доносится ни единого звука, потому что увеселительные дома обыкновенно строятся вдали от улиц, среди больших тенистых садов. Наконец церемониймейстер, хозяин или устроитель прерывает молчание обычной фразой: «О-соматсу де го заримасу га! Дозо о-хаси!»¹.

С безмолвным поклоном гости берут свои хаси и принимаются за трапезу. Но и хаси в их искусных руках не производят ни малейшего шума.

Девушки наполняют кубки гостей горячим саке²; и, только после того как опустеют несколько блюд и осушатся несколько кубков, начинается разговор.

Вдруг появляются с тихим смехом несколько девушек в зале; по установленному церемониалу они кланяются до земли, легко выются между рядами гостей и начинают угощать их вином с такой грацией и ловкостью движений, как никогда не сумела бы угостить обыкновенная девушка. Они очень красивы, одеты в богатые шелковые одежды, опоясаны, как королевы, а их нарядные прически украшены искусственными цветами, роскошными гребнями, шпильками и чудесными золотыми изделиями. Они приветствуют чужих, как старых знакомых, шутят, смеются, издают забавные, нежные возгласы. Это — нанятые для оживления праздника гейши или танцовщицы (в Киото их называют майко³).

Раздаются звуки сямисэна⁴, и танцовщицы собираются на свободном месте в глубине зала; зал всегда настолько велик, что мог бы вместить больше людей, чем собираются обыкновенно на праздник. Часть гейш под управлением женщины средних лет составляет оркестр — несколько сямисэнов и хорошенький барабан, на котором играет ребенок. Остальные в одиночку или по парам танцуют. То они быстро и весело пляшут, то принимают лишь грациозные позы. Вот две девушки танцуют вместе — такого соответствия и такой гармонии жестов и па можно достигнуть лишь долголетним упражнением.

Но чаще это скорее пластика, чем то, что на Западе принято называть танцами. Пластика, сопровождаемая движением рукавов и вееров, игрой глаз и мимикой,

¹ Пожалуйте разделить скромную трапезу! Возьмите в руки *хаси*! *Хаси* — палочки, заменяющие в Японии ложки, вилки, ножи.

² *Саке* — рисовая водка.

³ *Майко* (или *мусме*) — маленькая прислужница.

⁴ *Сямисэн* — японский трехструнный инструмент.

сладостной, нежной, сдержанной, мягкой — совершенно восточной. Гейшам знакомы и сладострастные танцы, но в обыкновенных случаях или перед избранной публикой они воспроизводят прелестные древнеяпонские предания, как например легенду о юном рыбаке Урасиме, возлюбленном дочери морского царя; или поют древнекитайские песни, передающие несколькими словами так изящно и живо все то, что волнует человеческие сердца. И все снова наполняют они кубки вином, теплым, золотистым, отуманивающим мысли; быстрее и жарче кровь струится по жилам; будто дымка сновидений отделяет всех от прочего мира, и сквозь эту дымку будничная действительность кажется чудесной, гейши превращаются в райских дев, и в мире разлито блаженство, невозможное, несбыточное по естественным законам.

Праздник, молчаливый вначале, становится понемногу веселым и шумным. Ряды гостей размыкаются: образуются группы; гейши, смеясь и болтая, переходят от одной группы к другой, все время разливая sake, наполняя пустые бокалы; гости с низким поклоном принимают бокалы и меняются ими¹. Мужчины запевают старые самурайские или древнекитайские песни, один или двое даже начинают плясать. Сямисэны заигрывают веселый мотив «Компира фунэ фунэ»², и одна из гейш поднимает платье выше колен. Под звуки музыки танцовщица быстрым бегом начинает описывать восьмерку; молодой человек, с бутылкой sake и бокалом, делает ту же фигуру. Если они столкнутся на одной линии, то тот, по чьей вине произошло столкновение, должен выпить бокал sake. Музыка играет все скорее, шаги танцующих становятся все быстрее, потому что они не должны отставать от темпа музыки; и гейша почти всегда выигрывает.

В другом конце залы гейши играют с гостями в кен³; играя, они поют и заглядывают друг другу в глаза, бьют в ладоши и с тихим смехом поднимают пальчики в воздух.

А звуки сямисэна льются:

Хотто, — дон-дон!
О — тагай до нэ;
Хотто, — дон-дон!
Ойдемашита нэ;
Хотто, — дон-дон!
Шимаймашита нэ⁴.

Чтобы играть с гейшей в кен, надо быть хладнокровным, внимательным и ловким. Приученная с детства ко всем разновидностям этой игры — а их много, — она проигрывает только из вежливости, и то редко.

Знаки обыкновенного кена — лисица, человек и ружье. Если гейша делает знак ружья, то тотчас же в такт музыки должен следовать знак лисицы, которая не умеет обращаться с ружьем. Если же вы сделаете знак человека, то она ответит знаком лисицы,

¹ Иногда принято, чтобы гости менялись бокалами, предварительно вежливо выполоскав их. Попросить бокал у соседа всегда считается любезностью.

² Японский припев.

³ Имеется в виду игра «Кицунэ-кен» («Волшебная лиса»), в которой используются жесты рук. «Кицунэ-кен» является широко известным у нас аналогом игры «Камень, ножницы, бумага» (примеч. ред.).

⁴ Японский припев, который поют под звуки барабана во время синтоистского праздника.



Путешественник, Томиока Эйсэн

которая хитрее человека, — и вы проиграли. Если же она начнет с лисицы, то вы должны ответить ружьем, которым можно застрелить лисицу. Во время игры смотришь на ее блестящие глазки и изящные ручки — они очень красивы, — но, если хоть на полсекунды залюбишься ими, все пропало: вы зачарованы и побеждены.

Но, несмотря на непринужденное отношение, на японском празднике всегда сохраняется известный строгий церемониал между гейшами и гостями. Как бы гость ни был отуманен вином, он никогда не осмелится приласкать девушку; он никогда не забудет, что на банкете она только цветок, которым можно любоваться, но трогать нельзя. Фамильярность, которую приезжие часто позволяют себе с японскими гейшами и прислужницами, туземцы, хотя и терпят с покорной улыбкой, но в действительности глубоко презирают и считают крайне вульгарной.

Веселье все возрастает, но после полуночи один гость за другим незаметно исчезает. Понемногу шум затихает, музыка умолкает, гейши со смехом и возгласом «Сайнара!»¹ провожают последних гостей; и только тогда им наконец позволено вместе присесть и в опустевших залах нарушить свой долгий пост.

Такова роль гейши. Но что происходит в тайнике ее души? Каковы ее мысли и чувства, ее святая святых? Чем она, в сущности, живет вдали от праздничного блеска ночных огней, вдали от иллюзий, которыми ее окружают вино и веселье? Всегда ли она так легкомысленна, как кажется в то время, когда ее голосок с лукавой

¹ *Сайнара!* — прощайте!

нежностью поет старую песню о том, что возлюбленная дороже пяти тысяч коку?¹ Можно ли поверить ее страстному обещанию, так очаровательно провозглашенному ею, будто она не отдаст возлюбленного могиле, а, собрав его пепел, выпьет его в кубке вина?

Один из моих друзей рассказал мне, что О-Кама из Осаки в прошлом году претворила в жизнь эту песенку: она собрала пепел сожженного трупа своего возлюбленного, смешала его в кубке с саке и выпила на банкете в присутствии многих гостей. В присутствии многих гостей! О романтизм!

В доме, где живут гейши, вы всегда увидите в нише своеобразную фигурку, иногда из глины, реже из золота, чаще всего из фарфора. Ей молятся, ей приносят дары: рис, хлеб и вино; перед ней тлеет благовонное курение и теплится лампада. Это — изображение кошечки, стоящей на задних лапках и протягивающей переднюю; поэтому ее называют «манэки-нэко» — манящая кошечка. Это — *genius loci*², он приносит счастье: покровительство богатых, благосклонность хозяев. А тот, кто знаком с психикой гейши, утверждает, что эта фигурка — символ ее. Игривая, прелестная, нежная, юная, гибкая, ласкающая, стройная, но хищная и жестокая, как палящее пламя.

О ней носятся и другие, более страшные, слухи: говорят, что за тенью ее следует дух нищеты, что лисицы — сестры ее; говорят, что она губит юность, разоряет благосостояние, разрушает семейный очаг; что любовь для нее лишь источник безумия, которым она пользуется для своих целей; что она обогащается на счет мужчин, которых толкает на гибель; говорят, что она отъявленнейшая из всех хорошеньких лицемерок, ненасытнейшее из всех продажных созданий, опаснейшая из всех авантюристок, безжалостнейшая из всех любовниц.

Не может быть, чтобы все это было правдой, но одно несомненно: гейша по существу хищница, как и кошка. Но на свете много прелестных кошечек и много очаровательных гейш!

Гейшу — такую, какова она есть, — создала безумная человеческая жажда любовной иллюзии, ищущей наслаждения и красоты без угрызений совести и без ответственности; и поэтому наряду с игрой в кен ее научили играть и людскими сердцами. Но от века существует в нашей земной юдоли закон, позволяющий играть всем, чем угодно, за исключением любви, жизни и смерти. Это право боги оставили за собою, потому что смертные, играя любовью, жизнью и смертью, неминуемо доигрывались до беды. Поэтому боги не любят, когда с гейшей затевают более серьезную игру, чем в кен или го.

Девушка с самого начала своего жизненного пути уже рабыня; хорошеньким ребенком бедных родителей ее продают по контракту, по которому ее покупатель может пользоваться ею 18, 20, даже 25 лет. В доме, где живут только гейши, ее кормят, одевают, воспитывают и держат в ежовых рукавицах. Ее учат хорошему обращению,

¹ *Коку* — древнеяпонская мера объема. Когда-то, давно жил хатамото (хатамото — вассал) по имени Фудзи-Эда-Геки, вассал сегуна (сегуны — вице-правители, фактически управлявшие Японией в период с 1198 по 1868 г. вместо микадо, бывших лишь номинальными главами империи и предметом обожания и поклонения). У него было годового дохода 5000 *коку* рису, что в те времена считалось очень большим доходом. Но он влюбился в жительницу Йошивара по имени Аяягину и хотел жениться на ней. Тогда его господин приказал ему выбирать между карьерой и любовью. Любящие тайком убежали в дом крестьянина и покончили жизнь самоубийством. Приведенная песня посвящена им, и ее поют по сей день.

² *Genius loci* (лат.) — буквально «гений места», добрый гений, дух-покровитель.

грации, вежливым разговорам; у нее ежедневно уроки танцев, и ее заставляют заучивать наизусть множество песен. Ее учат разным играм, прислуживанию на банкетах и свадьбах; она должна обладать искусством наряжаться и быть красивой. Всякую физическую способность в ней тщательно развивают. Затем следуют уроки на различных музыкальных инструментах: сначала на маленьком барабане, тзузumi, требующем большой ловкости. Потом она учится немного играть на сямисэне плектроном из слоновой кости или панциря черепахи. Восьми-девяти лет она участвует в празднествах, главным образом играя на барабане. В это время она — прелестнейшее создание и уже умеет между двумя барабанными трелями наполнить ваш кубок вином — одним наклоном бутылки, не пролив ни одной капли.

Дальше ее учение делается более жестоким. Голос ее может быть гибким, но недостаточно сильным. Поэтому ее заставляют в морозные ночи взбираться на крышу, чтобы там петь и играть, пока ее руки не окоченеют и голос не замрет.

Результатом является злейшая простуда. Но спустя некоторое время хрипота исчезает, голос крепнет и приобретает другой тембр. Только тогда она созрела для роли публичной певицы.

В качестве певицы она обыкновенно выступает впервые в двенадцать или тринадцать лет. Если она ловка и красива, ее услуг требуют часто и оплачивают хорошо — от 20 до 25 сен за час. Только тогда ее хозяин начинает возмещать свои издержки за ее обучение. И такой хозяин редко бывает великодушен. В течение многих лет он берет себе все, что она зарабатывает; ей же ничего не достается — у нее нет даже собственного платья.

В семнадцать или восемнадцать лет утверждается ее артистическая слава. Она к этому времени уже успела принять участие в нескольких сотнях празднеств, познакомиться со всеми знаменитостями города, узнать характер и жизнь большинства. Ее жизнь почти исключительно ночная, и, с тех пор как она стала танцовщицей, ей редко приходится видеть восход солнца. Она научилась пить вино, не пьянея даже тогда, когда при этом приходится поститься семь-восемь часов. Она успела сменить многих любовников: ведь до известной степени она свободна дарить улыбку каждому, кто ей приглянется; но главным образом она научилась ловко пользоваться своей чарующей силой. Она постоянно надеется найти того, кто захотел и мог бы купить ей свободу, но ее избавителю придется открыть много новых мудрейших истин в буддийских текстах о безумстве любви и о непостоянстве людских отношений.

В этот момент жизни лучше покинуть гейшу, потому что в дальнейшем ее судьба может сложиться трагично, разве что она умрет молодой. В таком случае останется совершить над ее трупом посмертные церемонии, присущие ее положению, и в память ее исполнить ряд своеобразных ритуалов.

Если вы бродите ночью по японским улицам, вашего слуха иногда вдруг коснутся странные звуки: из широких врат буддийского храма доносится треньканье сямисэна и высокие девичьи голоса. Это вас поражает. Глубокий двор наполнен внимательно слушающей толпой. Пробравшись сквозь густую толпу, стоящую на ступенях, вы увидите внутри храма двух гейш, сидящих на циновках, и третью, танцующую перед столиком. На столе — ихай, дощечка в память умершего; перед дощечкой — зажженная лампочка и благовонное курение в маленькой бронзовой вазе. Тут же маленькая трапеза из плодов и сладостей, какую обыкновенно приносят умершим. Вам говорят,



Татсуми Симура. Сирабеси

что каймио (посмертное имя) на дощечке принадлежит гейше и что товарки усопшей по известным дням собираются в храме, чтобы веселить ее душу пением и пляской. В этой церемонии может принять участие всякий, кто пожелает.

Но танцовщицы прежних времен не были похожи на современных гейш. Некоторых называли сирабёси¹, и их сердца были не слишком суровы.

Они были прекрасны; их головы украшали своеобразные шитые золотом уборы; они наряжались в роскошные, богатые платья и плясали с мечами в руках в княжеских замках.

Об одной из них дошел слух и до нас; ее судьба достойна быть рассказанной.

В прежние времена в Японии было принято — да и теперь этот обычай еще не вывелся, — чтобы молодые художники пешком обходили страну, знакомились с сельскими ландшафтами, делали с них наброски и изучали художественную сторону буддийских храмов, находящихся обыкновенно в очень красивых местностях.

Во время таких пешеходных экскурсий возникло большинство великолепных альбомов с пейзажами, свидетельствующими лучше чего-либо другого о том, что только японец способен воспроизвести японский пейзаж. Если сродниться

¹ *Сирабёси* — предшественницы гейш.

с японской интерпретацией местной природы, иностранные попытки на том же поприще покажутся нам необыкновенно плоскими и бездушными. Западный художник реально воспроизводит то, что он видит, но не больше. Японский же художник передает то, что он чувствует: настроение времени года, какого-нибудь мгновения или места. Его произведение проникнуто гипнотической силой, которою редко обладает западное искусство. Западный художник воспроизведет мельчайшие детали, а его восточный собрат скроет или идеализирует деталь: его дали тонут в тумане, виды окутаны облаками, его впечатление становится воспоминанием, в котором живо только его настроение, а из виденного лишь своеобразие и красота. Он проявляет необычайную фантазию, разжигает ее, усиливает ее жажду очарования, на которое он лишь намекает мимолетным, как молния, намеком. Но таким намеком он способен, как чародей, вызвать в зрителе ощущение известного времени, характерную особенность места. Он скорее художник воспоминаний и ощущений, чем резко очерченных линий; в этом тайна его изумительной власти, которую только тот может вполне оценить, кто сам созерцал природу, вдохновившую художника.

Прежде всего японский пейзаж совершенно безличен: человеческие фигуры лишены всякой индивидуальности, но они неоценимы как типы, олицетворяющие характерную особенность известного класса людей: вот наивное любопытство крестьянина, девичья застенчивость, геройство воина, самоуверенность самурая, забавная, прелестная неловкость детства, покорная кротость старости.

Путешествия и наблюдения породили это искусство, оно никогда не было тепличным растением.

Много лет назад один юный художник совершил пешком горное путешествие из Киото в Эдо.

В те времена было еще мало дорог, да и те были так плохи, и путешествие было так затруднительно, что существовала пословица «Коваии-ко ни ва таби во сасэ ио» — «Избалованного ребенка надо отправить путешествовать».

Но страна была такая же, как теперь. Те же кедровые и сосновые леса, те же бамбуковые рощи, те же деревни с высокими, крытыми рогожей кровлями, те же рисовые поля, террасами поднимающиеся вверх, с мелькающими кое-где большими желтыми соломенными шляпами крестьян, склоненными до земли. И на перекрестках те же статуи бога Джизо улыбались странникам, идущим на богомолье. И в те времена, как и теперь, голые загорелые дети возились в мелкой реке, и все реки радостно улыбались высокому солнцу.

Молодой художник не был коваии-ко (избалованным ребенком). Он уже много путешествовал, был закален трудностями и суровыми ночлегами и не терялся ни в каком положении. Но на сей раз он как-то вечером, после заката, очутился в стране, которая казалась такой дикой и далекой от всякой культуры, что он уже потерял надежду найти ночлег. Желая сократить дорогу через горный перевал, он заблудился.

Была безлунная ночь, и тени сосен еще больше затемняли все вокруг. Местность, куда он забрел, казалась совершенно безлюдной. Не было слышно ни звука, только ветер шумел иглами сосен да раздавался непрерывный трезвон кузнечиков. Спотыкаясь на каждом шагу, он шел дальше в надежде достигнуть берега реки и вдоль нее добраться до какого-нибудь селения.

Вдруг широкий поток пересек его путь; бурные воды катились меж скал и падали в горное ущелье. Невозможно было дальше идти, и юноша решил взобраться на

ближайшую сосну, чтобы оттуда поискать хоть признак человеческой жизни. Но и с высоты он не увидел ничего, кроме сплошных гор и холмов.

Приходилось мириться с мыслью провести ночь под открытым небом. Но вдруг в некотором отдалении, у подножия холма, показался одиноко мерцающий желтый огонек, вероятно, светящийся из какого-нибудь жилья. Он побрел по направлению огонька и скоро достиг маленького домика, очевидно, крестьянской усадьбы. Огонек проникал сквозь щель закрытой ставни. Художник ускорил шаги и постучал у ворот.

Он несколько раз тщетно стучался и звал; наконец в доме что-то зашевелилось, и женский голос спросил, что ему нужно. Голос был необыкновенно мелодичен, и речь невидимой женщины поразила его: она говорила на утонченном языке столицы. Сказав, что он, странствующий художник, заблудился в горах, он попросил, если возможно, ночлега и немного еды; в крайнем случае, он был бы благодарен и за указание, как достигнуть ближайшей деревни; он присовокупил, что за проводы мог бы вознаградить. Женщина, со своей стороны, предложила ему несколько вопросов и выразила удивление, что дом можно было видеть с указанной стороны. Но, очевидно, его ответы рассеяли в ней всякое подозрение, потому что она решительно произнесла: — Сейчас я приду; вам было бы трудно сегодня достигнуть деревни; к тому же дорога опасна.

Скоро ставни дверей раскрылись, и на пороге появилась женщина с бумажным фонарем, который она так приподняла, что свет его падал на гостя, оставляя в тени ее собственное лицо. Молча и внимательно осмотрев его, она коротко сказала:

— Подождите, я принесу воды.

Она принесла таз с водою, поставила на пороге и дала гостю полотенце. Он снял сандалии и смыл с ног дорожную пыль; после этого хозяйка ввела его в хорошенькую комнату, которая, казалось, занимала весь домик, за исключением маленькой кухни. Она постелила перед ним бумажный ковер и поставила жаровню.

Только теперь он мог рассмотреть свою хозяйку, и ее красота поразила его. Она была старше его года на три-четыре, но ее юность и красота были еще в полном расцвете; очевидно, она была не крестьянкой. Тем же нежным, мелодичным голосом она сказала ему:

— Я теперь одна и никогда здесь не принимаю гостей. Но вам было бы опасно ночью продолжать путь. Хотя по соседству и есть несколько хижин, но вам не найти их одному в темноте. Лучше всего, если вы до утра останетесь здесь. Вам, конечно, будет не очень удобно, но постель я все-таки могу предложить вам. Вы, конечно, проголодались, но, к сожалению, у меня лишь несколько *сёдзин рёри*¹, и то не из лучших, уж не взыщите!

Усталому и голодному страннику это предложение пришлось весьма по душе. Молодая женщина зажгла огонь, молча приготовила несколько блюд — растительных, местного приготовления — и поставила все это перед ним с извинением за бедность трапезы. Но пока он ужинал, она почти ни слова не говорила, и ее сдержанность смущала его. На вопросы, которые он решался предлагать ей, она отвечала односложно или только немым наклонением головы; тогда и он скоро умолк.

Он заметил, что маленький домик блестел чистотой, как зеркало, и посуда была безупречно чиста. Немногие простые предметы, расставленные в комнате, были очень изящны. Раздвижные двери гардероба и буфета, хотя из простой белой бумаги, были покрыты великолепными китайскими рисунками, изображавшими, по законам этого

¹ *Сёдзин рери* — традиционные буддийские вегетарианские блюда.



Гэкко Огата. Танцовщица

декоративного искусства, любимые темы поэтов и художников: весенние цветы, горы и море, летний дождь, небо и звезды, луну, реку и осенний ветер. У одной стены стояло нечто вроде низкого алтаря, на нем — *буцудан*¹; сквозь отворенные крошечные лакированные дверцы виднелась дощечка в память умершего; перед нею, среди полевых цветов, горела лампадка. Над этим алтарем висело необыкновенно ценное изображение богини милосердия с луною вместо ореола.

Когда юный художник окончил трапезу, хозяйка сказала ему:

— Я не могу предложить вам хорошей постели, да и занавеска от москитов только бумажная. Этой постелью и занавеской я обыкновенно пользуюсь сама, но нынче ночью у меня много дела и мне некогда будет спать. Поэтому прошу вас устроиться по возможности удобно.

Он понял, что по какой-то таинственной причине она была здесь совершенно одна и искала любезного предлога, чтобы предоставить ему единственную постель. Он всеми силами старался отклонить ее чрезмерное гостеприимство, уверяя, что он прекрасно заснет на голом полу и что москиты ничуть не помешают ему. Но она тоном старшей сестры настаивала на своем, повторяя, что у нее действительно дело, что он ее ничуть не стесняет, но что от его рыцарского чувства она ждет, что он предоставит ей поступать, как ей заблагорассудится. После этого отказываться было невозможно. Она расстелила подстилку, принесла деревянную подставку под голову, повесила бумажную занавеску от москитов, заставила постель большой ширмой и пожелала ему доброй ночи. По тону он ясно понял, что ей хочется скорее остаться одной. Он так и поступил, но совесть продолжала мучить его за весь труд и беспокойство, которые он причинил ей, хотя и против собственной воли.

Хотя молодому человеку было очень неприятно, что его хозяйка жертвовала ночным покоем ради него, однако он испытал истинное блаженство, когда ему наконец удалось вытянуться и расправить усталые члены. Не успел он положить голову на подушку, как сон одолел его и прогнал все сомнения.

Но скоро его разбудил странный шорох, похожий на быстрые неровные шаги. У него мелькнула мысль, что разбойники напали на домик. За себя ему нечего было бояться, потому что нечего было терять. Он боялся только за милую женщину, выкававшую ему столько заботы. В бумажной занавеске от москитов было два маленьких четырехугольных кусочка коричневой сетки; через одну из этих дырочек он старался выглянуть. Но между ним и тем, что происходило в комнате, стояли высокие ширмы. Он хотел уже крикнуть, но тотчас же понял, что в случае действительной опасности было бы неосторожно выдать свое присутствие раньше, чем узнать, в чем дело. Вспокоивший его шорох продолжался и становился все таинственнее. Он решил пойти навстречу опасности и, если нужно, отдать жизнь за свою хозяйку.

Быстро накинув платье, он проскользнул под бумажной занавеской, подполз к самому краю ширм и выглянул из-за них.

То, что он увидел, страшно поразило его.

¹ *Буцудан* (буквально «дом Будды» — небольшой домовый или храмовый алтарь в традиционных японских домах. Обычно *буцудан* устраивается в виде шкафа с дверцами, внутри которого помещаются объекты религиозного поклонения: статуэтки Будды, памятные дощечки в память умерших (*ихаи*) и др. Перед ним зажигают свечи и благовония.

Перед освещенным буцуданом, в роскошной золототканой одежде, молодая женщина танцевала в полном одиночестве. По одежде он узнал в ней сирабеси, но наряд ее был богаче, чем все то, что он когда-либо видел на профессиональных танцовщицах. Роскошь наряда еще увеличивала ее красоту; и в этот таинственный час в этой таинственной обстановке она казалась положительно неземной. Но обворожительнее всего ему показалась ее пляска. На одно мгновение в нем промелькнуло жуткое подозрение: ему вспомнились крестьянские суеверия, сказания о женщинах-лисицах; но буддийский алтарь и священное изображение рассеяли его страх, и он устыдился своего малодушия. Вместе с тем он понял, что подсматривает и видит то, что молодая женщина хотела скрыть от него; он понял, что долг гостя повелевает ему тотчас же снова спрятаться за ширмы. Но зрелище заворожило его. Восторженный и пораженный, он говорил себе, что никогда не видывал такой идеальной танцовщицы, и чары ее красоты охватывали его все сильнее.

Вдруг она остановилась, тяжело переводя дыхание, обернулась, чтобы поправить платье, и содрогнулась в испуге, встретившись с ним глазами. Он рассыпался в извинениях, сказал, что таинственный шорох шагов разбудил и испугал его главным образом из-за нее, вследствие уединенности ее жилища и позднего часа. Потом он признался, как сильно все виденное поразило и очаровало его.

— Простите мое любопытство, — продолжал он, — но я не могу представить себе, кто вы и где научились так изумительно танцевать. Я видел всех самых знаменитых танцовщиц Сайкио, но среди них не было равной вам. С первого взгляда я был очарован и не мог оторвать от вас восторженных глаз.

Сначала ей, видимо, было досадно, но, по мере того как он говорил, выражение ее лица изменялось, она улыбнулась и села с ним рядом.

— Нет, я не сержусь, — сказала она, — мне только жаль, что вы подсмотрели, потому что вы, конечно, сочли меня безумной, видя, что я пляшу совершенно одна. А теперь я должна объяснить вам все это.

И она поведала ему печальную повесть свою.

Тогда он вспомнил, что мальчиком слышал ее имя — ее профессиональное имя, — имя самой известной сирабеси, столичной любимицы, внезапно исчезнувшей в момент апогея славы и красоты своей — неизвестно почему и куда...

Она бросила славу и блеск и бежала с юношей, который ее полюбил. Он был беден, но их совместных средств было довольно для скромного счастья в деревне. Они выстроили домик в горах, где провели несколько лет, безмятежно счастливые, живя только друг для друга.

Он боготворил ее. Его величайшим наслаждением было любоваться ее пляской. Каждый вечер он играл какую-нибудь из их любимых мелодий, а она танцевала. Но вдруг во время суровой зимы он захворал и умер, несмотря на ее нежный уход. С тех пор она жила совершенно одна со своими воспоминаниями, совершая все ритуалы верности и любви, которыми чтут умерших.

Ежедневно она ставила перед памятной дощечкой обычные дары, а по вечерам она плясала для него, как при жизни его. Таково было объяснение тому, что видел молодой путешественник.

— Невежливо было с моей стороны будить утомленного гостя, — продолжала она. — Но я дождалась, пока вы крепко заснули, и старалась плясать как можно тише. Надеюсь, вы мне простите, что я невольно потревожила вас.

Окончив свое объяснение, она приготовила чаю, который они выпили вместе, после чего она так убедительно стала упрашивать его снова лечь, сделать это ради нее, что ему пришлось опять отправиться за ширмы под бумажную занавеску; он так и сделал, рассыпаясь в извинениях и благодарности.

Он спал превосходно. А когда он проснулся, солнце уже высоко стояло на небе. Встав, он нашел приготовленный маленький простой завтрак. Несмотря на голод, он почти ни до чего не дотронулся из боязни, что его хозяйка из гостеприимства отдала ему свою часть.

После этого он стал прощаться. Но о плате за ночлег и труды она и слышать ничего не хотела.

— То, что я могла предложить, не стоит платы, — сказала она, — что я дала, я дала от души. Поэтому прошу простить неудобства и только помнить мою добрую волю, которая, к сожалению, ничего лучшего не могла дать.

Он еще попытался уговорить ее взять хотя бы что-нибудь за труды, но видя, что его настойчивость огорчает ее, распростился, стараясь, как умел, выразить ей свою благодарность.

Сердце его нежно затосковало, когда пришлось расстаться. Красота и душевная прелесть ее обворожили его больше, чем он сам сознавал.

Она указала ему тропинку, по которой он должен был идти, и провожала его глазами, пока он спускался с горы и не исчез за поворотом. Час спустя он уже очутился на знакомой горной тропе. Вдруг он вспомнил, что забыл назвать ей свое имя. Он замедлил на мгновение шаг, потом сказал, махнув рукою:

— Ах, не все ли равно! Ведь я навсегда останусь тем же безвестным бедняком!

И отправился дальше.

Много лет прошло, и многое изменилось. Художник стал стариком. Но, прежде чем состариться, он стал знаменит. Очарованные его чудными произведениями владетельные князья наперерыв старались выказать ему свое расположение; он стал богат и знатен и жил в собственном роскошном доме в столице. Молодые художники из разных провинций были его учениками, жили с ним и, пользуясь его уроками, всячески старались ему угождать. Во всей империи знали его.

Раз к его дому подошла старушка и сказала, что желала бы видеть его. Слуги, видя ее бедную одежду, сочли ее за обыкновенную нищенку и грубо спросили, что ей нужно. Когда она ответила им, что может сказать о цели своего посещения только самому благородному господину, они подумали, что она полоумная, и спровадили ее, сказав, что их хозяин уехал из города и неизвестно, когда он вернется.

Но старушка возвратилась и приходила каждый день в течение нескольких недель; а ее каждый раз гнали под новым предлогом: «сегодня он болен», «сегодня он очень занят» или «сегодня у него много гостей и не приказано никого принимать».

А она все возвращалась, каждый день в тот же час, все с тем же узлом в полинявшем платке.

Наконец слуги, не зная, что делать, решили все-таки доложить о ней своему господину. Они пришли к нему и сказали:

— У ворот дома нашего благородного господина стоит древняя старушонка, вероятно, нищенка; она уже приходила более пятидесяти раз и просила быть допущенной к нашему господину; и не хотела поведать нам, что ее приводит сюда; она говорит, что

может сообщить об этом только самому господину. Мы гнали ее, потому что она казалась нам сумасшедшей, но она все возвращалась, и поэтому мы сочли за лучшее доложить об этом нашему господину, дабы он сам решил, как поступить с нею.

Тогда художник сердито крикнул:

— Почему мне раньше никто не доложил об этом?

Он сам вышел к воротам и ласково заговорил со старой женщиной; он еще не забыл своей прежней бедности и спросил ее, не нужно ли ей денег.

Но она ответила, что ей не нужно ни денег, ни пищи, — ей хотелось бы только, чтобы он написал для нее картину. Это желание очень удивило его, но он все-таки ввел ее к себе в дом.

Войдя в вестибюль, она присела на пол и начала развязывать узел. В развернутом узле художник увидел богатые золототканые платья, но изношенные и полинявшие — остатки роскошной одежды сирабеси прежних времен. Пока старушка бережно вынимала платья одно за другим, стараясь разгладить их дрожащими пальцами, у художника возникло неясное воспоминание; сначала туманное, потом оно вдруг озарилось. Будто молния прорезала тьму, — так внезапно, отчетливо и ясно воскресло в его памяти прошлое: одинокий домик в горах, где он раз пользовался неоплаченным гостеприимством; изящная комнатка с бумажной занавеской от москитов, приготовленный ему ночлег, теплящаяся лампадка перед буддийским алтарем, чарующая прелесть пляшущей женщины в одинокой, безгласной ночной тишине.

И, к неопisanному удивлению дряхлой гостьи, он — любимец сильных мира сего — низко ей поклонился и вымолвил:

— О, простите, что я не тотчас узнал вас! Но, с тех пор, как мы виделись, прошло более сорока лет. Но теперь я вспомнил и наверное знаю: вы приняли меня раз в своем доме, вы предоставили мне свою единственную постель; я видел, как вы танцевали, а вы поведали мне свою повесть. Вы были сирабеси — я вашего имени никогда не забуду.

Пока он говорил, старушка стояла перед ним, смущенная, пораженная, не зная, что отвечать. Ведь она была так стара, так много перестрадала, и память начала изменять ей. Но он говорил с нею все ласковее, напомнил ей многое из того, что она ему рассказала, описал ей с такими подробностями дом, в котором она обитала тогда, что наконец и в ней пробудилось воспоминание, и она воскликнула со слезами радости на ресницах:

— Наверное, богиня, склоняющаяся к земле на звуки молитвы, привела меня к вам. Но тогда, когда мое недостойное жилище удостоилось посещения высокочтимого гостя, я была не такой, как теперь! Поэтому мне кажется чудом нашего Великого Учителя Будды, что господин узнал меня!

И она рассказала ему обыкновенный конец своей печальной судьбы.

С течением времени нищета заставила ее расстаться со своим маленьким домом, и, уже старушкой, она вернулась в столицу, где имя ее уже давно было забыто.

Ей было очень больно потерять домик, но еще больнее оттого, что она стала такой старой и слабой и не могла больше танцевать каждый вечер перед алтарем, чтобы развлечь усопшую душу своего возлюбленного. И поэтому ей захотелось иметь свой портрет в костюме и в момент пляски, чтобы повесить его перед алтарем.

Она всем сердцем молила об этом богиню Каннон; и ее выбор пал на этого художника, на его талант и известность, потому что для дорогого покойника ей хотелось



上第句内 吹月

唐
月
佐
野
喜



Утагава Кунисада. Танцующие девушки

не обыкновенной картины, а действительного произведения искусства. И вот она принесла с собою те платья, в которых она некогда танцевала, в надежде, что знаменитый художник будет столь великодушен и напишет ее в этом наряде.

Художник выслушал ее, ласково улыбаясь, и ответил:

— Для меня будет большим удовольствием исполнить ваше желание и написать эту картину. Сегодня мне необходимо закончить спешное дело; но, если вы завтра вернетесь, я напишу картину в точности по вашему указанию и так хорошо, как только сумею.

Тогда она сказала:

— Я еще не поведала великому художнику, что смущает мою душу: ведь за такое большое благодеяние я ничем не могу отплатить; у меня ничего нет кроме этого старого платья, но оно ничего не стоит, хотя и было когда-то очень ценным. Но я все-таки смею надеяться, что великий художник примет его — оно теперь стало редкостью: сирабеси перевелись, а нынешние майко не носят такой одежды.

— Об этом не думайте, — отказывался художник. — Я так рад, что теперь представляется случай оплатить вам хоть часть моего старого долга. Итак, завтра я начну писать ваш портрет в точности по вашему указанию.

Рассыпаясь в благодарностях, она трижды поклонилась ему до земли и сказала:

— Пусть простит меня господин, если я еще попрошу еще об одном: мне хочется быть написанной не такою, какова я теперь, а молодой — такою, какою господин меня видел когда-то.

— Я вас отлично помню, — ответил художник, — вы были прекрасны.

Отблеск радости осветил ее морщинистое лицо. Благодарная, она еще раз поклонилась ему и воскликнула:

— Итак, все исполнится, о чем я молилась и на что надеялась! И если господин помнит мою жалкую юность, я заклинаю его не изображать меня старой и дряхлой, а такою, какою я была в те времена, когда он видел меня и соблаговолил найти меня недурной. О великий художник! Творец! Верни мне юность, верни красоту, чтобы я казалась прекрасной той душе, ради которой я, недостойная, молю об этом! Дорогой мой увидит творение твое и простит мне, что я состарилась и не могу больше плясать!

Художник еще раз попросил ее не тревожиться ни о чем и сказал:

— Завтра непременно приходите, и я напишу ваш портрет. Я напишу вас юной, прекрасной и так буду стараться, как если бы писал портрет самой богатой женщины всей страны. Будьте уверены в этом и приходите в назначенный час.

Старуха пришла в назначенный час, и художник написал картину на мягком белом шелке. Не то он писал, что видели его ученики, — нет, он воспроизвел свое воспоминание, воспроизвел ее ясноокой, как птичка, гибкой, как бамбук, светозарной, как теннин¹, в ее шелковой, золотканой одежде. Его волшебная кисть воскресила увядшую красоту, и она вновь расцвела. Когда какэмоно² было готово и снабжено его печатью, он натянул его на дорогой шелк, укрепил на кедровых палочках и привесил к нему гири из слоновой кости и шнурок. Потом он все бережно уложил в ящик из белого дерева и передал старой сирабеси. Ему очень хотелось дать ей и денег; но, сколько он ни просил, она не приняла помощи от него.

¹ Теннин — райская дева, буддийский ангел (тен — небо).

² Какэмоно — картинки в форме свитков, которые вешаются, развернутыми сверху вниз.

— Нет, — говорила она сквозь слезы, — мне ничего не нужно; картина была моим единственным последним желанием, о ней я молилась; теперь, когда моя молитва услышана, я знаю, что в этой жизни мне больше нечего желать. И если я умру так, без желаний, мне будет нетрудно пойти по пути, намеченному Буддой. Одна только мысль печалит меня: я ничего не могу предложить великому художнику, ничего, кроме этой одежды, в которой я когда-то плясала. Заклинаю его принять ее, хотя цена ей невелика. И ежедневно я буду молиться: да будет счастливо его будущее существование за безграничную доброту, которую он мне оказал.

Художник, улыбаясь, старался отклонить ее благодарность:

— Что же я сделал особенного, — говорил он, — право же ровно ничего. Что касается одежды, то я с удовольствием возьму ее, если вы этого желаете; она во мне воскресит приятные воспоминания о той ночи, когда вы ради меня, недостойного, отказались от всех удобств и ничего не хотели взять за это в уплату. Я еще в долгу у вас. А теперь скажите мне, где вы живете, чтобы я мог видеть картину на месте.

Он в душе решил впредь заботиться о ней. Но она извинилась словами, полными смирения, и отказалась от указаний, говоря, что ее жилище слишком убого, чтобы столь благородный гость его посетил. И снова полились потоки благодарностей. Потом, прижав свое сокровище к сердцу, она со слезами радости на глазах удалилась.

Тогда художник позвал одного из своих учеников и сказал ему:

Последуй незаметно за этой женщиной и скажи мне, где она живет.

И юноша незаметно последовал за нею. Долго он не возвращался, а когда вернулся, то улыбался смущенно, будто ему предстояло сообщить нечто неприятное.

— Учитель, — сказал он, — я последовал за нею за город к высохшему речному руслу — туда, где казнят преступников; там я увидел нищенскую хижинку — такую, в каких живут парии¹, — и там она обитает! Одинокое, безнадежно грустное место, учитель!

Художник ответил:

— Завтра же ты меня проводишь туда; пока я жив, я буду заботиться о ее питании, одежде, удобстве.

А когда он увидел удивление своих учеников, он рассказал им повесть о сирабеси, и они поняли слова его и поступок.

На следующее утро, через час после восхода солнца, художник отправился со своим учеником к высохшему речному руслу, далеко за городской чертой, к приюту отверженных.

Вход в маленькое жилище был заперт ставнями. Художник стучал, но никто не откликался. Тогда он заметил, что ставни не были заперты изнутри; он потихоньку толкнул их и позвал. Когда и на зов никто не ответил, он решил войти. В нем необыкновенно живо промелькнуло воспоминание о той ночи, когда он, усталый странник, стоял у одинокого домика среди гор и просил приюта.

Осторожно войдя, он увидел женщину, закутанную в старый, полинявший футон²; она лежала и, очевидно, дремала.

На простой деревянной полке он узнал буцудан с памятной дощечкой, виденный им сорок лет тому назад; и теперь, как тогда, крошечная лампадка горела перед каймио.

¹ *Пария* — здесь: отверженный, бесправный (*примеч. ред.*).

² *Футон* — толстый хлопчатобумажный матрац, расстилаемый на ночь и убираемый утром в шкаф.

Какэмоно богини милосердия с лунным ореолом исчезло, но на стене, напротив алтарчика, висело его собственное произведение, а под ним офуда¹ — офуда Хитокото-Каннон, той Каннон, которую можно молить один только раз, потому что она исполняет только одну просьбу.

Больше ничего не было в этом безнадежно грустном жилище, только одежда странницы, нищенский посох и чашечка для сбора милостыни еще лежали в углу.

Но художник не обратил внимания ни на что. Ему хотелось скорее разбудить и обрадовать старушку. Он весело позвал ее по имени — позвал раз, два раза, три...

И вдруг увидел, что она мертва... Но когда он заглянул ей в лицо, то поразился, потому что лицо не было старым... Призрак юности коснулся его и придал ему нежную прелесть; горестные морщины и складки, как чудом, разгладились рукою всемогущего художника — Творца...

¹ *Офуда* — листки с изображением Будды и святых со священными текстами; они раздаются священниками и имеют значение талисманов, охраняющих от болезней и опасностей, и индульгенций.

НА СТАНЦИИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Накануне из Фукуоки по телеграфу пришла весть о задержании тяжкого преступника. Он был приговорен к смертной казни и его ждали с двенадцатичасовым поездом в Кумамото.

Однажды ночью, четыре года тому назад, вор забрался в один дом, связал обитателей, похитил множество драгоценностей и скрылся. Полиция быстро изловила его. Но по пути в тюрьму ему удалось разорвать оковы, вырвать у полицейского саблю, убить его и скрыться; все это было делом одного мгновения. С тех пор о нем не было ни слуху ни духу.

И вот через четыре года один из полицейских чиновников случайно посетил тюрьму в Фукуоки; в каторжном отделении его внезапно поразило одно лицо, лицо, четыре года тому назад неизгладимо запечатлевшееся в его памяти.

— Кто этот человек? — спросил он.

— Вор, — ответили ему, — у нас он записан под именем Кузабэ.

Чиновник подошел к заключенному и сказал ему:

— Тебя зовут не Кузабэ! Номура Тейхи, четыре года тому назад в Кумамото ты совершил убийство.

Преступник сознался во всем.

Вслед за большой толпой народа и я отправился на вокзал, чтобы увидеть преступника. Я ждал порывов гнева со стороны толпы; я боялся даже насилия. Убитый пользовался большой любовью; в толпе были, конечно, и родственники его; а толпа в Кумамото свирепа. Я ждал также большого наряда полиции. Но ничего подобного не было.

Когда поезд остановился, моим глазам представилась обычная, шумно-суетливая картина железнодорожной сутолоки: нервная беготня путешественников, спешащих, пересекающихся и не замечающих друг друга; крик маленьких торговцев, предлагающих газеты и лимонад. Нам пришлось прождать около пяти минут за барьером. Но вот двое полицейских протолкнули в дверь преступника, коренастого малого; с опущенной на грудь головой, со связанными на спине руками, он остановился в дверях рядом с караульным.

Тогда, чтобы лучше видеть, толпа хлынула вперед, напряженная, безмолвная. Вдруг громкий, внятный голос полицейского прервал молчание:

— Сугихара Сан! Сугихара О-Киби! Тут ли она?

Стоявшая рядом со мною нежная маленькая женщина с ребенком за спиной ответила:

— Ха-и!

И двинулась вперед. Это была вдова убитого; ребенок — их сын.

Полицейский сделал знак, и толпа расступилась; вокруг преступника и его конвоя образовалось свободное место. Там стояла вдова со своим мальчиком и смотрела

убийце прямо в лицо. Полицейский обратился не к женщине, а к ребенку; и говорил он тихо, но так внятно, что до меня ясно долетал каждый звук:

— Деточка, смотри, вот человек, который убил твоего отца. Тебя еще не было на свете, ты еще покоился во чреве матери. Этот человек виноват в том, что ты не знал отеческой ласки. Взгляни на него, — полицейский грубо схватил преступника за подбородок и заставил его поднять голову, — взгляни на него, мальчик, не бойся, это долг твой, — смотри на него!

Широко раскрытыми, испуганными глазами мальчик смотрел из-за плеча матери; рыдание вырвалось из его груди, слезы ручьем хлынули из глаз, но он послушно и пристально продолжал смотреть в судорожно подергивающееся лицо преступника.

Толпа безмолвствовала, затаив дыхание.

Лицо преступника исказилось. И вдруг, несмотря на оковы, он бросился на колени, ударился лицом о землю, и в голосе его прозвучало такое страстное, такое жгучее отчаяние, что все сердца дрогнули и сжались:

Прости меня, малютка, прости! Не по злобе я убил отца твоего, — страх, желание спастись заставили меня пойти на это преступление. Страшный, страшный грех я совершил по отношению к тебе; но я искупаю свой грех; я иду на казнь; я хочу умереть, умираю охотно, только будь милосерд, малютка, прости меня!

Ребенок все еще плакал.

Тюремщик поднял с земли рыдающего преступника, толпа расступилась направо и налево, чтобы дать им дорогу. А когда загорелый конвойный проходил мимо меня, я увидел то, чего еще никогда не видел и, вероятно, не увижу больше никогда: я увидел слезы на глазах японского полицейского.

Толпа рассеялась, а я остался один в глубоком размышлении о внутреннем смысле только что разыгравшейся сцены.

Справедливость довела до сознания виновного весь ужас преступления, явив ему потрясающее зрелище последствий его, и вызвала в преступнике отчаянное раскаяние, жаждущее смерти и прощения.

А народная толпа, по природе свирепая, дикая, мстительная, при виде этого раскаяния смягчилась и все поняла; вид сокрушенного преступника преисполнил ее великой печалью, и она интуитивно почувствовала, как жизнь непосильно тяжела и как слаб человек.

Но для Востока характернее всего то, что в преступнике было затронуто отеческое чувство, эта потенциальная любовь к ребенку, так глубоко заложенная в душе каждого японца...

Рассказывают, будто известный преступник, Исхикава Гоэмон, во время ночного нападения так был очарован улыбкой ребенка, протягивающего к нему ручонки, что совершенно забыл о своем преступном намерении и, заигравшись с малюткой, пропустил удобный момент для выполнения своего плана.

Этот рассказ очень правдоподобен. В полицейских анналах¹ ежегодно приводятся факты сострадания, жалости и трогательной заботливости профессиональных преступников по отношению к детям.

¹ *Анналы* — годовые записи событий, связанных с жизнью города, области и страны. Древний аналог русских летописей (*примеч. ред.*).



Эйсэн Кэйсай

ЮКО

Кто найдет бесстрашную женщину,
Далеко с дальнего берега звучит ее слава.
*Вульгата*¹

Тэнси-Сама го-симпай! — Сын неба объят великой печалью!

В городе жуткая тишина, будто случилось народное бедствие. Даже странствующие разносчики выкрикивают товар тише обыкновенного. Закрыты театры, увеселительные заведения, выставки, даже цветочные киоски. Не слышно пиров; даже в царстве гейш умолкли звуки сямисэна. В больших ресторанах не видно празднично накрытых столов, редкие посетители говорят вполголоса, нет обычной улыбки на лицах прохожих. Всюду вывешены объявления, что пиры и увеселения отложены на неопределенное время.

Что же случилось? Потрясающее несчастье, народное бедствие, ужасное землетрясение? Разрушена столица? Объявлена война?

Ничего подобного. Одно лишь известие о царской печали вызвало всюду, во всех городах всей страны, печаль народа, — доказательство глубокого созвучия между народом и его властелином. И следствием этого созвучия является всеобщее непосредственное желание загладить обиду, отомстить за злодейство.

Разнообразны проявления этих чувств, но они в большинстве случаев исходят непосредственно из глубины сердца и захватывают своей простотой. Отовсюду шлют царскому гостю письма, сочувственные телеграммы, своеобразные подарки. Богатые и бедняки отдают раненому цесаревичу самое драгоценное, что есть в доме, что передается по наследству.

Царю готовят несчетные послания, — и все это от частных лиц, добровольно.

Вот добрый старый купец приходит ко мне с просьбой сочинить на французском языке телеграмму, выражающую глубокую скорбь всех граждан по поводу покушения на жизнь цесаревича, — телеграмму императору всяя Руси. Я стараюсь сделать все что могу, но уверяю его, что совершенно не знаю, как составляют телеграммы на высочайшее имя.

«Это ничего не значит, — говорит он, — мы пошлем телеграмму японскому посланнику в Санкт-Петербург, — он исправит ошибки».

Я спрашиваю его, отдаст ли он себе отчет, сколько стоит такое послание. Оказывается, да: немного более ста иен, — сумма значительная для маленького купца в Матсуэ.

Несколько суровых старых самураев отнесли к случившемуся менее любовно и кротко. Сановнику, приставленному к особе цесаревича, они с нарочным посылают драгоценную саблю и категорическое требование доказать свое мужество и горе, как подобает самураю, совершив тотчас же над собой харакири.

¹ *Вульгата* — латинский перевод Священного Писания (*примеч. ред.*).



Утагава Кунисада. Самоубийство



Ведь у этого народа, как и у его синтоистских богов, двойственная душа. У него ни́ги-митама¹ и ара-митама² — дух нежный и дух суровый. Нежный дух хочет лишь искупления, суровый дух требует мести. И всюду теперь в темном сознании народа чувствуется таинственная вибрация этих двух противоположных импульсов, как двух электрических токов.

Далеко, в Канагаве, в доме зажиточной семьи, жила девушка, служанка, по имени Юко; Юко — самурайское имя прежних времен, и означает оно бесстрашие.

Сорок миллионов печалются, но она более всех. Как и почему — этого никогда до конца не понять западному уму. Мы можем иметь лишь слабое представление о чувствах и побуждениях, руководящих ею; душа хорошей японской девушки нам лишь отчасти понятна. В ней скрытая любовь, глубокая, молчаливая; нетронутая невинность, чистая, как лотос, ее буддийский символ; чувствительность в ней нежная,

¹ Ни́ги-митама — нежный дух (тама — дух).

² Ара-митама — суровый дух.



Тиханобу Тоёхару. Торжество в императорском дворце

как белоснежный налет сливового цвета; презрение к смерти — наследие самураев, — облеченное в кротость, чарующую, как мелодия; глубокая, простая, сердечная вера, делающая богов и Будду друзьями, к которым без страха можно обращаться за всем, о чем просить позволяет японская вежливость. Но все это под властью одного чувства, которому ни на одном западном языке нет названия.

Слово «верность» слишком бледно; это скорее мистическая экзальтация, преданность, поклонение без границ и без меры, желание отдаться всецело, пожертвовать собою для Тэнси-Сама.

Это чувство сверхиндивидуально. В нем нетленная сила и вечная воля сонма духов, касающихся ее жизни и длинной вереницей уходящих в глубокую тьму забытых времен. А Юко лишь греза духов, отражение прежних времен, не похожих на наши; в те времена, в течение бесчисленных веков, все жили, чувствовали и мыслили как один, иначе, отлично от нас.

Тэнси-Сама го-симпай.

И девушку охватило жгучее желание что-нибудь дать; желание непреодолимое, но безнадежное: ведь у нее ничего не было, кроме крошечных сбережений от ее заработка.

Но жажда растет и не дает ей покоя. Ночью она думает, мечтает, спрашивает, а умершие отвечают за нее.

— Что я могу дать, чтобы усыпить печаль Великого?

— Себя, — отвечают безмолвные голоса.

— Но как? — с удивлением вопрошает она.

— Родителей у тебя нет, на твоей обязанности не лежит приносить жертвы умершим. Так будь же ты нашей жертвой! Отдать жизнь для Великого — высшая радость, святейший долг.

— Где? — вопрошает она.

— В Сайкио, — отвечают безмолвные голоса, — под воротами тех, кои по старому обычаю обрекали себя на смерть!..

Утренняя заря занялась, и Юко поднялась, приветствуя солнце. Исполнив свои утренние обязанности, она попросила и получила позволение уйти из дома. Она надела лучшее платье, белые таби¹, опоясалась самым блестящим кушаком, — надо и внешнею быть достойной отдать жизнь за Тэнси-Сама.

Она поехала в Киото. В окне железнодорожного вагона мелькали прекрасные виды. Ясен был солнечный день, прекрасны синие дали, прекрасен весенний аромат, опьяняющий, как мечта. Она любовалась красотой природы, как любовались предки ее, — западному глазу недоступна эта природа, разве что в волшебном, чарующем воспроизведении старых японских рисунков. Она ощущала радость бытия, но ее собственная жизнь в будущем не имела цены для нее. Ее не печалила мысль, что, когда она скажет жизни «прости», мир останется столь же прекрасным. Буддийская меланхолия не омрачала ее, она безраздельно доверялась древним богам...

Они улыбались ей из сумерек священных дубрав, из древних святых храмов на далеких холмах. Она думала, что, быть может, один из них теперь с нею, тот, кто для бесстрашных делает могилу прекраснее дворца, тот, кого народ называет Синигами², властителем радостной смерти...

Будущего она не боялась. Ведь она всегда будет созерцать восход священного солнца над горной вершиной, улыбку богини-луны, отраженную в волнах морских, нетленные чары сменяющихся времен года. В веренице несчетных годов она пронесется по полям красоты, над туманным царством теней дремлющих кедров. Ждет ее одухотворенная, бестелесная жизнь в дуновении легкого ветерка, нежно касающегося белоснежного цвета вишневых деревьев, в улыбке играющих вод, в счастливом шепоте зеленого молчания...

Но сначала она увидит близких своих, ждущих ее в прохладной тени высоких холмов. Приветствуя ее, они скажут: «Ты хорошо поступила, как истая дочь самурая. Войди, дитя! В честь тебя мы сегодня разделим трапезу с богами!».

¹ Таби — традиционные японские носки высотой до лодыжки с раздельным большим пальцем..

² Ками — 1) божество, божественность, Бог; 2) то, что выше, что над нами; 3) человеческий дух, достигнувший после смерти сверхчувственной силы; 4) умершие, властвующие над нами. Эти духи, различные по величию и могуществу, составляют неземную иерархию, соответствующую иерархиям древнеяпонского общества. Хотя ками выше живущих, но последние в состоянии доставлять им радость и горе, веселить или печалить их, даже улучшать их положение в царстве теней.



Японская бритва

Уже светало, когда девушка приехала в Киото. Разыскав гостиницу, она пошла в цирюльню.

— Пожалуйста, наточите как можно острее, — сказала она хозяйке, передавая ей очень узкую бритву, необходимую принадлежность дамского туалета в Японии. — Я подожду, пока будет готово.

Развернув только что купленную газету, она ищет последние новости из столицы. Служащие с любопытством смотрят на нее, удивленно любясь ее юной прелестью и сдержанностью, не допускающей близости. Лицо ее по-детски спокойно; но при чтении о неутешном горе императора в ее сердце вновь воскресают старые призраки...

«И я хотела бы, чтобы мой час скорее настал, — гласит ее исходящий из глубины сердца ответ, — но надо еще ждать».

Наконец она получает изящную, безупречно отточенную бритву, платит ничтожную цену и возвращается в гостиницу.

Там она пишет два письма: одно — последнее «прости» брату; другое — безупречное прошение на имя высоких сановников в столицу с просьбой, чтобы Тэнси-Сама считал свою скорбь утоленной, так как молодая, хотя недостойная жизнь добровольно отдана в искупление.

Когда она снова выходит из дома, царит глубокая тьма, как всегда пред рассветом. Тихо кругом как в могиле. Только кое-где мерцает тусклый свет одинокого фонаря; странно и жутко стучат ее маленькие деревянные туфли. Только звезды смотрят на нее с высоты.



Скоро она очутилась под глубокими воротами здания присутственных мест. Она скрывается в широкой тени, шепчет молитву, склоняет колени. Потом, следуя древнему обычаю, длинным шелковым кушаком крепко стягивает юбки и завязывает узел над коленями: что бы ни случилось в момент бессознательной агонии — дочь самурая и после смерти должна быть пристойной. Потом она спокойно и уверенно перерезывает себе горло; кровь ручьем течет из него. В таких случаях дочь самурая не ошибается: она знает положение артерий и вен.

В сумерках утренней зари полиция находит ее, холодную, окоченевшую; рядом с нею два письма и жалкий маленький кошелек с пятью иенами¹ и несколькими сенами — достаточно для бедного погребения. Девушку уносят вместе с ее убогим достоянием.

¹ *Иена* — японская монетная единица; 1 иена = 100 сен = 1000 рин ≈ 96 копеек.



Кунитэру III. Император Японии и Николай 2

Весть распространяется с быстротой молнии по всем городам. Она достигает столичных газет, и циничные журналисты делают разные предположения, ищут пошлые мотивы для ее жертвы: тайный позор, семейное горе, несчастная любовь.

Но ведь вся ее жизнь была так проста и прозрачна, ничего в ней не было ни скрытого, ни малодушного, ни бесчестного — нераспустившийся цветок лотоса не может быть девственной и невинной. Так что даже циники стали писать о ней только достойное и благородное, как подобает писать о дочери самурая.

Сын неба, услышав об этом, понял, как сильно его любит народ, и соблаговолил оставить печаль.

А министры в тени трона прошептали друг другу: «Пусть все изменчиво, лишь бы сердце нации оставалось неизменно».

УЛИЧНАЯ ПЕВИЦА

К моему дому подошла уличная певица с сямисэном; ее вел мальчик лет семи. Она была одета в крестьянскую одежду, голова повязана синим платком. Она была некрасива от природы и, сверх того, жестоко обезображена оспой.

Не успела она появиться, как ко мне во двор стеклось много народа, главным образом, молодые матери и няньки с маленькими детьми на спине, но пришли и старики, и старухи, прибежали и рикши со своих стоянок у ближайшего угла; весь двор был полон.

Женщина села на пороге моего дома, настроила сямисэн, проиграла несколько тактов аккомпанемента, и слушателей сразу охватили волшебные чары: они глядели друг другу в глаза, улыбаясь, недоумевая...

Из уст, обезображенных жестокой болезнью, вырывался чарующий голос, юный, глубокий, невыразимо трогательный, задушевный и сладкий.

«Эта женщина поет или нимфа лесная?» — спросил один из слушателей.

Только женщина, но одаренная великим талантом. Она так искусно владела своим инструментом, что затмила бы самую ученую гейшу; но где же у гейши найти такой голос и песни такие? Она пела, как поет в поле пахарь, пела в ритмах, подслушанных, быть может, у цикады или у соловья; пела с интервалами в полутон и четверть тона, каких никогда не услышишь в западной музыке.

Она пела, а из глаз слушающих катились тихие слезы. Слова были мне непонятны, но, слушая этот голос, я стал понимать и грусть, и нежность, и долготерпение японской души; голос нежно проникал в мое сердце, жалуясь на что-то, чего-то ища, чего, может быть, и не было в нем никогда... Будто незримая ласка трепетно носилась вокруг; безмолвно воскресали давно забытые времена и места, сплетаясь с каким-то таинственным чувством, оторванным от времени и пространства. Потом я увидел, что певица слепа.

Когда пение умолкло, мы позвали женщину в дом, чтобы расспросить, какова ее жизнь. Она некогда знала лучшие дни и, будучи молодой девушкой, научилась играть на сямисэне. Маленький мальчик — ее сын; муж разбит параличом; оспа разрушила ее глаза. Но она очень сильна и может пройти много миль. Когда мальчик устает, она несет его на спине. Она в состоянии содержать и ребенка, и мужа, прикованного к постели. Ведь своим пением она всюду и всех трогает до слез; ей за это дают медные деньги и еду. Такова была история ее жизни.

Мы дали ей немного денег, накормили ее, и она ушла, держась за мальчика.

Я купил экземпляр спетой ею баллады («Печально-напевная повесть о Тамайонэ и Такеиро», сочинение Таканака Ионэ, четырнадцатый номер четвертого отделения «Ниппон-баси» в Южном округе города Осака); в ней пелось о недавно случившемся двойном самоубийстве.

Это была ксилография с двумя маленькими картинками. На одной были изображены мальчик и девочка, погруженные в неутешное горе. На другой, заключительной



Китагава Утамаро. Женщина с сямисэном

виньетке, был нарисован письменный столик, угасающая лампа, открытое письмо, чаша с зажженным курением и ваза с шикими¹, священным растением, употребляемым во время буддийских поминальных жертвоприношений. Из текста, написанного своеобразным курсивом, похожим на вертикальное стенографическое письмо, можно перевести лишь следующие строки:

«В известном всему миру городе Осака жили Тамайонэ и Такеиро, оба из секты синсю.

О, как печальна судьба их!

Тамайонэ была молода и прекрасна.

Такеиро, юный рабочий, ее увидал, а увидав, полюбил. Они поклялись любить друг друга всю жизнь.

О, горе тому, кто гейшу полюбит!

В знак любви они на своих руках выжгли дракона; и жизнь им казалась прекрасной и светлой. Но он был беден; у него не было пятидесяти пяти иен, чтобы выкупить гейшу.

О горе, горе в сердце Такеиро!

Если судьба разлучает их в этой жизни, пусть смерть соединит их. Они клянутся отправиться вместе в меидо. Она знает, что подруги принесут на их могилу цветы и куренья.

О горе, они исчезнут, как утренняя роса!

Тамайонэ поднимает бокал с чистой водой, им обручаются обреченные на смерть.

О, как печальна судьба их! Как горестна гибель двух юных жизней!..»

Заурядная повесть, рассказанная обыкновенными словами; но голос женщины придавал песне чарующую силу.

Певица ушла. Но казалось, что ее голос еще не умолк; он продолжал трепетать в моем сердце, наполняя его грустью и нежным, сладостным счастьем: необычайное чувство, заставившее меня задуматься над тайной этих магических звуков.

Я думал: «Пение, мелодии, музыка вообще — не что иное, как эволюция непосредственного выраженья наших чувств, эволюция первобытного языка, выражающего в звуках горе, радость и страсть. Этот язык звуковых сочетаний так же подвержен изменению, как всякий другой. Поэтому мелодии, глубоко трогающие нас, для японского слуха не имеют ни малейшего значения; они не будят душевных струн того народа, чья психика от нашей так далека, как голубой цвет от желтого...»

Но отчего же меня, чужестранца, так сильно волнует восточная песнь, спетая слепой женщиной из народа, — песнь, которой я даже научиться не мог бы?!

Вероятно, в голосе певицы звучало нечто, стоящее выше и вне опыта отдельной нации, причастное к чему-то бесконечному, как сама жизнь, и вечному, как познание добра и зла.

Двадцать пять лет тому назад, однажды в летний вечер в лондонском парке я услышал девичий голос; он произнес, обращаясь к кому-то: «Спокойной ночи!».

Только два маленьких слова: «Спокойной ночи!».

Я не знал, кто она; я не видел лица говорившей и никогда не слышал больше этого голоса.

С тех пор времена года сменились уже сто раз, но и теперь при воспоминании об этом голосе мою душу волнует трепет непонятого, двойственного чувства: радость

¹ *Шикими* — японский бадьян.



Судзуки Харунобу. Двое влюбленных играют на сямисэне

и горе, горе и радость — они принадлежат не мне, не моей единичной, вспыхнувшей на мгновение жизни, они причастны предсуществованиям и угасшим светилам...

Ведь очарование голоса, слышанного нами лишь раз, не может быть от мира сего. Это только отголосок бесчисленных жизней, далеких, забытых. Никогда, конечно, не было двух голосов, совершенно похожих. Но язык любви всегда одинаков, одинакова нежность любовного слова в мириадах миллионов голосов всего человечества.

В силу унаследованной привычки даже новорожденный ребенок понимает ласковый звук. И звуки симпатии, сострадания, печали — мы их знаем, мы унаследовали это знание. Так голос слепой женщины на далеком Востоке затрагивает в душе чужестранца чувства, которые шире и глубже индивидуальных, пробуждает немой пафос забытых страданий, неясный порыв любви иных поколений, бесконечно далеких. Мертвые не умирают. Они дремлют в самых темных глубинах усталой души, на дне поглощенного работою мозга, и иногда — редко — вдруг пробуждаются от какого-нибудь отголоска из тьмы далеких, ушедших времен.



Китагава Утамаро. Влюбленные

ХАКАТА

Когда путешествуешь в куруме, можно только созерцать и мечтать. Читать трудно вследствие тряски, а грохот колес и шум ветра делают разговор невозможным, даже если бы дорога была достаточно широка для двух экипажей.

Раз вы ознакомились с характерными особенностями японских пейзажей, они перестают производить на вас впечатление. Бесконечно однообразно вьется дорога мимо рисовых полей, огородов, маленьких деревушек с крытыми рогожей домиками, вдоль нескончаемой цепи зеленых и синих холмов. Иногда внезапно вас поразит красочное пятно равнины, покрытой цветущей, будто горящей желтым пламенем, репой, или долина с ярко-лиловыми цветами. Но это лишь мимолетный дар скоротечного времени года. А обыкновенно наше чувство молчит в ответ на бесконечное зеленое однообразие. Обвеянный ветром, погружаешься в дремотные грезы, пока не разбудит особенно сильный толчок.

В таком созерцательно-дремотном состоянии я и в этом году совершаю путешествие в Хаката. В воздухе мелькают стрекозы; взоры мои скользят по множеству сплетенных в сеть дорог, пестрящих рисовые поля; они тянутся без конца вправо и влево и теряются вдали за чертой горизонта; я ищу линии знакомых горных вершин, еле обрисовывающиеся на сверкающем фоне, и слежу за вечно изменчивыми белыми формами, парящими в небесной синеве. Я спрашиваю, часто ли мне еще суждено видеть эти виды Кью-Шу, а душа моя просит и жаждет чудес.

Но внезапно, как ласка, охватывает меня мысль, что нет ничего чудеснее этого зеленого мира, полного нескончаемых жизненных проявлений. Отовсюду, незримо зарождаясь, пробивается зеленая жизнь — из мягкой земли, из утесов и скал; как разнообразны эти безмолвные породы, появившиеся задолго, задолго до человека! Их внешняя жизнь нам отчасти знакома; мы классифицировали их и дали им имена; мы изучили строение их листьев, состав их плодов, окраску цветов; ведь мы постигли вечные законы, по которым создается внешний образ вещей. Но мы не знаем: почему они существуют? Чья мистическая воля выразилась в этом универсальном зеленом мире? В чем состоит великое таинство того, что вечно размножается и произошло из вечноединого? Или, быть может то, что кажется мертвым, тоже живет, только еще более безмолвной и замкнутой жизнью?

Но есть жизнь полнее, таинственнее этой — она носится в ветре и в волнах, она обладает духовной силой, отрешающей ее от земли; но земля вечно вновь призывает ее и обрекает питать то, что однажды вскормило ее. Эта жизнь чувствует, знает, она ползает, плавает, бежит, летает и мыслит. Многообразие ее неисчислимо. Зеленая ленивая жизнь стремится только к бытию. Другая же жизнь от века борется против небытия. Мы знаем механизм ее движений, законы ее роста; тончайшие извилины ее строения пред нами обнажены, все области ее ощущений зарегистрированы и названы нами. Но кто разгадает смысл этой жизни? Из какого первоисточника возникла



Гойо Хасигути. Дорога по Кюсю

она? Или, говоря проще, что она есть? Для чего ей нужно страдание? Почему в страдании зреет она?

Эта жизнь страдания — наша жизнь. Лишь относительно видит и знает она. Абсолютно же она слепа и бродит в потемках, как косная, холодная, зеленая жизнь, которая питает ее. Но питает ли она, в свою очередь, высшее бытие, какую-нибудь незримую, действенную, более сложную жизнь? Не включает ли один призрачный мир другой в себя, не несет ли одна жизнь другую — и так до бесконечности? Существуют ли миры, проникающие другие миры?

Но в наше время границы человеческого знания непоколебимо определены, и разгадка этих вопросов лежит далеко за пределами наших возможностей. Но что же составляет границы этих возможностей? Не что иное, как наша человеческая природа. Но будет ли эта природа столь же ограниченной для тех, кто придет после нас? Не разовьются ли в них высшие чувства, не будут ли их способности более всеобъемлющи, их восприятия более чутки? Что говорит об этом наука?

Может быть, мы отчасти найдем ответ на это в глубокомысленном изречении Клиффорда¹: «Мы никогда не были созданы, а создали сами себя».

Это поистине глубочайшее поучение науки. А для чего человек создал себя? Чтобы избежать страдания и смерти. Только под высоким давлением страдания создалась

¹ Уильям Кингдон Клиффорд (1845–1879) — английский математик и философ.



Утагава Хиросигэ. Дорога

наша сущность; и пока живо страдание, должна продолжаться неустанная работа нашего духовного роста.

Некогда, в далеком прошлом, жизненные потребности были лишь физическими; теперь же, кроме того, они стали нравственны и духовны. И в будущем, вероятно, самой беспощадной и могущественною необходимостью будет потребность разгадки мировой тайны.

Величайший мыслитель, сказавший нам, почему нельзя разгадать этой тайны, поведал нам также, что жажда ее разрешения должна продолжаться и расти с ростом человеческого духа. И в этой необходимости уже кроется зародыш надежды. И не может ли человек жаждой знания, высшей формой будущего страдания развить в себе иные способности и силы и достигнуть того, что теперь кажется недостижимым: провидеть невидимое теперь? Нас, современных людей, сделала тем, что мы есть, наша тоска, наше стремление. И отчего бы нашим потомкам не достигнуть того, к чему мы теперь тщетно стремимся?..

Я в Хаката, городе ткачей кушаков; это большой город с причудливыми узкими улицами, поражающими своими световыми эффектами.

Я останавливаюсь на улице Молитвы к богам, где гигантская бронзовая голова — голова Будды — улыбается мне из открытых ворот. Эти ворота ведут во двор храма секты Иодо; голова очень красива, но туловища нет. Пьедестал, на котором покоится голова, покрыт тысячей металлических зеркал, нагроможденных до подбородка большого, мечтательного лица. Надпись на воротах объясняет эту загадку.

Зеркала — жертвоприношения женщин колоссальной статуе сидящего Будды. Предполагаемая высота статуи вместе с гигантским лотосом, на котором она будет

покоиться, — 35 футов; и все будет вылито из посвященных ему бронзовых зеркал. Для головы уже расплавили сотни зеркал, для окончания начатого дела потребуются мириады.

Можно ли в виду такого зрелища утверждать, что буддизм угасает!?

Но это не радует меня: слишком большого разрушения требует созидание этой статуи. Ведь японские металлические зеркала удивительно красивы и художественны; теперь их, к сожалению, заменяют отвратительным дешевым западным производством. Только тот, кто знает прелесть их формы, может вполне оценить очаровательное восточное сравнение луны с зеркалом. Только одна сторона зеркала полирована, другая разукрашена рельефами — деревьями и цветами, птицами и насекомыми, пейзажами, легендами, символами счастья, изображениями разных божеств.

Таковы самые обыкновенные зеркала, но есть масса вариаций и многие из них прямо чудесны.

Мы называем их «волшебными зеркалами»: если обернуть полированную сторону к бумажной перегородке или к стене, то в светлом кругу вырисовываются изображения другой стороны.

Есть ли в этой груде бронзовых жертв и «волшебные зеркала» — я не знаю, но, несомненно, там много прекрасного. Много пафоса в радостном приношении этих прекрасных художественных произведений, обреченных на близкую гибель. Ведь,



Тосикато Мидзуно. Курума

может быть, в следующем десятилетии окончится производство таких бронзовых зеркал; и любители их услышат с грустью и сожалением о судьбе этих жертв.

Но в этих неисчислимых жертвах, безжалостно отданных на произвол солнцу, дождю и уличной пыли, кроется еще более глубокий трагизм.

Сколько зеркал отражали улыбку ребенка, невесты, матери! Почти все отражали картины уютной семейной жизни. Но японское зеркало имеет значение еще более духовное, чем одни воспоминания.

«Зеркало, — гласит старая пословица, — душа женщины». И не только, как можно было бы предположить, в символическом смысле. По бесчисленным легендам зеркало чувствует все радости и огорчения своей хозяйки: поверхность его то затуманится, то блестит, мистически сливаясь с каждым ее ощущением.

Вероятно, поэтому зеркала употребляли и, как кажется, употребляют и ныне зеркала во время магических ритуалов, влияющих, как говорят, на жизнь и на смерть; кроме того, зеркала погребают вместе с теми, кому они принадлежали. Эти груды покрытой пылью и плесенью бронзы вызывают в душе странные сновидения о разбитых душах или по крайней мере об одушевленных вещах.

Не хочется верить, чтобы все психические движения, все лица, отраженные некогда этими зеркалами, совсем и навсегда отрешились от них; прошлое должно где-нибудь продолжаться; и думается, что стоит осторожно подойти к зеркалам и внезапно заглянуть в них, чтобы уловить прошлое в тот момент, когда оно, содрогаясь, убегает от света.

Впрочем, я должен сознаться, что во мне пафос этого зрелища особенно усиливается одним воспоминанием, которое японское зеркало всегда вызывает во мне: я вспоминаю старый японский рассказ о Матсуяма-но-Кагами. Несмотря на крайнюю простоту и сжатость, его можно было бы поставить на одну ступень с дивными сказками Гете, которые делаются тем глубже и шире, чем глубже и шире опыт и способности читателя. Мистрисс Джеймс в одном направлении, может быть, исчерпала все психологические возможности. И тот, чья душа не всколыхнется при чтении ее маленькой книжки, недостоин имени человека. Для того чтобы охватить хотя бы приблизительно основную идею рассказа, нужно суметь почувствовать затаенную прелесть приложенных к тексту картинок, — интерпретаций последнего великого художника школы Кано. Иностранцы, не посвященные в семейную жизнь Японии, не могут вполне оценить всей прелести набросков, сделанных специально для этих сказок. Но красильщики шелка в Киото и Осака дорожат ими чрезвычайно и воспроизводят их постоянно на драгоценнейших тканях. Существует много версий, но по прилагаемой схеме современный читатель может разработать рассказ, как захочет.

Однажды, очень давно, в Матсуяма, в провинции Эсиго, жила молодая самурайская чета; имена ее совершенно забыты, и забыты давно. У них была маленькая дочь. Однажды муж отправился в Эдо — вероятно, вассалом в свите феодала Эсиго. Вернувшись домой, он привез из столицы подарки — сласти и куклу для маленькой дочки (по крайней мере так изображает художник), а жене зеркало из посеребренной бронзы. Зеркало показалось молодой женщине странным и непонятным предметом — это было первое зеркало, появившееся в Матсуяма. Она не понимала его назначения и невинно спросила: чье хорошенькое улыбающееся личико на нее смотрит оттуда? Муж рассмеялся и сказал:

— Да ведь это твое собственное лицо. Какая же ты глупенькая!



Утагава Хиросигэ. Пейзаж

Она постыдилась расспрашивать дальше и поспешила спрятать непонятный подарок.

Много лет оно пролежало у нее спрятанным — почему? — об этом история умалчивает. Может быть, просто потому, что любовь всегда и везде освящает малейший подарок и скрывает его от чужих взоров.

Но на смертном одре она отдала зеркало дочери и сказала:

— Когда я умру, гляди ежедневно, утром и вечером, в это зеркало; в нем ты увидишь меня, поэтому не грусти.

Сказав эти слова, она умерла. А девушка ежедневно, утром и вечером, смотрела в зеркало; она не знала, что отражение в нем было ее собственным обликом, она думала, что видит мать, на которую она была очень похожа. И ежедневно она беседовала с этой тенью, потому что чувство ей говорило, или, как японский текст любовно гласит, «сердце ей говорило», что пред ней ее мать; и зеркало стало ей дороже всего на свете. Наконец это заметил отец и очень удивился ее поведению. Он расспросил ее, и она ему все рассказала.

«Тогда, — повествует древнеяпонский рассказчик, — на него нашла жалость и скорбь, и слезы затуманили очи его...»

Вот старый рассказ... Но было ли в невинной ошибке действительно столько трагизма, как думал отец, или его слезы были бессмысленны, как мое сожаление о судьбе всех этих зеркал и о связанных с ними воспоминаниях?

По-моему, невинность девушки была мудрее чувства отца. Ведь по космической закономерности настоящее — тень прошедшего, а будущее должно быть отражением настоящего. Все мы едины, как один свет, несмотря на бесконечность колебаний, из которых он состоит. Все мы едины и вместе с тем множественны, потому что в каждом из нас живет целый мир духов. Эта девушка действительно и несомненно беседовала с душой своей матери, улыбаясь прелестному отражению своих собственных молодых, ласковых уст и очей.

Эта мысль придает странному зрелищу во дворе старого храма новый смысл и делает его символом высокого обетования. Поистине, каждый из нас — зеркало, отражающее в себе частицу вселенной и отражающее себя во вселенной...

Быть может, смерть своей властью сольет всех нас в одно великое, сладостное, бесстрастное единство. Каково будет это слияние — постигнут, быть может, грядущие поколения. У нас, современных представителей западной культуры, нет знания, нам даны лишь грезы и сновидения. Но Древний Восток верит; вот простой, картинный язык его веры: «Все формы бытия в конце концов исчезнут, чтобы слиться с тем существом, чья улыбка — непоколебимый покой, чье знание — необъятное прозрение».

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Если японку в пути одолеет сон, а прилечь некуда, то она, засыпая, поднимает левую руку и прячет лицо за широкий рукав.

Со мною в вагоне второго класса сидят рядом три женщины. Они дремлют, закрыв лицо рукавом; поезд мчится, укачивая их, и они колышутся, как цветы лотоса от легкого ветерка.

Сознательно или бессознательно они пользуются левым рукавом, я не знаю; думаю, что это движение инстинктивно, потому что правой рукой удобнее удержаться в случае внезапного толчка.

Это зрелище забавно и мило; оно служит примером изящной прелести, свойственной всем движениям знатной японки, — грациозным и скромным. Но иногда эта поза становится патетична: лицо скрывают также в минуты горя или усталой молитвы. Пусть мир видит только счастливые лица, — этого требует укоренившееся, выработанное чувство долга.

Мне вспоминается один случай.

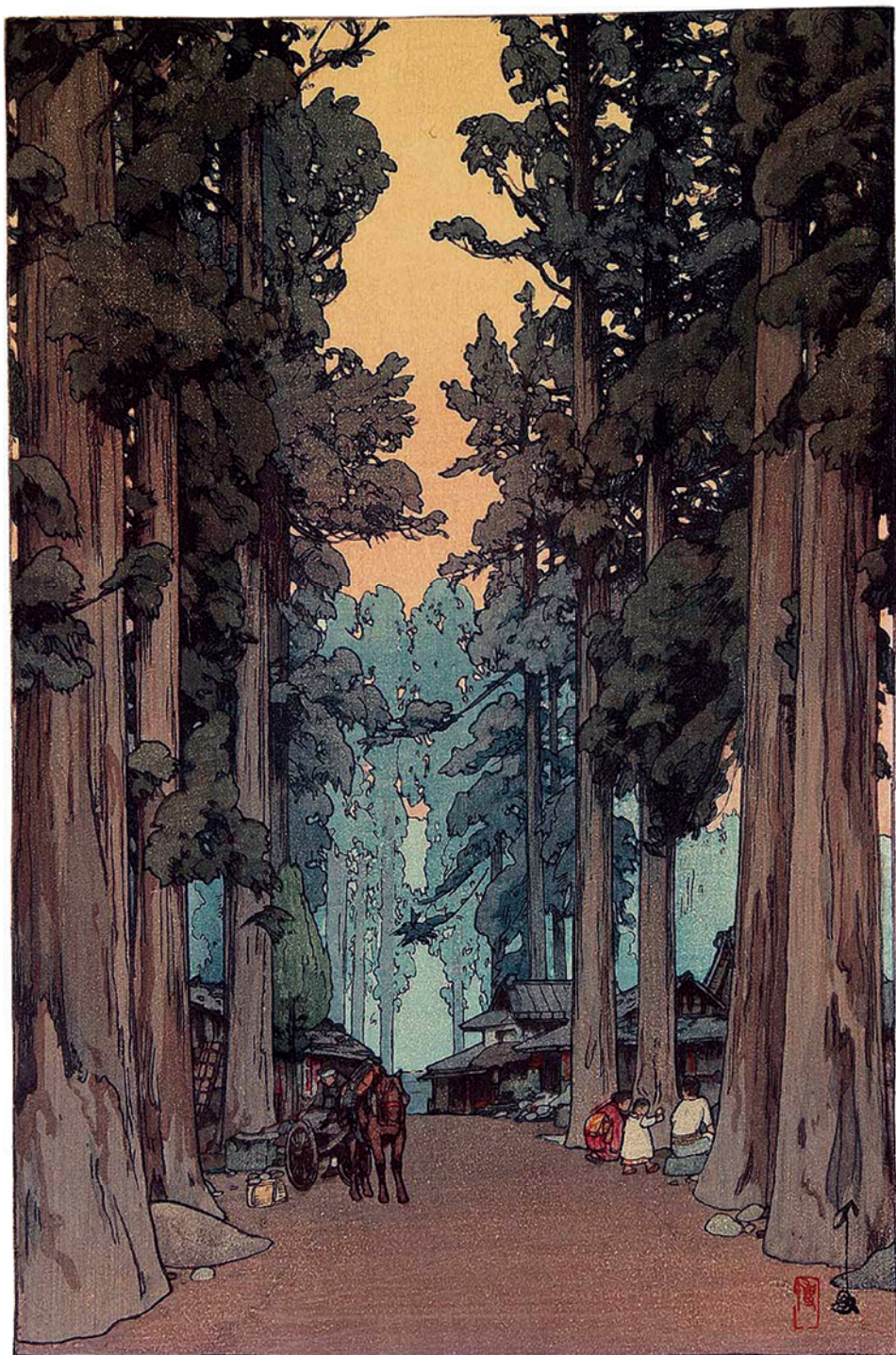
У меня много лет был слуга, которого я всегда считал счастливейшим из людей. Когда с ним заговаривали, он смеялся, работал он всегда с веселым лицом; казалось, он не знал житейских забот. Но раз случайно я увидел его; он не считал нужным владеть собою, и его лицо испугало меня; я не узнал знакомых мне черт; горе и злоба избороздили лицо резкими морщинами и состарили его на четыре десятка лет. Я кашлянул, он заметил меня — и в один миг его морщины разгладились, лицо смягчилось, просветлело, каким-то чудом сразу помолодело. Поистине чудесно такое непрестанное самообладание, самоотречение, самозабвение.

Деревянные ставни моей маленькой комнаты в гостинице широко раскрыты. Сквозь златомерцающую сетку ветвей солнце набрасывает резкую тень от сливового дерева на бумажные окна.

Такого силуэта не нарисует ни один смертный художник, даже японец. Темно-синий на ослепительно-ярком фоне, колеблющийся, оттеняющийся от невидимых веток. Волшебная картина! И я подумал, что употребление бумаги для освещения, несомненно, имело влияние на японское искусство.

Ночью японский дом, в котором закрыты только бумажные окна, похож на огромный бумажный волшебный фонарь, бросающий подвижные скользящие тени внутрь, вместо того чтобы бросать их наружу. Днем силуэты на окнах рисуются только от наружных предметов; на заре, утром они, вероятно, волшебны красивы, если солнечные лучи заливают, как в это мгновение, прелестный уголок сада.

Древнегреческая легенда гласит, что искусство родилось от первой робкой попытки набросать на стене силуэт любимого человека; это очень правдоподобно. Верно также и то, что первоисточник художественного творчества — как и всего сверхчужественного — надо искать в изучении теней. Но тени на бумажных окошках



Хироси Ёсида. Аллея криптомерий в Никко

так дивно красивы, что могут служить объяснением некоторых особенностей японского рисовального искусства, притом не первобытного, а доведенного до совершенства. Конечно, надо взять во внимание и особенность японской бумаги — на которой тень лучше вырисовывается, чем на стекле, — и своеобразность японских теней. Никогда западная растительность не дала бы тех прелестных силуэтов, какие дают японские садовые деревья, доведенные до совершенства форм вековой заботливой культурой. Я жалею, что бумага моих оконных ширм не обладает чувствительностью фотографической пластинки и не может удержать великолепного светового эффекта, произведенного магическим действием солнечных лучей. Увы, разрушение уже началось — силуэт начал уже удлиняться.

В Японии много своеобразной прелести; но я ничего не знаю очаровательнее дорог к высоко лежащим местам молитвы и успокоения, — этих бесконечных дорог и ступеней, ведущих в «никуда» и в «ничто».

Дела человеческих рук гармонируют тут с тончайшими настроениями природы, со светом и тенью, с формой, окраской; это очарование пропадает в дождливые дни, но если оно и капризно, то от этого не менее сильно.

Вот, например, отлогий подъем; с полмили тянется мощеная аллея, по бокам — деревья-гиганты. В правильных промежутках дорогу сторожат каменные чудовища. Аллея приводит вас, наконец, к широкой лестнице, теряющейся во мраке; лестница ведет на большую террасу, под тень величавых старых деревьев; а оттуда еще ступени — к другим террасам, погруженным в таинственный сумрак.

Поднимаешься все выше и выше и, наконец, доходишь до серого тории¹, а за ним — вход в маленькое пустое бесцветное здание, похожее на деревянный шкафчик; это мийа², храм синтоистского культа. Пустота, немое молчание и сумрак после роскошной дороги, ведущей наверх; делается жутко, будто вас окружили призраки и тени умерших.

И много таких откровений буддизма найдет тот, кто захочет искать их. Я укажу, например, на Хигаши Отани в Киото. Широкий въезд ведет во двор храма; со двора вы поднимаетесь вдоль роскошных перил по массивным, обросшим мхом лестницам на каменную террасу. Обстановка напоминает итальянский загородный сад из времен «Декамерона». Но, взойдя на террасу, вы видите только ворота, а за ними — кладбище.

Хотел ли строитель этим сказать, что все на свете, вся пышность, вся роскошь, вся красота кончается вечным молчанием?..

Я посетил рыболовную выставку и аквариум в Хиого, в саду на морском берегу. Название ее — караку-эн, то есть «Сад мирных радостей». Она устроена по образцу старинных парков и заслуживает свое имя. Вдали виднеется широкий залив; рыбаки в лодках; далеко скользящие, ослепительно белые паруса; а на горизонте — цепи высоких гор, покрытые нежно-фиолетовой дымкой. Я видел там причудливые формы прудов с прозрачною водой; в них плавали многоцветные рыбы. Я подошел к аквариуму, где за стеклом резвились необыкновенные рыбы, похожие на маленьких игрушечных драконов и на ножны сабли; были там и забавные маленькие кувыркающиеся рыбки; были рыбы блестящие, как крылья бабочек; были рыбы,

¹ *Тории* — ритуальные ворота перед японскими храмами: два столба, немного наклоненные друг к другу, с горизонтальной перекладиной наверху.

² *Мийа* — храм синтоистского культа.



Киётика Кобаяси. Тории и полная луна



Касон Судзуки. Тень птицы

махающие своими плавниками, как танцовщицы широкими рукавами. Я видел модели разных лодок, сети и удочки, верши и фонарики для ночной ловли. Я видел изображение всевозможных способов рыболовства, модели и картинку китовой ловли. Одна картинка была очень страшна; это была агония кита, бьющегося в огромных сетях; рядом — лодка в вихре красной пены; на исполинской спине чудовища стояла голая мужская фигура — одна на фоне неба, — в руках занесенное над животным смертоносное оружие. Я даже видел красную кровяную струю... Рядом со мною стояла японская семья: отец, мать и сын; родители объясняли мальчику значение картины.

— Когда кит чувствует близость смерти, — говорила мать, — он в предсмертной тоске начинает говорить по-человечески, он молит о помощи Будду: «Наму Амида Будзу!»¹.

Я отправился дальше, в другую часть сада, где были ручные олени, «золотой медведь», павлин в клетке, обезьяна. Посетители сада кормили пирожками оленя и медведя, заставляли павлина распускать хвост колесом, мучили и дразнили обезьяну. Я сел отдохнуть на одну из террас близ павлина. Японская семья, рассматривавшая смерть кита, тоже подошла, и я услышал, как мальчик сказал:

¹ «Наму Амида Будзу!» — «Я принимаю убежище у Будды Амиды» — священное закливание буддийской секты Синсю.

— Там, в лодке, сидит рыбак, старый-престарый старик; почему он не идет во дворец, к морскому царю, как рыбак Урасима?

— Урасима поймал черепаху, — ответил отец, — но она была не черепахой, а зачарованной дочерью морского царя. Так Урасиму наградили за его доброту к черепахе. А этот рыбак не поймал черепаху; а если бы и поймал, то ему все-таки нечего идти во дворец, потому что он стар и не может жениться на царевне.

Мальчик посмотрел на цветы, на море, залитое солнцем, на белые скользкие паруса, на далекие горы, сверкающие фиолетовым цветом, и воскликнул:

— Отец, разве может быть где-нибудь на всем свете лучше, чем здесь?

Лицо отца озарилось светлой улыбкой; он хотел что-то ответить, но вдруг ребенок вскочил от радости и восторженно захлопал в ладоши: павлин, наконец, развернул многоцветную красоту своих перьев. Все поспешили к клетке, а я так и не услышал ответа на милый детский вопрос.

Но я думаю, что отец мог бы ответить такими словами: «Дитя, конечно, сад этот прекрасен, но мир так богат красотой, что, наверное, есть сады еще прекраснее этого.

Но прекраснейший сад не от мира сего, — это сад Амиды в царстве блаженства, там, где вечером гаснет заря.

Кто всю жизнь зла не творил, тот после смерти увидит его.

Там Куяку, райская птица, поет о „семи шагах“ и „пяти силах“, расправляя лучезарные крылья.

Там алмазно-переливчатые воды струятся; в них лотос цветет, неизъяснимо прекрасный; он цветет и сияет радужным светом, а из его глубины возносятся вверх светозарные духи нарождающихся будд.

А между цветами струится вода, струится и шепчет, вещая их душам о беспредельном воспоминании, о беспредельных видениях и о „четырех беспредельных чувствах“.

И нет там различия между людьми и богами, потому что перед величием Амиды преклоняются даже бессмертные боги. И все поют ему хвалебную песнь, начинающуюся такими словами: „О, ты, Свет беспредельный, неизмеримый!“.

Но от века слышится голос — то небесный поток звучит, подобно многоголосому хору!

Он гласит: „И это еще не величие, и это еще не реальность, и это еще не покой!“».

ЗАКОН КАРМЫ

Наука уверяет нас, что страсть первой любви не есть проявление данной личности; что чувство, кажущееся нам личным, субъективным, в действительности вовсе не индивидуально.

Философия открыла эту истину еще задолго до науки, и, пытаясь проникнуть в мистику страсти, она развивала заманчивейшие теории, тогда как естествознание, касаясь этого вопроса, ограничивалось немногими гипотезами.

Разрешить эту проблему не удалось и метафизикам: то они учили, что любимое существо будит в душе любящего врожденное, доселе дремавшее предчувствие божественного идеала; то предполагали, что любовную иллюзию вызывают души, еще не рожденные, но ищущие воплощения. Но как естествознание, так и метафизика согласны в том, что у любящих нет выбора, что оба безвольны и подвластны одному общему влиянию извне.

Естествознание в этом отношении особенно категорично: оно определенно говорит, что вся ответственность лежит не на живых, а на умерших. По его теории, первую любовь вызывает воспоминание, тень прошлого.

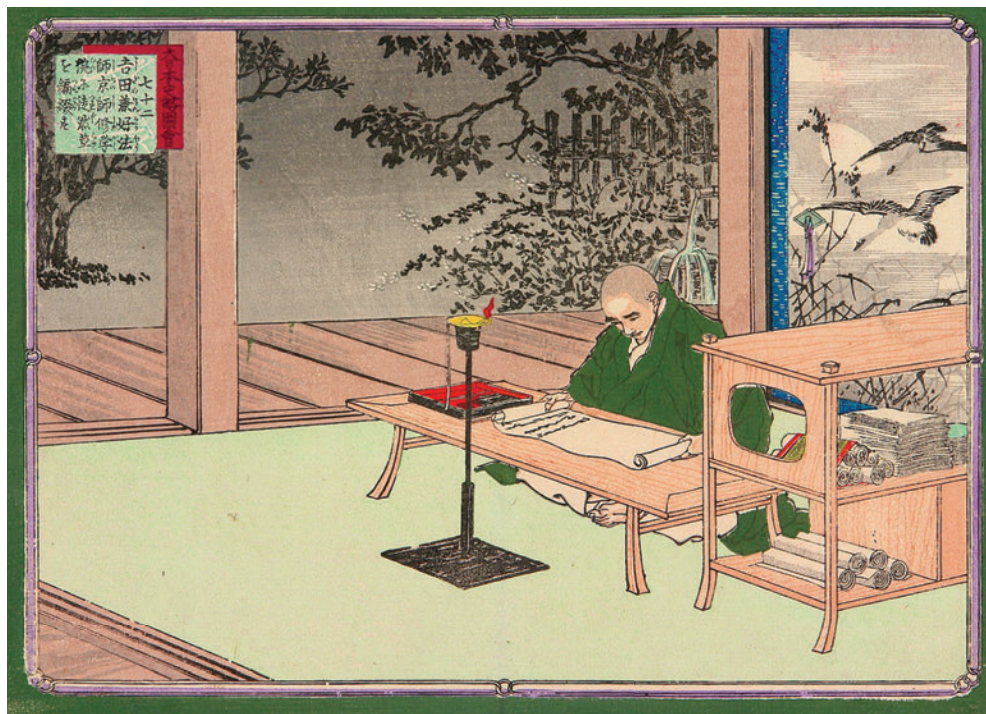
Правда, что в противоположность буддизму, наша современная психофизиология не допускает индивидуальных воспоминаний из далекого прошлого наших предсуществований; но она признает наследие гораздо более властное, хотя и не поддающееся определению: сумму бесчисленных воспоминаний из жизни наших предков, совокупность несчетного числа их переживаний.

Таким образом, она объясняет и полную загадочность наших ощущений, противоречивость наших побуждений, таинственность интуиции — всю кажущуюся несообразность притяжения и отталкивания, всю беспричинность светлых и мрачных настроений, все, что необъяснимо индивидуальным опытом.

Но к более основательному изучению первой любви наука еще не приступала, хотя связь между первой любовью и невидимым миром — самое загадочное из всех человеческих ощущений.

На Западе вопрос этот ставится так: в развитии каждого подрастающего здорового отрока наступает атавистический период инстинктивного презрения к слабому полу в силу сознания своего физического превосходства. Но именно в пору, когда общество девочек становится ему безразличным, даже неприятным, — юноша теряет внутреннее равновесие. На его жизненном перепутье появляется девушка, доселе не виденная и ничем особенным не отличающаяся от других; посторонние в ней не находят ничего чудесного. На него же она производит необычайное действие: при виде ее кровь единой могучей волной приливает к сердцу и все его чувства зачарованы.

С этого момента до истощения любовного экстаза вся его жизнь принадлежит *ей*; этому сверхъестественному существу, представшему пред ним как откровение, о котором он знает лишь то, что даже солнечный луч, падая на *нее*, сияет ярче. И нет



Гинко Адати

земных сил, способных освободить его от этих чар. Но откуда они, эти чары? В самом ли кумире кроется непобедимая сила? Нет, психология говорит, что «идолопоклонник» подвластен влиянию умерших. Мертвые совратили разум его. От них — внезапный трепет в сердце любящего, искра, зажигающая все существо при первом прикосновении девичьей руки.

Почему выбор умерших в данном случае пал именно на эту девушку? В этом вопросе кроется глубочайшая тайна.

Взгляд величайшего немецкого пессимиста не совпадает с научной психологией. По теории эволюции, выбор этот основан скорее на воспоминании, чем на провидении...

Допустима еще романтическая разгадка, что в этой девушке призрачно сочетались все черты тех многих женщин, которые нашим предкам некогда дарили счастье. Но возможно и то, что в ней отблеск совокупности чар, которыми пленили их безнадежно любимые ими женщины.

Если согласиться с более мрачным решением проблемы, то придется допустить, что страсть, много раз умерщвленная и погребенная, все же не может ни умереть, ни угаснуть. Души тщетно добивавшиеся любви, только мнимо умирают; они продолжают жить целыми поколениями в ожидании, что жажда их утолится. Ждут они, быть может, целыми столетиями, пока черты любимого существа не воплотятся снова, — ждут, вечно вплетая туманные образы своих воспоминаний в грезы юности. Отсюда тяготение к недостижимому идеалу, отсюда неутолимая тревога души, вечно мечтающей о той женщине, которой нет на земле...

*Кобори Томоне*

На далеком Востоке думают иначе, и предстоящий рассказ пояснит буддийский взгляд на эту проблему.

На днях умер священник при очень исключительных условиях.

Он был жрецом в древнебуддийском храме в деревне близ Осака. Храм этот виден, когда едешь по железной дороге Кван-Зетзу в Киото.

Он был молод, вдумчив, умен и необычайно красив. Слишком красив для жреца, как говорили женщины. Он был похож на одну из прекрасных статуй Амиды, на ваяние великих буддийских скульпторов древности. У мужчин он справедливо слыл за высоконравственного и ученого человека. Женщины же мало думали о его учености и добродетели. Он обладал роковой силой притяжения — действовал на них помимо своей воли, — действовал как мужчина. Они испытывали по отношению к нему далеко не святые восторги и своим обожанием мешали его научным занятиям и благочестивым размышлениям. Под разными предлогами они во всякое время приходили в храм, — только для того, чтобы увидеть его на мгновение и сказать ему несколько слов. Долг заставлял его отвечать на их вопросы и принимать их благочестивые приношения. Иные задавали ему нескромные вопросы, которые смущали его и заливали румянцем его щеки.

Слишком мягкий по природе, он не сумел защититься броней неприступности.

Поэтому дерзкие горожанки говорили ему слова, которых деревенская девушка никогда не решилась бы произнести, — слова, после которых он требовал удаления дерзких из храма.

С ужасом он отклонял от себя и застенчивую восторженность одних, и смелую назойливость других; но искушения росли, росли и стали непрерывным терзанием и мукой его жизни.

Родителей у него не было; они давно умерли; земные нити не привязывали его к жизни, и он любил только свое призвание и научные занятия, связанные с ним. Он страшился суетных и запретных мыслей. На свою необычайную красоту он смотрел, как на несчастье.

Ему неоднократно предлагали богатства с условием, от которого содрогалось все его существо. Девушки бросались к его ногам, напрасно моля о любви. Он непрерывно получал любовные письма, на которые никогда не отвечал.

Иные были написаны древним, образным слогом и говорили о «ложе любовной встречи, непоколебимом, как утес», и о «волнах, оживляющих тени лица», и о «потоках, разверзающихся, чтобы сомкнуться вновь»...

Другие были безыскусны, бесконечно нежны, полны невинного пафоса первого признания девичьей любви...

Долгое время эти письма не трогали его, и оставляли холодным, как статуя Будды, воплощением которого он казался. Но молодой жрец был не Буддой, а лишь слабым человеком, и положение его становилось невыносимым...

Однажды вечером в храм вошел мальчик, вручил ему письмо, шепотом назвал имя отправительницы и скрылся в темноте.

Храмовой служитель, немой свидетель этой сцены, рассказывал потом, что священник прочитал письмо, вложил его обратно в обложку и положил на коврик, рядом с подушкой, на которой, коленопреклоненный, он всегда совершал свои молитвы. Долгое время он провел в глубоком раздумье, потом достал письменные принадлежности, написал письмо, адресовал его своему духовному начальнику и оставил на столе. Потом посмотрел на часы и справился с японским расписанием железнодорожных поездов. Было очень поздно; ночь была темная, бурная...

Он бросился на колени перед алтарем, совершил короткую молитву и поспешно вышел. Дошел он до вокзала в тот момент, когда экспресс из Кобэ на всех парах подлетал к дебаркадеру. С быстротой молнии он бросился на рельсы, и пылящее чудовище накрыло его...

Крик ужаса вырвался бы из уст боготворивших священника при виде того, что осталось от его бедного, брэнного тела, когда поезд умчался, оставив за собою на рельсах какую-то бесформенную массу...

Нашли письмо, написанное им к своему начальнику. Он кратко извещал о том, что силы его истощились, что сопротивляться он больше не в состоянии, что он решил умереть, чтобы не поддаться греху... Другое письмо еще валялось на полу, там, где он оставил его; женское письмо, в котором каждое слово — тихая, смиренная ласка... Как все подобные письма (их никогда не посылают по почте), оно не было помечено числом, не было в нем ни имени, ни инициалов, и конверт был без адреса... В переводе оно гласит приблизительно так (хотя наш жесткий, негибкий язык не в состоянии передать всей его прелести):

«Смелость моя безмерна, и я не дерзаю надеяться на снисхождение. Но я не в силах скрыть своих чувств, я должна сказать вам все, и вот я пишу вам... Что сказать вам обо мне, о моем ничтожном, маленьком „я“... Позвольте мне лишь сказать, что в тот день, когда на празднике „дальнего берега“ очи мои увидели вас, впервые мысль моя



Тосиката Мидзуно

пробудилась; и с тех пор я не знаю забвенья... С каждым днем я погружаюсь все глубже в думы о вас; думы эти во сне витают надо мною; но, пробуждаясь, я не вижу вас; я понимаю, что обманчиво было видение, что действительность пуста, — и слезам моим нет удержу... Простите, что обреченная быть в этом мире жалкой женщиной выражает желание стать близкой к столь возвышенному и прекрасному... Грубо, безумно — должно казаться вам, — что я не укрощаю своего сердца, что я даю ему терзаться и жаждать того, что недостижимо для меня, как небо. Но не может успокоиться это бедное сердце, и из глубины его всплывают несчастные, немощные слова; несмелой, неумелой кистью я записываю их и посылаю вам; я прошу вас, удостоьте меня сострадания; я заклинаю вас, не встречайте меня суровой речью... Пожалейте меня... поймите... ведь это письмо — перелившееся чувство мое... Благоволите понять и справедливо оценить мое сердце; оно окутано страданием, — оно взывает к вам и теперь, мгновение за мгновением ждет ответа, ждет счастья...

Все доброе и благое призываю на вашу голову.

Сегодняшнего числа, от некой, несмотря на все ее ничтожество, знакомой вам. Желанному, любимому, почитаемому я шлю это письмо».

Я отправился к одному из моих японских друзей, буддийскому ученому, чтобы узнать, как он смотрит на это событие с религиозной точки зрения.

Мне это самоубийство казалось героизмом. Не так моему другу. Слова осуждения полились из его уст; он говорил, что самоубийство не избавляет от греха, что самоубийца в глазах Учителя — духовно потерянный, недостойный общения со святыми

мужами безумец. Таким безумцем был и молодой священник, если он думал, что, убивая тело, он умерщвляет и источник греха в душе...

— Но, — возразил я, — ведь жизнь этого человека была чиста и прозрачна, как горный ручей... Предположите, что он покончил свою жизнь самоубийством, чтобы невольно не ввести во искушение других.

Мой друг иронически улыбнулся, потом промолвил:

— Жила однажды знатная японка, необыкновенно красивая, и захотелось ей пойти в монастырь. Она отправилась в храм и заявила о своем желании. Но верховный жрец сказал ей: «Вы очень молоды и жили всегда придворной жизнью. В глазах светских мужчин вы очень красивы, и красота эта будет для вас вечным искушением, мирские радости будут вечно манить вас. И не горе ли какое, мгновенное, преходящее, заставляет вас бежать от мирской суеты и искать умиротворения в тихой обители? Нет, я не могу принять вас в общину». Но она продолжала упрашивать его, и, чтобы закончить разговор, жрец быстро удалился. Оставшись одна, она вдруг увидела хибаджи¹. Она быстро схватила щипцы, раскалила их докрасна и безжалостно изуродовала ими лицо; дивная красота ее была разрушена навеки. Испуганный запахом гари, жрец поспешно вернулся и с ужасом увидел, что случилось. Но она, будто не чувствуя боли, тотчас же возобновила просьбы, и даже голос ее не дрожал, когда она говорила: «Красота, препятствие на моем пути в святую обитель, уничтожена; примите же меня

¹ *Хибаджи* — жаровня с раскаленными углями.



Тосиката Мидзуно 2





Кацусика Хокусай. Священник, три женщины и ребенок

теперь!». Тогда жрец исполнил ее просьбу; она вступила в общину и стала святой монахиней. Кто, по-вашему, был мудрее: эта женщина или молодой священник, которого вы так превозносите?

— Но разве и священник должен был изуродовать свое лицо? — спросил я.

— О, нет! И женщина эта поступила бы неправильно, если бы ею руководила исключительно боязнь мирских искушений. Закон Будды воспрещает какое бы то ни было саморазрушение. Она же, хотя и преступила закон его, но лишь для того, чтобы сделать возможным свое поступление в священный союз. Священник же ваш виноват безусловно: он лишил себя жизни, потому что искушение было сильнее его; он трусливо ушел, тогда как должен был бы смело обращаться на путь истинный соблазнявших его. Но он был слишком слаб. Лучше было бы ему вернуться в свет и жить жизнью простого смертного, жизнью человека, неподвластного священным законам ордена.

— Значит, по буддийским понятиям, в его поступке нет заслуги? — спросил я.

— Не думаю. Заслуга может быть разве в глазах незнающих закона.

— А тот, кто знает закон, — что думает он о последствиях, о карме его поступка?

Мой друг задумался и после непродолжительного молчания произнес:

— Вся суть этого самоубийства не поддается нашему пониманию, — быть может, это уже не в первый раз...

— Вы хотите сказать, что когда-нибудь, в предшествовавшей жизни, он уже искал в самоубийстве спасения от греха?

— Да, и, может быть, не раз, и не в одной, а во многих жизнях...

— А что ожидает его в будущем?

— Никто, кроме Будды, не в состоянии ответить на эти вопросы.

— А ваша религия, что скажет она?

— Что происходило в душе этого человека, мы не знаем и потому молчим...

— Он в смерти искал спасения от греха.

— Если так, то ему суждено возрождаться еще много-много раз; ему предстоят все те же искушения, те же терзания и муки, доколе он не научится побеждать свои желания. Самоубийство же не ограждает от вечной необходимости одолевать самого себя...

Я оставил моего друга, но слова его преследовали меня; и они продолжают меня преследовать, расшатывая прежние убеждения и терзая мысль. Я не мог и до сих пор не могу выяснить себе, что вернее: эта ли таинственная интерпретация любви или наше западное толкование? Значение любовной мистерии не дает мне покоя...

Возрождение ли в ней, которая сильнее смерти, погребенных страстей?.. Или, больше того, неизбежное воздаяние за давно забытые грехи?

РЕВНИТЕЛЬ СТАРИНЫ

Он родился в глубине страны, в столице дайме, простиравшейся на сто тысяч коку. Нога чужестранца еще никогда не касалась этой земли. Яшики его отца, знатного самурая, находилась за крепостными стенами, окружающими княжеский замок, большая яшики, среди садов и парков. В одном из них стояла маленькая кумирня¹ с изображением бога войны. Лет сорок тому назад существовало еще много таких местий. Немногие, оставшиеся до сих пор, кажутся художнику зачарованными дворцами, а сады их — райскими грезами буддизма.

Но сыновей самураев в те времена держали строго, и молодому дворянину, о котором я хочу рассказать, некогда было предаваться мечтам и грезам. Ему рано пришлось отказываться от ласки; на него еще не надевали первых хакама², что в те времена было важным событием, как его уже начали постепенно удалять от изнеживающего влияния и подавлять в нем естественные порывы детской нежности. Когда товарищи встречали его с матерью, ведущей его за руку, они насмешливо спрашивали: «Ты еще сосешь молочко из соски?».

Дома он, конечно, мог изливаться на мать всю свою нежность, но ему редко позволяли быть с нею. Воспитание не допускало ни праздных развлечений, ни удобств, — разве что во время болезни. С самого раннего детства, когда он только начинал говорить, его учили, что долг — главный стимул жизни, самообладание — первое требование хорошего поведения, а боль и смерть — ничто, поскольку это касается его самого.

Эта спартанская система воспитания преследовала еще более жестокую цель: в ребенке вырабатывалась холодность и жестокость, которые позволяли сбрасывать только в тесном домашнем кругу. Мальчиков приучали к зрелищу крови. Их брали с собой на казни, требовали не выказывать при этом ни малейшего волнения или ужаса; а придя после казни домой, им предписывали, преодолев внутреннее содрогание, съесть обильную порцию рису, приправленного соленым кроваво-красным сливовым соком. И еще большего требовали от мальчика: его ночью посылали на место казни, чтобы он в знак мужества принес оттуда отрубленную голову. Бояться как трупов, так и живых людей было недостойно самурая. Дитя самурая не смело знать страха. При этом требовалось полное хладнокровие: малейшее хвастовство, как и трусость, подвергалось осуждению.

Подрастая, мальчик должен был видеть главное развлечение в физических упражнениях, постоянно, с раннего детства подготавливающих самурая к войне, — в метании дуг, фехтовании, верховой езде и борьбе. У него были товарищи, сыновья вассалов, но они были старше его, и их выбирали, чтобы поощрять в нем воинственность и отвагу. Они же должны были учить его плавать, грести и всячески развивать юные силы. Время делилось между физическими упражнениями и изучением китайских классиков.

¹ *Кумирня* — небольшая языческая или буддийская молезна с идолами-кумирами (*примеч. ред.*)

² *Хакама* — традиционные японские длинные штаны в складку, похожие на юбку, шаровары или подтяжки.

Питание его было обильно, но лишено лакомства; одежда — всегда легкая и грубая, более изящная только во время больших церемоний. Зажигать огонь, только с целью согреться, ему запрещали; если в морозные зимние дни его руки во время учения так застывали, что не могли больше держать кисточку и писать, его заставляли окунать их в ледяную воду, чтобы возвратить пальцам гибкость; если его ноги коченели, ему приказывали бегать по снегу, чтобы согреться. Еще строже были прививавшиеся ему взгляды военной касты на честь самурая; с детства внушали ему, что его маленькая сабля не игрушка и не украшение. Его учили, как с нею обращаться, объясняли, как можно покончить жизнь свою без страха и колебания, если того потребует кодекс чести его сословия.

Когда мальчик становился юношей, строгость наблюдения ослабевала. Ему предоставляли все больше и больше свободы, но он никогда не должен был забывать, что всякая ошибка будет замечена, серьезный проступок никогда не будет прощен, что заслуженного упрека следует бояться больше, чем смерти. С другой стороны, нечего было бояться для юноши-самурая безнравственных влияний, — их было немного. Профессиональный разврат строжайше был изгнан из многих больших городов и провинций; а безнравственность жизни, отражающаяся в народных романах и драмах, тоже оставалась неизвестной молодому самураю. Его научили презирать житейскую литературу, затрагивающую лишь нежные чувства или бурные страсти; посещение же театров было запрещено его сословию. И в невинной среде, в провинциальной глуши Древней Японии вырастали чистые, нетронутые юноши.

Таков был юный самурай, о котором я хочу рассказать. Бесстрашный, вежливый, полный самоотречения, презирающий развлечения, готовый в каждый данный миг, не задумываясь, отдать жизнь, если того потребует любовь, преданность государю, честь. Но, воин по физическому и духовному развитию, он по годам был еще почти ребенком в тот год, когда страну впервые встревожило прибытие «черных кораблей»¹.

Политика Иэмицу², воспрещавшая японцам под страхом смерти выезд из страны, продержала нацию в течение двух столетий в полном неведении, что творилось за пределами японского государства. Никто ничего не знал о мощных грозных силах, развивающихся по ту сторону океана. Голландские колонисты в Нагасаки отнюдь не просвещали Японию относительно положения, в котором находилась страна, не предупреждали о том, что восточному феодализму грозит западный мир, в развитии ушедший вперед на три столетия. Чудеса западной цивилизации показались бы японцам детскими сказками или древними легендами о волшебных дворцах в царстве Хораи. И только тогда, когда к японским берегам причалил американский флот, «черные корабли», как их назвал город, правительство поняло свою слабость и опасность, грозящую извне.

Одно известие о появлении «черных кораблей», уже взволновало народ; но когда сегунат признался в своем бессилии отразить чужеземных врагов, то народ положительно растерялся.

¹ «Черные корабли» — американская эскадра адмирала Перри, которая достигла побережья Японии летом 1853 г.

² *Иэмицу Токугава* (1604–1651 гг.) — 3-й сёгун из династии Токугава, правивший Японией с 1623 г. и до своей смерти в 1651 г., известный своим ретроградством; по его повелению в 1637–39 гг. были кровавым образом истреблены все японцы-христиане и изгнаны из Японии все португальцы.



Цутия Коицу. Замок Нагойя

Грозилась опасность, большая, чем во время нашествия татар под Ходзё Токимунэ, когда народ молил богов о помощи, когда сам государь в Исэ заклинал духов предков своих. На молитву последовало внезапно затмение солнца. При оглушительных ударах грома поднялся бешеный ураган, живущий до сих пор в памяти народа под именем Камикадзе, вихрь богов. Буря разбила и потопила корабли хана Хубилай.

Почему бы и теперь не обратиться к небу с мольбой? И в бесчисленных домах, перед бесчисленными алтарями стали молиться. Но всемогущие боги на сей раз были немые и глухие и не ниспослали кару Камикадзе. И в отцовском саду, перед маленьким алтарем, мальчик-самурай задавал себе мучительные, неразрешимые вопросы: неужели боги утратили силу? Или, быть может, народ, приплывший на «черных кораблях», охраняем более могущественными богами?

Скоро, однако, выяснилось, что никто и не думал изгонять чужестранцев. Они причаливали целыми сотнями с востока и с запада, и для их охраны делалось все нужное и возможное. Им позволили строить на японской земле собственные своеобразные города, и правительство даже издало приказ: во всех японских школах изучать западную науку; английский язык стал в школах важным предметом; общественные училища перекраивались на западный лад. По мнению правительства, будущность страны зависела от изучения и владения иностранными языками, от знания чужестранной науки. И до тех пор, пока это знание не будет достигнуто, Япония должна оставаться под опекой пришельцев. В последнем, конечно, не сознавались открыто, но значение правительственной политики было слишком ясно. Японцы были потрясены, когда поняли положение дел; народ пришел в отчаяние, самураи с трудом сдерживали гнев. Но прошло некоторое время, и всех охватило живейшее любопытство, всем захотелось ближе узнать дерзких и назойливых пришельцев, умевших достигать всего, чего им хотелось. Это любопытство отчасти удовлетворялось огромным производством дешевых раскрашенных картинок, изображающих нравы и обычаи «варваров» и странные улицы в их поселках. Нам эти картинки показались бы карикатурными; но японские художники были далеки от насмешки, — они старались изобразить чужестранцев такими, какими они им действительно казались; а казались они им чудовищами с зелеными глазами, огненными волосами и уродливыми носами, как у содзёбо и тэнгу¹, облеченными в одежды невозможного покроя и цвета, живущими в зданиях, похожих на тюрьмы или на склады товаров. Эти картинки распространялись в стране сотнями тысяч, вызывая, по всей вероятности, в народе странное представление о новоприбывших; а между тем это были невинные и честные попытки изобразить неизвестное. Следовало бы в Европе изучить эти картинки, чтобы понять, какими мы в то время казались японцам, — какими некрасивыми, уродливыми, смешными.

Молодой самурай вскоре очутился лицом к лицу с живым представителем запада. То был англичанин, приглашенный князем в качестве учителя. Он прибыл под охраной вооруженного конвоя, и было приказано обращаться с ним как со знатной особой. Он не был так безобразен, как изображения на картинках; его волосы были, правда, огненно-красными и глаза странного цвета, но в общем его лицо было скорее приятно. Он стал сразу и надолго предметом всеобщего внимания. Кто не знает предрассудков, с которыми японцы относились к иностранцам до эпохи Мейдзи, тот не может себе

¹ *Тэнгу* (буквально «небесная собака») — существо из японских поверий, живущее в горных ущельях, изображается в облике мужчины огромного роста с красным лицом, необыкновенно длинным носом, иногда с крыльями.



Хиросигэ Утамаро II. Голландец, американец, англичанин



Фудзи, Кохо Сода

представить, как зорко следили за англичанином-педагогом. Жителей Запада считали интеллигентными и очень опасными существами, — не совсем людьми, а стоящими ближе к звериному царству. У них было своеобразное волосатое тело, и их зубы не были похожи на людские зубы; своеобразны были и их внутренние органы, а в нравственном отношении они были очень близки к нечистым духам. Если не среди самураев, то, во всяком случае, в народе иностранцы вызывали не столько физический, сколько суеверный страх. Японский крестьянин никогда не был трусом; но, чтобы понять, каково было тогда его отношение к иностранцам, надо знать японские и китайские поверья о легендарных животных, способных принимать человеческий образ и обладающих сверхъестественной силой; надо знать японскую веру в получеловека, в сверхчеловека, во все мифические существа, нарисованные в старых книгах, веру в бородатых уродов с длинными руками и ногами (асинага и тэнага¹), изображенных наивными художниками или же юмористической кистью Хокусаи. Иностранцы будто воплотили в себе басни китайского Геродота, а их одежда, очевидно, скрывала то, что было в них нечеловеческого.

Таким образом, молодой учитель, сам того не подозревая, стал, как чудовище, предметом внимательного наблюдения. Но, несмотря на это, ученики обращались с ним чрезвычайно учтиво. Они следовали китайскому предписанию, воспевающему «наступать даже на тень учителя». Впрочем, раз он умел преподавать, ученикам-самураям было все равно, человек ли он, или нет. Ведь героя Ёсицуне тэнгу научил владеть мечом; случилось тоже, что существа, лишённые человеческого облика, оказы-

¹ *Асинага* (буквально «долгоногий человек») и *тэнага* (буквально «длиннорукий человек») — пара ёкаев (сверхъестественных существ японской мифологии).

вались учеными и поэтами. Но из-за постоянной маски вежливости за чужестранцем зорко следили, отмечали все его привычки; и конечный результат этих наблюдений и сравнений был для него не особенно лестным. Учитель не мог даже представить себе критики своих учеников; и если бы он, поправляя заданные уроки, понимал то, что о нем говорили, его настроение, конечно, сильно испортилось бы.

— Посмотри-ка на цвет его кожи, — говорили ученики, — сейчас видно, какое у него дряблое тело. Ничего не стоит отрубить ему голову одним ударом сабли.

Раз он вздумал принять участие в их борьбе, в шутку, конечно; но мальчики захотели серьезно испытать его физическую силу; как атлет он в их глазах ничего не стоил.

— Руки-то у него сильные, — говорил один, — но он не умеет помогать всем туловищем; а бедра его совсем слабы, сломать его позвоночник очень легко.

— Я думаю, с иностранцами нетрудно сражаться, — заметил другой.

— На саблях сражаться легко, — возразил третий, — но в обращении с огнестрельным оружием они гораздо искуснее нас.

— Этому и мы можем научиться, — молвил первый, — а научившись западному военному искусству, нам нечего бояться их солдат.

— Они не так закалены, как мы, — заметил другой, — они легко устают и изнемят; в комнате учителя всю ночь огонь, а у меня разболелась бы голова, если бы я пробыл пять минут в такой жарко натопленной комнате.

Но, несмотря на столь страшные слова, ученики беспрекословно слушались учителя, и он полюбил их.

В стране произошли великие перемены, нежданно-негаданно, как землетрясение: феодалские владения были превращены в префектуры, привилегии военной касты уничтожены, все общественное здание перестроено на новых основах. Эти события



Ёситоси Цукиока. Прибытие эскадры

опечалили юношу-самурая; ему, конечно, нетрудно было перенести повинности вассала с феодального князя на государя, и благосостояние его семьи ничуть не пострадало от переворота, но он видел в нем опасность для древней национальной культуры. Этот переворот предвещал неминуемое исчезновение прежних высоких идеалов и многого близкого, дорогого ему. Но он сознавал также, что жалобами не поможешь, что свою независимость страна может спасти только собственным перерождением. Любовь к отчизне повелевала подчиниться необходимости и готовиться к участию в будущей драме.

В самурайских школах он настолько выучился английскому языку, что мог свободно говорить с иностранцами. Он остриг свои длинные волосы, снял сабли и отправился в Йокогаму, чтобы в более благоприятных условиях продолжать изучение языков. Общение с иностранцами уже повлияло на приморское население Японии; оно стало грубым, вульгарным; низший слой общества в его родном городе не посмел бы говорить и вести себя так, как вели себя здесь. Сами иностранцы произвели на него еще худшее впечатление. Был тот момент, когда они еще могли поддерживать тон победителей и когда жизнь в открытых гаванях была гораздо непристойнее, чем теперь. Новые кирпичные здания неприятно напоминали ему японские раскрашенные картинки, изображающие иностранные нравы и обычаи, и он не мог так скоро избавиться от своего по-детски фантастического представления о «чужих».

Разумом он допускал, что они были людьми, как и он, но в его душе что-то протестовало, отказывалось признать их себе подобными.

Расовый инстинкт сильнее интеллекта. Он не мог сразу сбросить суеверных представлений, внедренных в него. Кроме того, ему приходилось быть свидетелем таких явлений, от которых в нем загоралась кровь воина, просыпалось наследие предков, — горячий порыв наказать трусость, искупить несправедливость.

Он, однако, сумел победить отвращение, могущее помешать его дальнейшему развитию. Любовь к отчизне требовала изучить характер врагов. Понемногу он научился объективно наблюдать окружающую жизнь, ее преимущества и недостатки, то, что составляло и силу и слабость ее. Он нашел доброту, служение идеалам, идеалам, непохожим на его идеалы, но все-таки вызывающим в нем уважение, потому что они требовали самоотречения, как и религия его предков.

Он полюбил и стал уважать старого миссионера, совершенно поглощенного своим делом воспитания и обращения. Старик задался целью обратить в христианскую веру юношу, поразившего его необыкновенными способностями; он всячески старался заслужить доверие мальчика. Он помогал ему, обучал его французскому, немецкому, греческому и латинскому языкам, дал ему свободный доступ в свою большую библиотеку. А иметь доступ в иностранную библиотеку и возможность читать сочинения по истории и философии, описание путешествий и изящную литературу, — это в то время было редкой привилегией для японского студента. Предложение было принято с величайшей благодарностью, и хозяину библиотеки нетрудно было уговорить своего любимого ученика заняться чтением Нового Завета. Юноша удивился, найдя «в учении неправой секты» этические требования, сходные с предписаниями Конфуция. Он сказал старому миссионеру: «Это учение не ново для нас, но оно, безусловно, хорошо; я буду изучать эту книгу, и размышлять над нею».

Изучение и думы завели юношу гораздо дальше, чем он ожидал. Когда ему стало ясно, что христианство — великое учение, он должен был пойти дальше и допустить



Утагава Хиросигэ II. Пароход

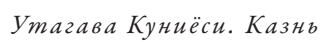
еще многое другое: цивилизация христианских народностей предстала пред ним в новом свете. Многим мыслящим японцам, даже смелым умам, управлявшим внутренней политикой, казалось в то время, что Японии суждено подпасть под чужое владычество. Правда, еще можно было надеяться на лучший исход; а пока существовала хоть тень надежды, все ясно сознавали свой долг. Но власть, грозящая Японской империи, казалась необоримой. И, изучая эту громадную силу, юный самурай невольно спрашивал себя с удивлением, почти со страхом: из каких источников чужестранная цивилизация черпает свои силы? Нет ли таинственной связи между ней и высшей религией, как утверждает его учитель?! Эту теорию подтверждала древнекитайская мудрость, гласящая, что тот народ счастлив, который следует божественным законам и учению своих мудрецов. А если превосходство западной цивилизации было следствием ее высокой этики, — разве не прямой долг каждого патриота принять эту высшую веру, стремиться к обращению всей нации? Юноша того времени, воспитанный в духе китайской науки, незнакомый с историей социальной эволюции Запада, конечно, не мог представить себе, что высшие формы материального прогресса создались безжалостной «конкуренцией», не только противоречащей принципам христианского идеализма, но и вообще несовместимой с какими бы то ни было этическими принципами.

Даже в наше время миллионы легкомысленных людей на Западе верят в какое-то божественное отношение военной власти к вере Христа; в церквях санкционируют политические разбойничьи набеги, а изобретение взрывчатых снарядов называют вдохновением свыше. Никак не искоренишь у нас суеверия, будто нации, исповедующие христианскую веру, избраны Провидением, чтобы грабить и уничтожать иноверческие расы. Есть философы, высказавшие убеждение, что мы все еще поклоняемся Одину и Тору¹, с той только разницей, что Один стал математиком, а молот Тора теперь действует паром. Но таких людей миссионеры клеймят именем атеистов.

Но как бы то ни было, а день наступил, когда молодой самурай решил принять христианство, невзирая на сопротивление родных. Это было смелым шагом, но он с детства был закален строгим воспитанием, и ничто — даже горе родителей — не могло поколебать его решения. Отпадение от веры предков влекло за собою важные последствия: он терял права на наследство, навлекал на себя презрение товарищей, лишался состояния и преимущества своего сословия. Но идеализм самурая научил его забывать о себе. Он видел только одно, думал только о том, что повелевает долг патриота и искателя истины; и этим заветам он следовал без страха и без колебания.

Те, которые думают победить западной религией с помощью доводов современной науки какую-либо древнюю веру, упускают из вида, что эти доводы с такой же убедительностью можно привести и против их собственного вероучения. Средний миссионер, неспособный подняться до высших сфер мысли, не может предвидеть действия его несовершенной проповеди на человека, умственно стоящего много выше его самого. Поэтому он удивлен, поражен, видя, что его самые интеллигентные ученики раньше других вновь отрекаются от христианства. Если умный человек довольствовался буддийской историей сотворения мира, потому что не знал современных наук, то та-

¹ *Один*, или *Вотан* — верховный бог в германо-скандинавской мифологии; мудрец и шаман, знаток рун и сказок (*саг*), царь-жрец, колдун-воин, бог войны и победы, покровитель военной аристократии, хозяин Вальхаллы и повелитель валькирий. *Тор* — бог грома и бури, защищающий богов и людей от великанов и чудовищ (*примеч. ред.*).

[illegible]

кую религиозную веру разрушить нетрудно. Но невозможно заменить в таком человеке восточный мир эмоций западной религией и буддийскую этику протестантскими или католическими догмами. Современные апостолы не понимают, как их миссия непреодолимо трудна в психологическом отношении. Эта трудность коренится глубоко, в тех далеких временах, когда религия иезуитов и монахов была так же полна суеверий, как та, против которой они боролись. Испанские священники, совершавшие чудеса своей несокрушимой верой и пламенным фанатизмом, понимали тогда, что им не осуществить своей задачи без помощи меча. В наше же время обращение в веру Христа еще гораздо труднее, чем в XVI веке. В основу воспитания теперь положена наука, а религия заменена социальной этикой. Количество наших церквей не показатель распространения веры, а лишь подчинение обычаю и жертва условности. Но никогда западные обычаи и условности не завоюют Востока, никогда иностранные миссионеры не будут в Японии стражами нравственности.

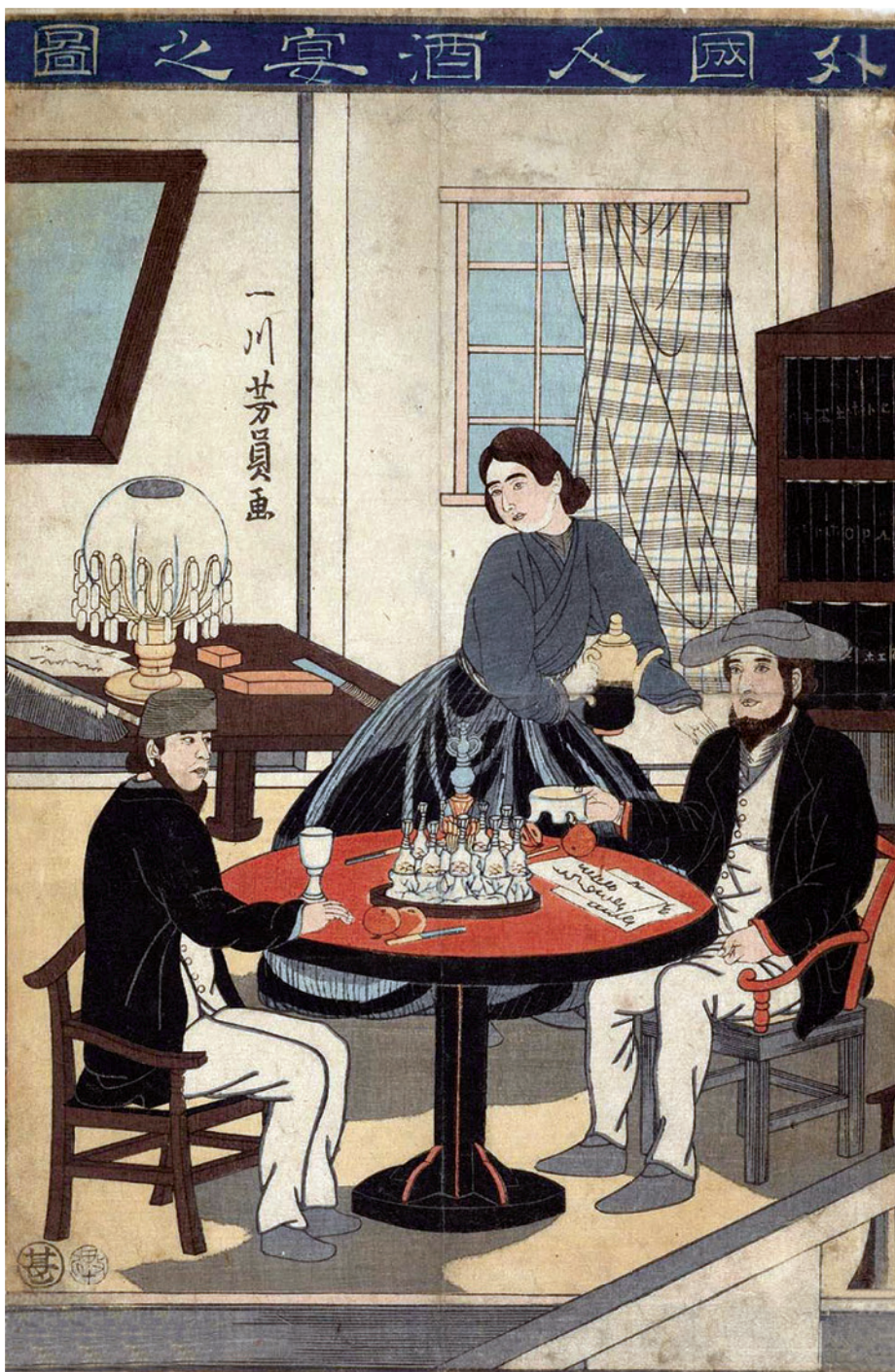
Наши либеральные церкви, те, чья культура глубже и шире других, уже теперь поняли тщетность миссионерства. Для того, чтобы привести буддийский народ ближе к истине, не нужно разрушать старого догматизма, достаточно дать народу разумное воспитание. Поэтому Германия, где воспитание стоит на высоте, больше не посылает миссионеров вглубь страны. Истинный успех миссионерства не в ежегодных отчетах о числе новообращенных, а в преобразовании местной религии и в недавнем правительственном циркуляре, требующем повышения нравственного уровня и образовательного ценза священнослужителей. Но еще задолго до этого циркуляра богатые секты основали буддийские школы по западным образцам; секта Синсю насчитывает уже много представителей своего учения, воспитанных в Париже и Оксфорде, известных во всем мире знатоков санскрита. Японии, несомненно, нужны высшие религиозные формы, чем те, которые были в Средние Века, но эти новые формы должны самостоятельно развиваться из старых. Возрождение должно произойти в самом сердце народа, не навязываясь извне. Нравственные потребности будут удовлетворяться тем же буддизмом, только просветленным, укрепленным западной наукой.

Новый прозелит¹ в Йокогаме готовил христианским миссионерам одно из позорнейших поражений, когда-либо испытанных ими.

Он пожертвовал общественным положением и богатством, чтобы стать христианином, вернее, членом чужой религиозной секты; но прошло несколько лет, и он открыто отпал от той веры, которую приобрел такой дорогой ценой! Он изучил великих современных мыслителей и проникся их идеями глубже своих учителей, которым он задавал вопросы, на которые они не могли отвечать, — разве что утверждением, что книги, отдельные части которых они ему советовали изучать, в целом составляли опасность для веры. Но так как они не были в состоянии опровергнуть эти мнимые лжеучения, то их предостережения были бессильны. Он отрекся от Церкви, публично заявив, что ее догматы не основаны ни на разуме, ни на фактах, что он призван принять мировоззрение тех, кого его учителя осуждают как врагов христианства. Его вторичное отпадение наделало много шума.

Но настоящее, внутреннее, отпадение было еще впереди. В противоположность другим, пережившим то же самое, он знал, что религиозные вопросы для него только временно отошли и затихли, что он постиг лишь азбуку того, что еще предстоит изучить. Он еще верил, что религия способна охранить, удержать человека от зла.

¹ *Прозелит* — человек принявших новую веру (примеч. ред.).



Ёсикацу Утагава. Иностранцы

Смутно представляя себе какую-то связь между цивилизацией и верованием, он нашел веру Христа и принял ее. Китайская философия учила тому же, что современная социология признала за закон: никогда общество не достигало высшего развития без духовенства. Буддизм допускал глубокий смысл и значение притч, дающих наивному уму возможность в простой, удобопонятной форме принимать этические проблемы. С этой точки зрения его интерес к христианству не уменьшился. Его учителя утверждали, что нравственность христианских наций стоит высоко; но этому он верить не мог, и та жизнь, которую он видел в открытых гаванях, только подтверждала его сомнения. Однако он пожелал лично убедиться, каково в западных странах влияние веры на нравы. Для этого он решил посетить европейские государства, изучить причины их развития и источники их силы.

Это ему удалось раньше, чем он ожидал.

Интеллигентный и развитой, он стал скептиком в религиозных вопросах, а в политике — вольнодумцем. Его взгляды шли вразрез с господствующей политикой; он открыто их выражал и поэтому скоро навлек на себя гнев правительства; пришлось покинуть родину, подобно многим другим, неосторожным, подпавшим влиянию новых идей. Началось для него странствование по всему свету. Сначала его приютила Корея, потом Китай; там он с трудом пробивался, давая уроки. Но в один прекрасный день он очутился на пароходе, плывущем в Марсель. Денег у него было немного, но он мало думал о том, как придется жить в Европе. Он был молод, силен, атлетически сложен, умерен, не боялся лишений; он верил в себя, в свои силы, а кроме того, у него были письма к европейцам, которые могли ему помочь.

Но возвратиться в отчизну ему удалось только через долгие, долгие годы.

За эти годы он узнал западную цивилизацию, что редко удается японцу. Он странствовал по Европе и Америке, жил во многих городах, трудился на многих поприщах, — интеллектуально, но чаще физически; таким образом, он изучил высшие и низшие проявления, лучшие и худшие стороны этой жизни. Но он смотрел на нее глазами сына Востока и судил о ней не так, как судили бы мы. Запад судит о Востоке так, как Восток судит о Западе. Чужестранец обесценивает то, что особенно дорого туземцу; оба и правы и нет. Никогда не было полного взаимного понимания, и никогда не будет его.

Запад предстал пред ним величественнее, чем он ожидал: это был мир исполинов. У восточного эмигранта сердце часто щемило и душа омрачалась; каждый, даже самый отважный американец или европеец, очутившись без средств и без друзей в большом чужом городе, испытал бы то же самое. Его охватила неясная тревога, он чувствовал себя одиноким, потерянном среди миллиона куда-то, зачем-то спешащих людей, в оглушительном шуме уличной суеты, подавленный чудовищной бездушной архитектурой, среди нагроможденных несметных богатств, заставляющих мысль и руки работать, подобно машинам, до последних пределов, до последней человеческой возможности. Быть может, в его глазах такие города были тем же, чем Лондон был в глазах Доре: огромным храмом, посвященным золотому тельцу, с тяжелыми мрачными сводами в глухих каменных подземельях, тянувшихся несметными рядами; с возведенными из камня горами, у подножья которых работа горела, кипела, подобно волнам огнистого моря; с бесконечными ущельями, где выставлялись напоказ результаты векового труда и усилий. Но среди этих нескончаемых каменных груд — где нет ни солнца, ни неба, ни ветра — ничто не затрагивало его



Обучение Ёсицунэ, Куниёси Утагава

эстетического чувства. Все, что нас притягивает в больших городах, его угнетало и отталкивало; даже блестящий Париж ему быстро наскучил.

Париж был первым большим городом, в котором он поселился надолго. Французское искусство — отражение утонченной эстетики — его поразило, но не восхищало. Особенно удивляла его культ голого тела; в его глазах это было откровенным признанием в слабости, которую он, как стойкий, глубоко презирал наравне с трусостью и отсутствием чувства долга. Удивляла его и современная французская литература; изумительная красота слога была для него недоступна; а если бы он и понял ее, то все-таки считал бы такое исключительное служение эстетике признаком социального вырождения. То, что он видел в литературе и искусстве, он скоро нашел и в роскошной жизни столицы. В опере и в театре он на все смотрел глазами воина и аскета и удивлялся: то, что на Востоке считалось малодушием, безумием, тут составляло смысл жизни. На светских балах он видел обнажение женского тела, освященное законами моды, но возбуждающее чувства, от которых японская женщина сгорела бы со стыда; и он опять удивлялся, что жители Запада находят неприличным естественную, здоровую наготу восточных крестьян, работающих под палящими лучами летнего солнца. Он видел множество церквей и соборов, а рядом — замки разврата и магазины, живущие продажей бесстыдных статуй и картин. Он внимал проповедям великих священников-ораторов и слышал кощунственные речи против всяких вероучений; он видел богатей и нищих и видел бездонную пропасть, готовую поглотить и тех и других. Но нигде он не видел облагораживающего влияния религии.

Этот мир был миром безверия, обмана, притворства, эгоизма и погони за наслаждением; этим миром управляла политика, а не вера; быть сыном этого мира он за счастье не мог почитать!

Мрачная, величественная, мощная Англия готовила ему иные проблемы. Он увидел ее несметные богатства наряду со столь же несметною нищетой и грязью, расплывшейся так обильно в темных закоулках этой страны. Он видел огромные гавани, загроможденные достоянием многих стран, — большую часть награбленных; и он пришел к заключению, что современные англичане были такими же хищниками и грабителями, как их предки. Он подумал: что, если эти миллионы людей хотя бы на месяц лишатся возможности пользоваться трудом других народов? Что станет с ними? В этом величайшем из городов он видел чудовищное распутство и пьянство, от которых ночи превращались в какие-то отвратительные кошмары; и он не понимал ханжества, притворно слепого, глухого; не понимал религии, творящей в этом омуте благодарственные молитвы; не понимал ослепления, посылающего миссионеров туда, где они не были нужны; не понимал легкомысленной благотворительности, еще способствующей распространению пороков и болезней. Он прочитал мнение знаменитого англичанина¹, объездившего много стран, что десятая часть населения Англии — профессиональные преступники и нищие. И все это, несмотря на мириады церквей и бесчисленные постановления законов! Нет, в Англии менее, чем где-либо, он видел мнимую власть религии, бывшей якобы источником всякого прогресса. На улицах Лондона он видел обратное. Никогда он не встречал ничего подобного в буддийских городах. Нет, эта цивилизация была лишь продуктом проклятой борьбы доверчивого с хитрым, слабого с сильным; и сила, вступая в союз

¹ *Альфред Рассел Уоллес* (1823–1913) — британский натуралист, путешественник, географ, биолог и антрополог (примеч. ред.).



Томиока Эйсэн. Черные корабли

с хитростью, толкала слабого в пропасть. В Японии самый дикий лихорадочный бред не мог бы создать такого ужаса. А между тем он не мог не признать подавляющих материальных и интеллектуальных результатов этих условий. И хотя окружающее его зло превышало всякую меру, он видел и много добра в богатых и бедных. Бесчисленные противоречия, поразительное сочетание добра и зла оставались для него неразрешимой загадкой.

Английскую нацию он любил больше других. Представители английских привилегированных классов напоминали ему самураев. Наружно сдержанные, холодные, они, однако, были способны на истинную дружбу и доброту; они чувствовали глубоко, а храбрость их покорила полмира. Он собрался поехать в Америку, чтобы там изучить новое поле человеческой деятельности; но отдельные национальности уже перестали его интересовать; они в его представлении слились воедино; западная цивилизация стояла перед ним как нечто целое, всепоглощающее, неумолимое; в монархии и в республике, при аристократическом и демократическом строе — всюду она следовала тем же законам железной необходимости, всюду достигала тех же изумительных результатов, всюду опиралась на основы и идеи, диаметрально противоположные тем, которыми жил далекий Восток. Живя среди этой цивилизации, он в ней ничего не мог полюбить и ни о чем не мог пожалеть, расставаясь с ней навеки. Она была для

него далекой, чужой, как жизнь на другой планете, под лучами иного, неведомого, солнца. Но, измеряя ее меркой человеческого страдания он понимал ее цену, понимал ее грозную силу и предчувствовал неизмеримое значение ее интеллектуального превосходства.

И он возненавидел ее! Ненавистен был ему этот огромный, безошибочно действующий механизм и устойчивость, основанная на вычислениях; ненавистна ее условность, алчность, слепая жестокость, ее ханжество, отвратительность нищеты и наглость богатства. Она показала ему бездонный упадок, но не показала идеалов, равноценных его юношеским идеалам. Это была огромная дикая война, и ему казалось положительно чудом, что наряду со столь великим злом сохранилось еще так много истинной доброты. Действительное превосходство Запада было только интеллектуально: знание достигало головокружительных высот, но на этих высотах был вечный снег, и под ним застывала душа. Нет, неизмеримо выше стояла древнеяпонская культура, культура души, проникнутая радостным мужеством, простотой, самоотречением и умеренностью; выше были ее запросы счастья и ее этические стремления, святее ее проникновенная вера. На Западе царило превосходство не этики, а интеллекта, изощряющегося в способах угнетения, уничтожения слабого сильным.

А между тем наука доказывала с неумолимой логикой, что власть западной цивилизации будет расти, все расти и, наконец, зальет всю землю неизбежным, необъятным потоком мирового страдания.

Япония должна была подчиниться новым жизненным формам, принять новые методы мышления. Другого исхода не было. И его охватило величайшее из сомнений, перед ним встал вопрос, который преследовал всех мудрецов во все времена: вопрос о нравственности мирового порядка. На этот вопрос буддизм дал глубочайший ответ.

Но нравственны ли мировые законы (с несовершенной, человеческой, точки зрения), или нет, — одно было несомненно, непоколебимо никакой логикой: человек должен всеми силами стремиться к достижению высших этических идеалов, стремиться до неведомых границ, стремиться, хотя бы светила небесные преградили его путь.

Необходимость заставит японцев принять чужую науку и многое из внешних проявлений чужой цивилизации. Но никогда они не отрекутся от своих идеалов, от своих понятий о зле и добре, о правде, долге и чести. Медленно в его душе назревало решение; назрело, воплотилось и сделало его впоследствии учителем и вождем своего народа. Он решил все свои силы положить на то, чтобы сохранить все лучшее в наследии старины; он решил храбро бороться против всех нововведений, которые не требовались для самосохранения и саморазвития нации. Конечно, он мог потерпеть неудачу, мог погибнуть, но мог и спасти из обломков много ценного. Безумная расточительность на Западе произвела на него больше впечатления, чем жажда наслаждений и способность страдать. В чистенькой бедности своего народа он видел силу, в самоотверженной бережливости — единственный способ борьбы с Западом. Никогда он не оценил бы так глубоко красоты и преимуществ своей родины, если бы не познал чужой культуры. Он томился в ожидании дня, когда ему снова будет дано вернуться на родину.

В прозрачном полумраке апрельского утра, перед восходом солнца, он снова увидел горы отчизны, безоблачное небо над темной-темной водой, над темно-фиолетовыми цепями горных вершин. Пароход с изгнанником подходил все ближе к родной земле, а за ним горизонт понемногу занимался багровой зарей. На палубе собрались



Ёситоси Цукиока. Обучение самурая

пассажиры; они ждали, когда покажется Фудзияма; впечатление, которое производит эта гора, остается навеки, — его не забудешь ни в этой жизни, ни в жизни загробной...

Они смотрели в глубокий мрак ночи, в котором ступенями поднимались зубчатые вершины гор-великанов; звезды еще не померкли, но Фудзияму еще не было видно.

Один офицер заметил, смеясь: «Так вы ее не увидите; смотрите выше, все выше...»

Они подняли глаза, смотрели все выше и выше, в самое сердце небес, — и увидели вершину, зардевшуюся розовым светом в заре нарождающегося дня, как призрачный, распускающийся лотос. Они безмолвно смотрели, зачарованные красотой...

Вечный снег загорелся золотым блеском и потух, когда солнце залило его своими лучами. Казалось, будто вершина волшебной горы парила над всей горной цепью, близкая к звездам. Подножие еще тонуло во мраке. Ночь исчезала; нежный бледный свет скользил по небосклону; пробуждаясь, вспыхивали цвета.

Перед взорами путешественников развернулся залив Йокогамы со священной горой; вершина горы казалась призраком, окутанным снегом, в шири и выси небесной, над невидимой глубиной.

В ушах путешественников еще звучали слова: «Глядите выше, выше, все выше...».

В их сердцах росло властное необоримое чувство, и их душевные струны стройно звучали.

Глаза изгнанника застлал какой-то туман, все вокруг исчезло для него. Он не видел ни Фудзияму вдаль, ни близких гор, покрытых голубой дымкой, позолоченной

солнцем; он не видел в гавани множества пароходов, не видел новой Японии. В его воображении воскрес древний мир; ветер, насыщенный ароматом весны, касался его, воскрешая далекие, давно позабытые призраки, — тени того, что он оставил когда-то, что так хотел позабыть. Он увидел лица дорогих умерших, узнал их голоса с потустороннего берега. Он снова увидел себя мальчиком в доме отца, бегающим из одной освещенной комнаты в другую, играющим на залитых солнцем лугах со скользящими тенями от листьев; мальчик смотрел в зеленую даль, где все было так нежно, мечтательно, мирно...

Он будто почувствовал прикосновение материнской руки, ведущей малютку, семенящего ножонками, на утреннюю молитву к алтарю, посвященному предкам. И губы взрослого человека зашептали, внезапно поняв тайный их смысл, простые слова детской молитвы...

ЯПОНСКАЯ УЛЫБКА

Тот, кто черпает свое знание о мире с его чудесами из одних только романов и повестей, все еще склонен думать, что на Востоке люди серьезнее, чем на Западе. Но кто проникает в жизненные явления глубже, тот приходит к обратному заключению; тот понимает, что при существующих условиях Запад вдумчивее Востока и что, кроме того, серьезность и веселье, вдумчивость, угрюмость и легкомыслие могут быть лишь усвоенными обычаями, внешними ликами.

Однако этот вопрос, так же как и другие, нельзя подчинить одному общему закону, применяемому к тому или другому полушарию. Научно мы должны довольствоваться общим изучением контрастов, не льстя себя надеждой, что нам удастся удовлетворительно объяснить сложные причины их. Таким интересным контрастом являются англичане и японцы.

Мнение, что англичане — серьезный народ, стало уже общим мнением, их считают не только наружно серьезными, но серьезными до основ и корней, таящихся в глубине расового характера. На том же основании можно было бы утверждать, что японцы легкомысленны как внутренне, так и наружно, даже сравнительно с народностями не столь серьезными, как британская. И это качество делает их счастливыми; быть может, японцы — счастливейший из цивилизованных народов, чего про нас, угрюмых представителей Запада, нельзя сказать; мы даже не отдаем себе отчета, насколько мы серьезны, и мы, вероятно, испугались бы, узнав, насколько рост промышленной жизни способен еще увеличить эту черту характера. Быть может, только долгое пребывание среди более легкомысленного народа дало бы нам настоящее понимание нашего темперамента.

Это убеждение непреодолимо возникло во мне, когда после трехлетнего пребывания в глубине Японии я на несколько дней снова очутился в открытой гавани Кобэ, лицом к лицу с английской жизнью. Я никогда не думал, что меня так глубоко потрясет английская речь в английских устах; но это волнение продолжалось недолго. Целью моего приезда в Кобэ были кое-какие необходимые покупки. Меня сопровождал мой друг, японец, для которого жизнь вокруг была чуждой, новой, необычайной. Он задал мне странный вопрос: «Почему иностранцы никогда не улыбаются? Вы улыбаетесь и кланяетесь, разговаривая с ними, а они — никогда. Почему?»

И действительно, прервав связь с западной жизнью, я усвоил японский обычай. Лишь после слов моего друга я понял мое несколько странное поведение; его слова выразили как нельзя лучше, насколько трудно взаимное понимание двух разных племен: каждое судит обычаи и побуждения другого по себе, — и судит ложно. Японцы удивляются английской суровости, а англичан удивляет японское легкомыслие. Японцы говорят о чужестранных «злых лицах», а жители Запада с презрением относятся к «японской улыбке», считая ее неискренней. И лишь немногие, более чуткие, видят в японской улыбке загадочное явление, в которое стоит глубже проникнуть. Один

из моих друзей в Йокогаме, премилый человек, большую часть своей жизни проживший в открытых гаванях на Востоке, сказал мне перед моим отъездом в сердце страны: «Вы теперь собираетесь изучать японскую жизнь; так не сумеете ли вы объяснить мне одно непонятное явление: я не могу понять японской улыбки, — я не постигаю ее. Позвольте рассказать вам один из многих случаев моей жизни. Однажды, спускаясь с крутого откоса, я встретил на повороте рикшу с пустой тележкой, идущего с той же стороны дороги, по которой ехал и я. Удержать вовремя лошадей я не мог бы даже при желании. Но я и не пытался их удержать, так как не думал о какой-либо опасности; я только крикнул по-японски, чтобы он свернул с моего пути; но он только прислонил куруму к утесу оглоблями наружу. Я мчался так скоро, что не мог удержать лошадей; не успел я опомниться, как моя лошадь наехала на оглоблю; рикша остался невредимым. При виде окровавленной лошади, я потерял всякое самообладание и со всего размаха кнутом ударил рикшу по голове. Он прямо посмотрел мне в глаза, улыбнулся и поклонился. Эта улыбка меня совершенно ошеломила, гнев мой сразу исчез... Заметьте, это была вежливая улыбка. Но что означала она? Почему он, черт возьми, улыбался? Никогда я этого не пойму...».

В то время не понимал этого и я. Но со временем я научился понимать значение еще более загадочных улыбок. Японец способен улыбаться, смотря в глаза смерти, и он обыкновенно умирает с улыбкой... Это не упрямство, не лицемерие и еще менее улыбка усталого смирения, которую мы склонны отождествлять со слабостью... Напротив, это тончайший этикет, утвердившийся в течение долгих лет. Японская улыбка красноречивее слов, но всякая попытка разгадать ее по западным правилам физиономистики окажется столь же тщетной, как попытка понять китайские иероглифы по их действительному или кажущемуся сходству со знакомыми нам изображениями.

Наши первые впечатления преимущественно инстинктивны, и научно за ними признается некоторое значение. Так и первое впечатление, вызываемое японской улыбкой, недалеко от истины. Счастливое, улыбающееся выражение лица японца поражает нас, и это первое впечатление в большинстве случаев очень приятно. Вначале японская улыбка чарует; лишь после, когда видишь ее при самых несоответствующих обстоятельствах — в минуты печали, боли, разочарования, — нас охватывает недоверие; иногда, при слишком явном несоответствии с окружающим, она может вызвать даже гнев.

Эта улыбка бывает часто причиной недоразумения между хозяевами-иностранцами и туземными служащими. Кто придерживается британской традиции, по которой хороший слуга должен быть важным и сдержанным, тот не в состоянии терпеливо снести улыбки своего «boy». И японцы уже начинают считаться с этой западной причудой: заметив, что англичанин в большинстве случаев ненавидит улыбку и склонен принять ее за обиду, японские рабочие в открытых гаванях перестали улыбаться и показывают угрюмые лица.

При этом мне вспоминается странный случай, рассказанный одной дамой из Йокогамы о ее служанке-японке.

«Несколько дней тому назад приходит ко мне моя служанка и, улыбаясь, будто случилось нечто необыкновенно приятное, говорит мне, что муж ее умер, а она просит позволения пойти отдать ему последний долг. Я, конечно, разрешила. Кажется, его тело должны были сжечь. Вечером она возвращается, показывает мне урну, а в ней немного пепла и уцелевший зуб. „Вот это мой муж“, — говорит она и, вы не поверите, но она засмеялась при этом. Можете ли вы представить себе нечто более отвратительное?..»



Фудзисима Такедзи. Будда из Камакуры

Было бы напрасно убеждать рассказчицу, что не бессердечие руководило служанкой; наоборот, ее поведение было полно героизма и трогательного самоотречения. Но в таких случаях внешнее проявление способно ввести в заблуждение не только ограниченного филистра. А, к сожалению, среди иностранцев, поселившихся в открытых гаванях Японии, много филистеров; они и не думают заглянуть вглубь окружающей их жизни. Мой друг из Йокогамы, рассказавший мне историю с курумой, был проникательнее других и не решался судить по внешнему впечатлению. Непонимание японской улыбки часто вело к роковым последствиям; так, например, в давнем случае некоего N., старого йокогамского купца. N. пригласил к себе в дом — кажется, в качестве учителя — симпатичного старого самурая, с косой и двумя саблями, по обычаю того времени. И в наше время англичане и японцы не особенно хорошо понимают друг друга, а в те времена они были еще дальше друг от друга.

Вначале туземцы-служашие вели себя в домах иностранцев, как в японском знатном доме. Эта невинная ошибка часто вызывала иностранцев на самоуправство и жестокость. Но скоро пришлось убедиться, что опасно обращаться с японцами, как с неграми Вест-Индии. Многих иностранцев убили, и это имело хорошие нравственные последствия...

Но я отклоняюсь...

Итак, N. был очень доволен своим старичком-самураем, хотя совершенно не понимал и не оценивал его восточной учтивости: его земных поклонов, маленьких случайных подарков и тому подобных привычек.

Однажды старик явился с просьбой об услуге. Кажется, это был канун японского Нового года, когда всем нужны деньги по причинам, объяснять которые было бы слишком долго. Старик просил N. ссудить ему под залог одной из сабель — кажется, длинной — небольшую сумму. Оружие было роскошное, и купец, оценив его, без размышления дал старику взаймы требуемую сумму. Через несколько недель старик уже был в состоянии выкупить свою саблю. Что было причиной последующего рокового исхода, никто не мог бы сказать, — быть может, нервы N. были расстроены... Как бы то ни было, но в один прекрасный день он очень рассердился на старика, который на гневные слова отвечал лишь улыбкой и киванием головы. Это еще более разожгло гнев купца, и он разразился потоком обидных для старика слов. Но старик только улыбался и кланялся. N. в бешенстве выгнал его из комнаты; но старик продолжал улыбаться и кланяться. Тогда N., потеряв всякое самообладание, в порыве слепого раздражения ударил старика... Но вдруг N. похолодел от ужаса: большая сабля мгновенно обнажилась и блеснула перед его глазами, а старик внезапно помолодел... Лезвие же японской сабли очень остро, и значение его роковое: одно мановение умелой руки — и голова противника летит с плеч.

Но каково было изумление N., когда старик с ловкостью искусного воина быстро снова вложил саблю в ножны, повернулся и вышел из комнаты.

Пораженный N. задумался глубоко... ему вспомнились различные милые и трогательные особенности старика: его скромная, простая, сердечная доброта, услуги, которых никто не требовал и не ценил, его безусловная честность... N. почувствовал что-то вроде стыда, но постарался утешить себя тем, что то была вина самого старика: «Какое он имеет право смеяться мне в лицо, когда я сержусь?..».

Он даже решил извиниться при случае...

Но этот случай никогда не представился больше, потому что в тот же вечер старик по обычаю самураев, совершил над собою хакари.



Утагава Ёсику. Европейец и японка

В безукоризненно написанном письме он изложил причины, побудившие его покончить расчеты с жизнью: получить незаслуженный удар, не отомстив за позор, — это оскорбление, которого самурай пережить не может. Он получил такой удар и при других условиях, конечно, отомстил бы за позор, но тут обстоятельства были особые: самурайский кодекс чести запрещает обнажать саблю против человека, которому она в минуту нужды была заложена за деньги. Итак, не будучи в состоянии воспользоваться саблей, чтобы отомстить за обиду, ему ничего не остается, кроме благородного самоубийства...

Чтобы смягчить тяжелое впечатление, вызванное этим рассказом, я предоставляю читателю вообразить, что Н. действительно был глубоко огорчен и великодушно позаботился о судьбе родственников покойного. Но пусть читатель не думает, чтобы Н. когда-либо мог понять улыбку старика, — улыбку, вызвавшую обиду и роковой исход.

Чтобы понять японскую улыбку, необходимо проникнуть в древнюю, самобытную жизнь японского народа. В зараженных современной культурой привилегированных классах ничему не научишься. Глубокое значение расового различия с каждым днем возрастает под влиянием цивилизации.

Вместо того чтобы увеличить обоюдное понимание, она увеличивает пропасть между Западом и Востоком. Иностранцы, наблюдавшие японцев со стороны, придерживаются того мнения, что причина этого отчуждения — чрезмерное развитие некоторых качеств, например врожденного материализма, еле заметного в низших классах. Это объяснение меня не совсем удовлетворяет, но одно несомненно: чем образованнее по нашим понятиям японец, тем дальше он от нас душою. Под влиянием новой культуры характер его кристаллизовался во что-то своеобразно-непроницаемое и жесткое по западным понятиям. По-видимому, душою японский ребенок нам гораздо ближе японца-ученого, крестьянина — ближе государственного деятеля. Между культурным, высокообразованным современным японцем и западным мыслителем нет созвучия интеллектов. Вместо симпатии мы в японце находим по отношению к нам лишь холодную корректную вежливость. И, кажется, что-то, что в других странах способствует развитию души, здесь — как это ни странно — подавляет его. Мы, на Западе, привыкли думать, что чутко и высоко настроенная душа — следствие развитого интеллекта. Но было бы грубой ошибкой применять этот взгляд и к Японии. Даже в школе учитель-иностранец чувствует, как с каждым годом, переходя в высший класс, ученики удаляются от него; в высших учебных заведениях пропасть разрастается еще быстрее, и к поступлению в университет или другое высшее учебное заведение между студентом и профессором устанавливаются только официальные отношения. Эта загадка может быть до некоторой степени физиологическая, требующая научного объяснения. Но разгадку ее прежде всего следует искать в жизненных привычках, унаследованных от предков, и в фантазии, насыщенной представлениями из тьмы глубоких времен. До дна исчерпать этот вопрос удастся, лишь ознакомившись с его естественными причинами, а это не так-то просто.

По мнению некоторых исследователей, современное воспитание в Японии не могло еще поднять душевной жизни до тех высот, на которых вибрирует наша западная душа. Они говорят, что это воспитание было невсесообразно и немудро, действовало односторонне и в ущерб характеру. Но исходная точка этой теории требует еще доказательства: можно ли вообще создать воспитанием характер? Эта теория не считается с фактом, что лучшие результаты достигаются лишь созданием простора для самоутверждения врожденных наклонностей, а не системой обучения, какова бы она ни была.

Надо искать причину интересующего нас явления в расовых особенностях. Как ни велико будет влияние высшей культуры в будущем, однако от нее нельзя ожидать, чтобы она пересоздала человеческую природу. И не заглушает ли она теперь некоторых неуловимых движений души? Я думаю, что это так, потому что при существующих условиях требования культуры поглощают все духовные и нравственные силы. Весь чудесный древний национальный дух, исполненный терпения, чувства долга, самоотречения, стремился в прежние времена к социальным, нравственным или религиозным идеалам, теперь же под давлением дисциплины современного воспитания дух сконцентрировался на достижении единой цели, не только требующей, но и совершенно поглощающей все его силы.

Достижение этой цели сопряжено с такими трудностями, которые западному студенту едва ли знакомы и, быть может, просто непонятны. Качества, столь удивляющие нас в древнеяпонском национальном характере, проявляются, наверное, и в современном японском студенте с его неутомимостью, восприимчивостью и честолюбием, равных которым нет на всем свете. Но эти же качества толкают его слишком далеко, и он напрягает свои природные способности часто до полного умственного и нравственного истощения. Вся нация переживает период интеллектуального переутомления. Сознательно ли, бессознательно ли, но Япония, повинуясь внезапной необходимости, предприняла ни более ни менее как огромную задачу: насильственно довести умственный расцвет до высшей точки. Такое интеллектуальное развитие в течение лишь нескольких поколений ведет за собою физиологические изменения, которые никогда не обходятся без ужасающих жертв. Другими словами, Япония поставила себе слишком большую задачу, впрочем, при существующих условиях ей вряд ли можно было поступить иначе. К счастью, правительственная система воспитания поддерживается даже беднейшими классами с изумительным рвением. Вся нация набросилась на учение с таким воодушевлением, о котором в узких рамках этой статьи нельзя дать даже приблизительного понятия.

Но мне хочется привести по крайней мере один трогательный пример. Непосредственно после ужасного землетрясения в 1891 году можно было видеть в разрушенных городах Гифу и Айки голодных, иззябших, бесприютных детей. Окруженные неописуемым ужасом и нищетой, они сидели в пыли и пепле разрушенного дома и учились, как в обыкновенное время, не обращая внимания на то, что происходило вокруг. Кусочек черепицы с крыши родного разрушенного дома служил аспидной доской, горсточка извести заменяла мел, — а земля под ними еще колебалась!

Сколько чудес можно еще ожидать от такой ошеломляющей энергии в стремлении к просвещению?!

Но надо сознаться, что результаты современного высшего образования не всегда были удачны. Среди японцев старого закала мы встречаем вежливость, самоотречение, чистосердечную доброту, достойную похвалы и восхищения. В новом же поколении, на которое современное образование наложил свой отпечаток, все это исчезло почти бесследно. Появился модный тип молодого человека, с насмешкой относящегося к обычаям старины, а между тем неспособного пойти дальше вульгарного подражания и пошлых скептических обобщений. Где обаятельные, благородные качества, которые они должны были бы унаследовать от отцов?! Быть может, прекрасное наследие в них превратилось в простое честолюбие, неизмеримо большое, исчерпавшее весь характер, лишив его силы и равновесия?

Чтобы понять значение наиболее резких различий между национальным чувством и душевными проявлениями на Западе и на Дальнем Востоке, надо проникнуть в жизнь низших народных слоев, где все еще живо и самобытно. В общении с этими кроткими маленькими людьми, преисполненными сердечной доброты, одинаково улыбающимися и жизни и смерти, мы еще встретим духовное родство, когда дело касается простых, естественных вещей; и если мы дружески, с симпатией, прислушаемся к ним, мы понемногу поймем их улыбку.

Японский ребенок рождается с этой счастливой способностью, и ее тщательно растят во все время домашнего воспитания. Ее лелеют и развивают в нем так же заботливо, как рост садового растения. Улыбке учат, как учат поклону, падению ниц, звучному втягиванию воздуха ртом — знаку радости при встрече с лицом вышестоящим, — как учат вообще всему, чего требует изысканный этикет старомодной вежливости. Улыбку должна вызывать не только радость, не только разговор с лицом вышестоящим или равным, нет, она должна озарять лицо и во всех тяжелых случаях жизни — этого требует хорошее воспитание. Улыбающееся лицо приятно для глаз; а показывать родителям, родственникам, учителям, друзьям и покровителям приятное лицо — одно из жизненных правил. То же правило требует казаться всегда счастливым, производить на других насколько возможно приятное впечатление. Пусть сердце разрывается от горя, — светский дом требует улыбки. Серьезный, а еще более несчастный вид считается невежливым: ведь тем, кто нас любит, мы причиняем этим заботу и горе; а в тех, кто нас не любит, вызываем лишь пустое любопытство, а это неразумно. И улыбка, привычная с детства, становится уже инстинктивной. В сознании беднейшего крестьянина живет убеждение, что выражать на лице свою личную скорбь или злобу бесполезно, и притом всегда тяжело для других. И хотя горе в Японии, как и везде, естественно выражается в слезах, несдержанное рыдание в присутствии гостей или лиц вышестоящих считается невежливым; и если даже у простой необразованной крестьянки нервы не выдержат и она разразится слезами, она тотчас же скажет: «Простите, что я отдалась своему чувству; я была очень невежлива по отношению к вам!...».

Необходимо заметить, что улыбки требует не только этика, но и до некоторой степени и эстетика. Отчасти в основе ее лежит та же идея, которая в греческом искусстве управляла выражением страдания. Но все-таки улыбка в гораздо большей степени этическая, чем эстетична, — это мы увидим сейчас.

Из первоначального, главного, этикета улыбки развился второстепенный, часто вызывающий в иностранцах самое ложное толкование японской души. Национальный обычай требует с улыбкой сообщать о печальном, даже потрясающем событии. Чем горестнее обстоятельства, тем выразительнее улыбка; а если случай особенно трагичен для передающего, то нередко улыбка переходит в тихий, нежный смех. Мать, потерявшая первенца, горько рыдает во время погребальных церемоний; но если она у вас служит, то, вероятно, сообщит вам о своей потере с улыбкой. Она разделяет мнение буддийских жрецов, что есть время для смеха, как есть время для слез.

Долго я сам не понимал, как люди, только что потерявшие любимого, близкого человека, могут сообщать о его смерти со смехом. Но смех этот — вежливость, доведенная до высшей грани самозабвения; смех этот говорит: «Вы по своей доброте сочтете это печальным событием, но не сокрушайте своего сердца таким пустяком; простите, что необходимость заставляет меня нарушить закон вежливости и заговорить об этом».



Утагава Ёсику. Пара

Ключ, раскрывающий тайну непонятнейшей из улыбок, — это японская вежливость. Слуга, которому за проступок грозит увольнение со службы, падает ниц и с улыбкой просит прощения. Улыбка эта недерзка, бесчувственна, наоборот, она говорит: «Будьте уверены, что я проникнут справедливостью вашего просвещенного приговора, что я сознаю всю тяжесть моего проступка; но мое горе и мое бедственное положение дают мне надежду, что моя недостойная мольба о прощении будет услышана вами».

Мальчик или девочка, уже стыдящиеся детских слез, принимают наказание с улыбкой и словами: «В моем сердце нет недоброго чувства; я заслуживаю гораздо худшего».

И курумайя, ударенный моим другом, улыбался по той же причине; и мой друг бессознательно понял это, потому что улыбка курумайя его тотчас же обезоружила.

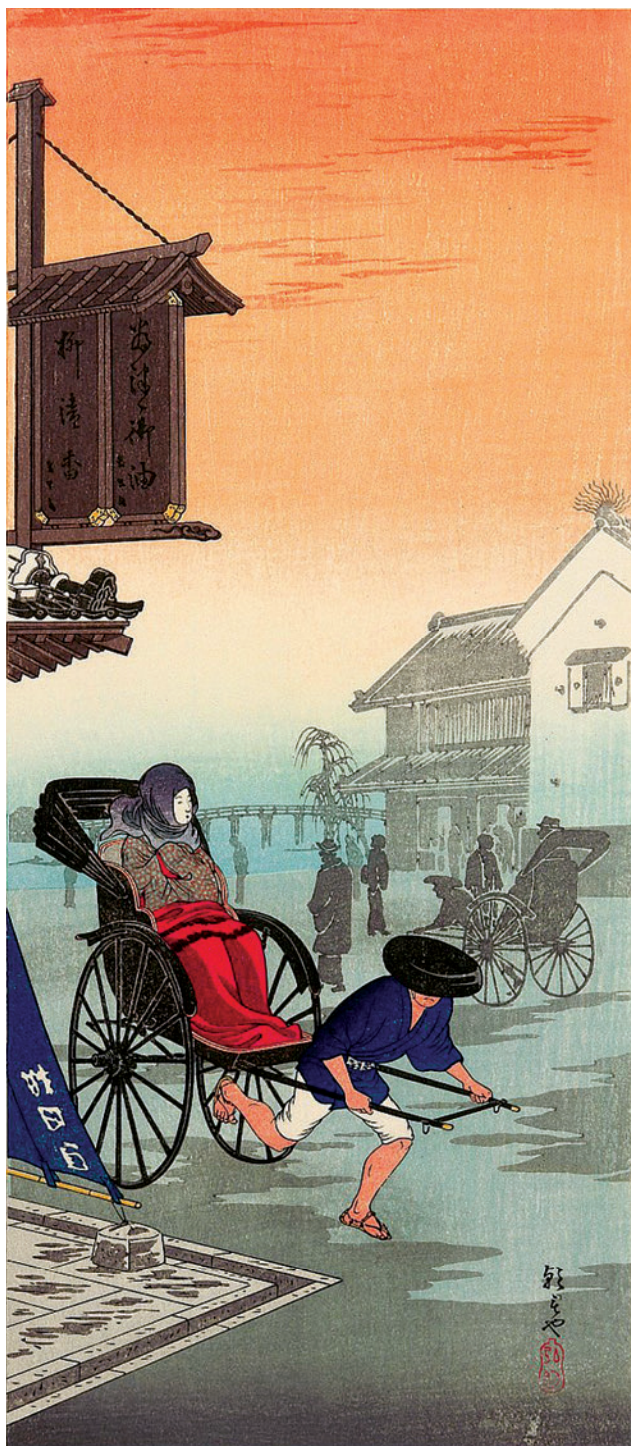
«Я очень виноват перед вами, ваш гнев справедлив, я заслужил удар, и поэтому во мне нет злобы на вас», — говорила эта улыбка.

Но несправедливости не перенесет спокойно даже самый бедный, самый кроткий японец; это необходимо понять. Его внешняя покорность главным образом основана на нравственном чувстве. Иностранец, которому вздумается ударить японца в порыве заносчивости, без повода, скоро убедится в своей роковой ошибке. Японцы не шутят, и за такие грубые поступки многие уже заплатились жизнью.

Однако, несмотря на все вышеизложенные объяснения, случай с японской служанкой должен все-таки казаться непонятным. Впрочем, лишь потому, что рассказчица не заметила или упустила из вида некоторые факты. В первой половине рассказа все, кажется, ясно: сообщая о смерти мужа, молодая служанка улыбалась согласно упомянутому выше этикету. Но совершенно невероятно, чтобы она по собственному побуждению обратила внимание хозяйки на содержание урны. Очевидно, она достаточно знала японский этикет вежливости, потому что улыбнулась, сообщая о смерти мужа; и этот же этикет должен был ее удержать от неприличия второго поступка. Показать урну она могла лишь по требованию хозяйки, — действительному или предполагаемому. И при этом, конечно, послышался нежный смех, всегда сопровождающий неизбежное исполнение печального долга или вынужденное мучительное объяснение. Я думаю, ей пришлось удовлетворить праздное любопытство хозяйки. Ее улыбка или смех говорили, быть может: «Да не взволнуются ваши драгоценные чувства моим недостойным сообщением; с моей стороны, право, очень нескромно даже по вашему милостивому повелению упоминать о таком презренном обстоятельстве, как мое горе».

Но нельзя считать японскую улыбку чем-то в роде «sourire figé»¹, чем-то вроде постоянной маски, скрывающей душу. Наравне с другими вопросами этикета и здесь действует известный закон, различный для различных слоев общества. Старые самураи в общем не были склонны улыбаться при каждом удобном случае: они приберегали свою любезность для лиц высокопоставленных или проявляли ее в тесном семейном кругу; по отношению к подчиненным они, очевидно, держали себя величественно и строго. Торжественный облик синтоистского духовенства общеизвестен; а суровость законов Конфуция в течение столетий отражалась на внешности чиновников и правительственных лиц. Издревле дворянство проявляло еще более гордую сдержанность, и торжественность росла с каждой ступенью рангов все выше вплоть до того страшного церемониала, которым был окружен микадо Тэнси-Сама, лика которого ни один смертный не должен был видеть.

¹ *Sourire figé* — застывшая улыбка (*фр.*).



Такахаси Хироаки. Рикша

Но в частной жизни обращение даже к высокопоставленным лицам отличается любезной непринужденностью; и, если не считать некоторых исключений, на которые современная мода наложила свой отпечаток, мы видим и в наше время, что дворянин, судья, верховный жрец, министр, офицер в промежутках между исполнением служебных обязанностей, дома еще считаются с требованиями очаровательной древней вежливости.

Улыбка, озаряющая разговор, — лишь одно из проявлений этого этикета вежливости; но чувство, символом которого служит улыбка, играет огромную роль. Если у вас случайно есть образованный друг-японец, оставшийся еще верным духу своей нации, не тронутый современным эгоизмом и не подпавший под чужое влияние, то вы можете на нем изучить главные социальные черты всего народа. Вы заметите, что он почти никогда не говорит о себе; на ваши упорные вопросы о его личных делах он с учтивым поклоном постарается ответить как можно короче и неопределеннее. Но, со своей стороны, он подробно будет расспрашивать о вас, будто ваши мнения, мысли, даже незначительные подробности повседневной жизни его глубоко интересуют. И никогда он ничего не забудет из того, что когда-либо узнал от вас. Но его любезное, сочувственное любопытство имеет свои строгие границы, быть может, и его наблюдательность. Он никогда не затронет вашего больного места и останется слепым и глухим ко всем вашим маленьким слабостям. Он никогда не будет хвалить вас в лицо, но и смеяться не будет над вами, не будет осуждать вас. Он вообще никогда не критикует личность, а лишь последствия ее поступков. Если вы обратитесь к нему за советом, он никогда не будет критиковать ваших намерений, — самое большее, если он соблаговолит вам указать иную возможность приблизительно в следующих осторожных выражениях: «Быть может, для вашей непосредственной выгоды было бы полезнее поступить так-то или так-то».

Если необходимость заставит его говорить о другом, он никогда не заговорит прямо о данном лице; своеобразным окольным путем он приведет и скомбинирует все достаточно характерные черты, чтобы вызвать нужный образ. Но вызванный им образ пробудит только интерес и хорошее впечатление. Этот косвенный способ говорить о ком-либо совершенно соответствует школе Конфуция. «Даже, если ты убежден в правоте своего мнения, — говорит Ли-Ки, — никогда не высказывай его».

Возможно, что в вашем друге найдется еще много других черт, непонятных без некоторого знакомства с китайскими классиками. Но, и не зная их, вы скоро убедитесь в его нежной деликатности по отношению к другим, в его приобретенном воспитанием самоотречении. Ни один цивилизованный народ не постиг так глубоко тайны счастья, как японский; ни один не проникся так глубоко той истиной, что наше счастье должно быть основано на счастье окружающего нас, следовательно, на самоотречении и долготерпении.

Поэтому в японском обществе не процветает ни ирония, ни сарказм, ни язвительное остроумие. Я могу даже сказать, что в культурном обществе этого не встретишь никогда. Несловкость не осмеют, не осудят, экстравагантность не вызовет пересудов, невольная погрешность не подвергнется насмешке.

Правда, в этой закоснелой в оковах китайского консерватизма этике индивидуальность подавлена идеями. А между тем именно этой системой можно было бы достигнуть наилучших результатов, если только ее расширить и урегулировать более широким вниманием социальных потребностей, научным признанием важной для умственной эволюции свободы. Но так, как она велась до сих пор, она не способствовала

развитию индивидуальности, наоборот, пыталась подогнать всех под один уровень, царящий и поныне. Поэтому иностранец, живущий в глубине страны, не может не тосковать иногда по ярким крайностям европейской жизни, по более глубоким радостям и страданиям, по более тонкому и чуткому пониманию. Но эта тоска охватывает его лишь иногда: интеллектуальный недочет в избытке вознаграждается невыразимой прелестью общественной жизни. И тот, кто хотя отчасти понимает японцев, не может не признать, что они все еще тот народ, среди которого легче жить, чем где-либо.

Я пишу эти строки, а в моем воспоминании встает один вечер в Киото.

Проходя в толпе по улице, залитой сказочным ослепительным светом, я немного отошел в сторону, чтобы ближе рассмотреть статую Дзидзо перед входом в маленький храм. Статуя изображала Козо¹, прекрасного мальчика с улыбкой обожествленного реализма. Пока я стоял, погруженный в созерцание, ко мне подбежал маленький мальчик лет десяти; он сложил руки, склонил головку и несколько минут молча молился перед изображением божества. Он только что расстался с товарищами, и на его раздумывавшемся лице лежал еще отблеск радостного оживления, вызванного играми. Его бессознательная улыбка была так похожа на улыбку каменного ребенка, что он казался близнецом его. Я подумал: «Эта каменная и бронзовая улыбка не простое подражание: буддийский художник создал символ, — ключ к пониманию национальной улыбки».

Это было давно; но мысль, невольно пришедшая тогда в голову, кажется мне верной и теперь. Как ни чуждо Японии происхождение буддийского искусства, но улыбка народа отражает то же чувство, как и улыбка босацу: счастье самообладания и самоотречения.

«Если один человек победит на войне тысячу тысяч врагов, а другой победит самого себя, то вторая победа доблестнее первой. Никто, даже божество, не в состоянии уничтожить победы человека над самим собою» —

Подобные буддийские изречения — их много — высказывают нравственные тенденции, составляющие особенную прелесть японского характера. Мне кажется, что весь нравственный идеализм народа воплощен в Камакурском Будде; лицо его, спокойное, как глубокие тихие воды, говорит: «Нет счастья выше покоя!». Нет создания рук человеческих, которое лучше выражало бы эту вечную истину! К этому безграничному, просветленному покою всегда стремится Восток. И он достиг идеала великой победы над самим собою. И даже теперь, когда новые течения всколыхнули поверхность и рано или поздно грозят возмутить его глубочайшие глубины, японский дух, в сравнении с западным, еще полон чудес созерцательного покоя.

Японец недолго останавливается на отвлеченных размышлениях о последних вопросах, заставляющих нас ломать голову, — а может быть, и просто пройдет мимо них; и мы не найдем в нем желаемого понимания нашего интереса к этим вопросам.

«Что вас волнуют религиозные искания, это понятно, — сказал мне однажды японский ученый — но также понятно, что мы не думаем об этом. Буддийская философия глубже вашей западной теологии. Мы ее изучили. Мы погружались в глубину исканий и каждый раз находили, что под этими глубинами открываются еще другие, неизмеримые; мы дошли до последних граней мышления и нашли, что горизонт удаляется все дальше и дальше. А вы — вы в течение десятилетий, как дети, беспечно играли у ручья,

¹ Козо — мальчик, буддийский храмовый служитель, священосец.

ничего не зная о море. И только теперь вы другими, не нашими, путями дошли до берега, и бесконечность моря вам кажется чудом. И никуда не приведет вас ваше искание, ибо вы познали бесконечность лишь по песчинкам жизни...»

Возможно ли, чтобы Япония усвоила западную цивилизацию, подобно тому как она усвоила китайскую более чем 1000 лет тому назад, и, несмотря на это, сохранила бы самобытность мышления и чувствования? Знаменательно для будущего то, что преклонение японцев перед материальным превосходством Запада нисколько не простирается на западную нравственность. Восточные мыслители не впадают в роковую ошибку, смешивая технический прогресс с этическим, и нравственные недочеты нашей прославленной цивилизации не ускользнули от их внимания. Один японский писатель выразил свой взгляд на положение вещей на Западе так тонко, что стоит познакомить с ними более широкий круг читателей, чем тот, для которого он был первоначально предназначен.

«Порядок или смуты в нации, — пишет он, — не падают с неба и не вырастают из земли, а порождаются народным характером. Там, где народ руководствуется социальным чувством, порядок обеспечен; где преобладают личные интересы — распад неизбежен. Социальные пути — те, которые ведут к строгому исполнению своего долга; где они преобладают, там царит мир и благоденствие в семье, обществе, во всей нации. Личные соображения основаны на эгоистических побуждениях; там, где они преобладают, неминуемы смуты и катастрофы. Долг члена семьи — заботиться о благоденствии всей семьи; долг члена нации — работать на благо нации. Кто относится к семейным обязанностям со всем надлежащим семье интересом и к национальным обязанностям со всем следуемым нации интересом, тот исполняет свой долг и руководствуется общими интересами. Если же мы национальные нужды подчиняем лишь своим тесным семейным нуждам, то мы под влиянием эгоистических побуждений удаляемся от прямого пути долга. Эгоизм — общечеловеческое свойство; но кто отдается ему всецело, тот уподобляется зверю. Поэтому мудрецы, проповедующие принципы добродетели, благопристойности, справедливости и нравственности, благотворно противодействуют эгоизму и поощряют общественные чувства.

Мы знаем о западной цивилизации, что она сотни лет боролась среди смуты и беспорядков, чтобы в конце концов достигнуть чего-то вроде благоустройства; но и это благоустройство при постоянном росте человеческого честолюбия будет подвержено вечному колебанию и смутам, потому что оно построено не на прочном фундаменте, не на естественном различии между монархом и подданными, между родителями и детьми, со всеми связанными с этим обязанностями и правами.

Эта система, которая приходится так по душе честолюбцам, конечно, поощряется известным классом японских политиков. Для поверхностного наблюдателя общественный строй Запада, конечно, очень привлекателен: он издавна является результатом свободного развития человеческих желаний, и цель его — высшая ступень роскоши и благоденствия. Короче говоря, существующие условия на Западе основаны на необузданном проявлении человеческого эгоизма и достижимы лишь тогда, когда этому эгоизму дана неограниченная свобода. На социальные перевороты на Западе мало обращают внимание, но они-то и являются одновременно и причиной и следствием существующих неблагоприятных условий... Хотят ли японцы, столь увлеченные Западом, чтобы история их народа пошла по тому же пути? Неужели они хотят, чтобы их страна стала новым полем опыта для западной цивилизации?



Эйсё Тёкосай. Улыбка женщины

На Востоке правление основано издавна на доброжелательности; оно постоянно имеет в виду счастье и благополучие народа. Там неизвестно политическое воззрение, которое стремилось бы к развитию интеллектуальных сил с целью эксплуатации малых и несведущих. Наш народ живет преимущественно работою рук своих; при всем старании он заработает только самое необходимое для ежедневных потребностей, — в среднем приблизительно 20 сен в день. Тут и речи быть не может о богатой одежде, о роскошном жилище, тут нет надежды на приобретение высоких должностей, чинов, почестей. Чем же провинились эти бедные люди, что им заказаны пути к благам западной культуры? Говорят, будто у них нет «желания» улучшить свои жизненные условия. Это неверно. „Желания“ у них есть, но природа ограничила их способность удовлетворять эти желания; ограничивает их и человеческий долг, и предел физической работоспособности.

Они достигают лишь того, чего позволяет им их положение. Лучшие плоды их трудов принадлежат богачам, худшие остаются в их распоряжении. А между тем в человеческом обществе нет ничего, что не родилось бы трудом. Для удовлетворения потребностей одного привыкшего к роскоши человека, нужен труд в поте лица тысячи других. Чудовищно то, что люди, под влиянием цивилизации развившие свое стремление к роскоши и удовлетворяющие их трудом других, забывают, чем они обязаны труженику, и не видят в нем своего ближнего. По западным понятиям, плоды цивилизации зреют лишь для людей „с широкими потребностями“, цивилизация не служит всему народу, она лишь поощряет состязание честолюбцев для достижения их целей. Что форма западной культуры вредит порядку и миру, видят и слышат те, чьи очи и уши открыты. Страшно представить себе, какая будущность ожидала бы Японию при такой системе. Система, основанная на принципе, что этика и религия лишь орудия человеческого честолюбия, конечно, удовлетворяет эгоистов; а современные формы свободы и равенства разрушают сплоченную связь между членами общества и оскорбляют чувство приличия и нравственности...

Так как совершенное равенство и свобода недостижимы, то люди хотят ограничить их законами о правах и обязанностях. Но все хотят пользоваться как можно большим числом прав, обременяя себя возможно меньшим числом обязанностей, и это влечет за собою нескончаемую борьбу. Принципы равенства и свободы могут произвести переворот в национальной организации, если они ниспровергнут установленное законом различие классов и поставят всех людей на один уровень. Но равного распределения имуществ они никогда не достигнут (см. Америку)... Ясно, что если человеческие права зависят от степени материального благосостояния, то для неимущего большинства достижение прав невозможно. А богатое меньшинство обеспечит за собою права, отбросит с согласия общества законы гуманности и возложит на бедняков наиболее тяжкие обязанности. Введение в Японию этих принципов равенства и свободы испортило бы добрые мирные нравы, ожесточило бы характер народа и стало бы источником несчастья для масс...

Западная цивилизация, служащая удовлетворению эгоистических побуждений, на первый взгляд очень заманчива; но она неминуемо ведет к разочарованию и развращению; ведь она основана на предположении, что „желания“ людские вытекают из естественных законов. Западные народы достигли своего настоящего положения лишь путем трагической борьбы и смуты; им суждено бесконечно продолжать эту борьбу. В настоящий момент западный строй находится в относительном равновесии, и условия

жизни в относительном порядке. Но достаточно ничтожной случайности — и мгновенное равновесие нарушится, вновь наступит колебание и разрушение, пока период борьбы и страдания не сменится снова временной устойчивостью. Бедный и слабый в будущем может стать богатым и могущественным, и наоборот. Их судьба — постоянная смена. Мирное и устойчивое равенство может возродиться лишь из развалин западных государств, из праха вымерших западных народов».

Придерживаясь таких взглядов, Япония может надеяться отвлечь социальную опасность, угрожающую стране. Но кажется неизбежным, что ее будущее преобразование повлечет за собою нравственный упадок. Безмерная промышленная борьба с народами, учреждения которых никогда не были основаны на альтруизме, неминуемо разовьет в японцах те качества, отсутствие которых составляет главную их прелесть. Характер народа неминуемо ожесточится. Но не следует забывать, что Древняя Япония была в нравственном отношении настолько же выше девятнадцатого столетия, насколько она отстала от него материально. Нравственное чувство глубоко вкоренилось в нее. Она, хотя и в ограниченных формах, осуществила некоторые социальные условия, которые наши величайшие мыслители считают залогом счастья и прогресса.

На всех ступенях своего сложного общественного строя она развивала и соблюдала понимание и практическое применение общественного и частного долга так, как нигде на Западе. Даже ее слабости были лишь результатом избытка того, что все культурные религии провозглашают добродетелью, — были результатом жертв личности для семьи, общества, нации. Об этих слабостях Персиваль Лоуэлл¹ говорит в своей книге «Душа далекого Востока». Гениальность этой книги нельзя вполне оценить, не зная Востока. До сих пор прогресс Японии в области социальной этики хотя и стоял выше нашего, но ограничивался взаимной помощью; в будущем на ее обязанности ляжет провести в жизнь учение великого мыслителя, чью философию она уже умудрилась принять.

Учение это гласит, что «высшее развитие индивидуальности должно быть соединено с величайшей взаимной зависимостью», что — как ни парадоксально — «закон прогресса должен двигаться по линии совершенного разделения и совершенного слияния».

Но придет время, когда для Японии ее прошлое, которое теперь молодое поколение якобы презирает, представится тем же, чем для нас представляется древнегреческая культура. И тогда Япония горестно сознает потерю своей жизнерадостности и будет оплакивать утрату божественного единения с природой и тосковать по чарующему искусству, отражавшему эту природу. Она поймет, насколько мир был тогда прекраснее и светлее, и затоскует по долготерпению и самоотверженности прежних времен, по исчезнувшей старинной вежливости, по глубоко человеческой поэзии своей древней веры...

Многое также ее удивит, и ее удивление будет смешано с тихой грустью; но больше всего ее удивят, быть может, лики древних богов, потому что их улыбки были некогда отражением ее собственной улыбки...

¹ Персиваль Лоуэлл (1855–1916) — американский бизнесмен, востоковед, дипломат, астроном и математик, исследователь планеты Марс (*примеч. ред.*).

ВО ВРЕМЯ ХОЛЕРЫ

написано непосредственно после Японско-китайской войны¹

Союзнница Китая во время последней войны была слепа и глуха. Она долго не соглашалась на мир. Она следовала за победителями, расположилась в стране и своим смертоносным дыханием убила в жаркое время года около 30 000 человек. Неугомонная, она и теперь продолжает требовать жертв. Не угасая, пылают костры, на которых сжигаются трупы. Иногда порыв ветра доносит в мой сад с загородного холма запах дыма и гари, будто напоминает мне, что сожжение взрослого человека моего роста стоит 80 сен, приблизительно половину американского доллара.

С верхнего балкона моего дома видна вся улица вниз до бухты; длинная японская улица со сплошным рядом маленьких лавок. Я видел, что из многих домов этой улицы переносили в больницу холерных больных; последнего унесли утром. Он был моим соседом, владельцем фарфоровой лавки. Его взяли силой, невзирая на слезы и горестный вопль его близких. Санитарные предписания запрещают лечить дома холерных больных; но их все-таки скрывают, несмотря на денежные штрафы и другие наказания; общественные больницы переполнены, обращение там грубое, больной совершенно разлучен со своими близкими. Но блюстителей народного здоровья нелегко провести; они быстро разыщут скрываемых больных и являются с носилками и кули². Это может показаться жестоким, но санитарные законы должны быть строги. Жена моего соседа следовала за носилками с плачем и воплями, пока чиновник не заставил ее вернуться в опустевшую лавчонку. Теперь она заперта, и вряд ли ее владелец отопрет ее когда-либо.

Такие трагедии кончаются так же быстро, как возникают. Оставшиеся в живых забирают пожитки, как только получают на это разрешение, и исчезают куда-то. И обычная уличная жизнь продолжает кружиться днем и ночью, не останавливаясь ни на мгновение, будто ничего не случилось. Странствующие разносчики с бамбуковыми тростями и корзинами, ведрами и ящиками проходят мимо опустевших домов, обычным криком предлагая товар; религиозные процессии с пением отрывков из сутр шествуют мимо; раздается меланхолический свист слепого сторожа купален; блюститель порядка тяжело стучит посохом по мостовой; мальчик, продающий конфеты, бьет в барабан и поет любовную песенку нежно-печальным, будто девичьим, голоском: «Ты да я — мы неразлучны! Я долго был у тебя, но когда настал час разлуки, мне показалось, что не успел я прийти!

Ты да я — мы неразлучны! Я вспоминаю твой чай, простой чай из Уйи; мне же он казался чаем Гиокоро, золотистым, как цветок ямабуки³!

Ты да я — мы неразлучны! Я шлю тебе весточку-сердце; ты ждешь и принимаешь ее. Пусть рушится почта и рвутся телеграфные нити, — что нам до них!..».

¹ Имеется в виду война 1894-1895 гг. Японии против маньжурской империи Цин с целью установления господства в Корее (*примеч. ред.*).

² Кули — носильщик, грузчик, чернорабочий (*примеч. ред.*).

³ Ямабуки, или керрия листопадный кустарник из семейства розоцветных с желтыми цветками; образ ямабуки часто используется в японской поэзии.



Кунитика Тоёхара. Кормление ребенка



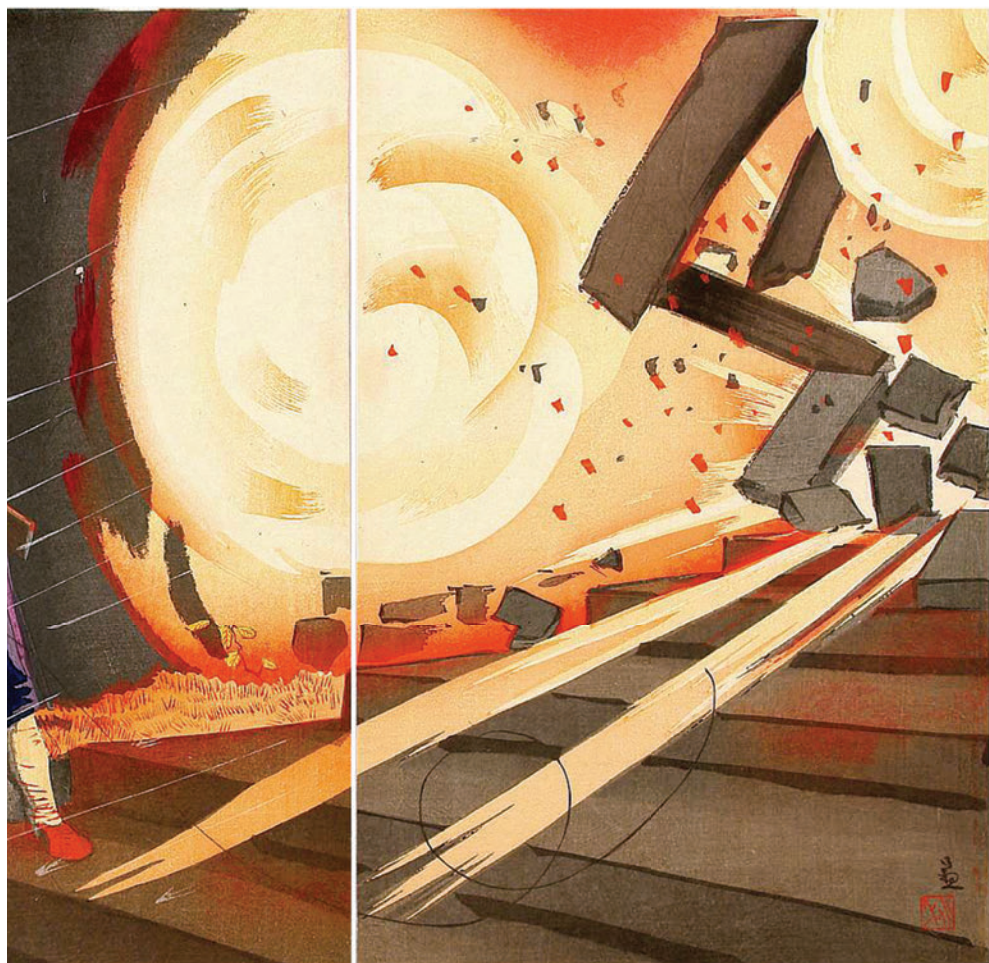
А дети резвятся, как прежде. Они ловят друг друга со смехом и криком; они ведут хороводы, ловят стрекоз: привяжут их к длинной нитке и пустят; они поют припевы воинственных песен о том, как отрубают головы китайцам-врагам:

Кан, кан, боцу но, Куби во хане!

Иногда вдруг смерть унесет одного из детей, а оставшиеся продолжают играть; и в этом великая мудрость.

Сожжение детского трупa стоит только 24 сены. На днях сожгли труп сына одного из моих соседей. Камешки, в которые он играл, лежат, озаренные солнцем, там, где он их оставил...

Как своеобразна любовь детей к камням! В известном возрасте камни — любимая игрушка всех, не только бедных детей. Каждый японский ребенок, имей он даже множество дорогих игрушек, иногда любит поиграть в камни. Для ребенка ка-



Киётика Кобаяси. Японско-китайская война

мень полон чудес; и это понятно, потому что и наука видит в камне величайшее чудо. Малышка смутно сознает, что камень гораздо сложнее, чем он кажется; и это правда. И не будь глупых взрослых людей, говорящих ему, что безрассудно привязываться всем сердцем к камням, камни никогда не надоели бы ему и были бы постоянным источником новых изумительных откровений. Ответить на все детские вопросы о камнях мог бы только очень глубокий мыслитель.

Если верить народному преданию, то сынок моего соседа играет теперь в камешки неземные, в сухом русле «потока душ», может быть, удивляясь, что они не бросают теней.

В основной идее поэтической легенды о Сай-но Кавара¹ заключается безусловная правда: в мире теней должна продолжаться игра, в которую играют на земле все японские дети.

¹ *Сай-но Кавара* — высохшее дно Реки Душ. Это место, куда после смерти попадают все дети, а также те, кто так и не женился или не вышел замуж.

Продавец трубок обыкновенно обходил своих покупателей с двумя ящиками, привязанными к двум концам бамбуковой палки, перекинутой через плечо. В одном ящике был камыш различной толщины, длины и окраски и инструменты для приспособления камыша к металлическим трубкам; в другом ящике лежал его ребенок. Он поднимал головку и улыбался прохожим, или, закутанный, спал на дне ящика, или играл. Мне говорили, что ему много дарили игрушек. Одна из игрушек всегда была при нем, даже во время сна, и была очень похожа на ихаи, дощечку с именем умершего.

Недавно продавец трубок бросил свои ящики на бамбуковой палке. Он шел по улице с маленькой ручной повозкой, разделенной на две половины: в одной лежал товар, в другой — малютка. Вероятно, ребенок стал слишком тяжелым для прежнего способа передвижения. Перед тележкой развевался маленький белый флаг с надписью: «Кисру-рао-коэ» — «Здесь вставляют новые трубки». И краткой просьбой о благосклонной помощи: «Отасукэ во негаймасу!».

Ребенок был весел и здоров; я опять увидел дощечку, уже так часто обращавшую мое внимание на себя. Теперь она была прикреплена стоймя к высокой коробке внутри тележки, против постельки ребенка.

Следя за приближающейся повозкой, я скоро вполне убедился, что дощечка была не что иное, как ихаи: солнце ярко ее освещало, и отчетливо виден был на ней обычный буддийский текст. Это возбудило мое любопытство, и я попросил моего старого слугу Манимона сказать продавцу, что у нас трубки, которые нуждаются в новом камыше. Оно так и было.

Повозка тотчас подкатила к нашей калитке, и я подошел к ней.

Ребенок не дичился даже чужого лица. Прелестный был мальчик. Он лепетал и смеялся, протягивая ручонки, очевидно, приученный к ласкам. Играя с ним, я внимательно рассматривал дощечку. Это был ихаи секты Синсю с каймио, то есть посмертным именем женщины. Манимон перевел китайские буквы: «Почитаемая и уважаемая на нивах совершенства в тридцать первый день третьего месяца двадцать восьмого года летосчисления Мэйдзи».

Слуга между тем принес попорченные трубки. Ремесленник работал, а я наблюдал за выражением его лица. Это был человек средних лет с симпатичной, усталой чертой вокруг рта складкой, образовавшейся от постоянной привычной улыбки, свойственной многим японцам и придающей их лицам выражение неизъяснимо-кроткой покорности.

Манимон начал свои расспросы, а не отвечать Манимону может только дурной человек (иногда мне кажется, что вокруг невинного дорогого чела старца я вижу сияние будто ореол босацу).

Продавец трубок рассказал нам свою повесть. Его жена умерла через два месяца после рождения ребенка. Умирая, она сказала ему: «Прошу тебя: пусть в течение целых трех лет со дня моей смерти ребенок не расстается с моей тенью; пусть мой ихаи всегда будет с ним, чтобы я могла по-прежнему окружать его постоянной заботой, кормить его грудью; ведь ты знаешь, что ему нужно материнское молоко целых три года. Молю тебя, помни мою последнюю просьбу».

Но когда мать умерла, отец не мог больше заниматься обычной работой и нянчить ребенка, требующего днем и ночью неустанной заботы; и он был слишком беден, чтобы нанять для мальчика няньку. Тогда он стал продавать камышовые трубки. Это дава-



Ямамото Сёун. Дети играют со стрекозами

ло ему возможность зарабатывать немного денег, не разлучаясь ни на минуту с ребенком. Но у него не было средств покупать молока, и он больше года вскармливал мальчугана рисовой кашей с сиропом.

Я сказал, что ребенок выглядит очень здоровым, несмотря на то что лишен молока. «Это потому, — ответил Манимон с убеждением, даже с оттенком упрека, — что покойная мать его кормит; он молока получает довольно».

И мальчик улыбнулся тихой улыбкой, будто его коснулась нежная ласка из царства теней...

ХАРУ

Хару, воспитанная в родительском доме по обычаям старины, была воплощением самого чудного, самого трогательного женского типа в мире. Простота сердечная, естественная прелесть в обращении, послушание и чувство долга — результаты этого воспитания — только в Японии развиваются до такого совершенства; в каждом другом обществе, кроме древнеяпонского, эти черты были бы слишком возвышенны и утонченны.

К суровой современной жизни воспитание это плохо готовило. Девушке высшего круга прививали чувство полной зависимости от мужа, ее учили скрывать и ревность, и гнев, и печаль, даже если бы был повод к тому; ей внушали, что только кротостью следует побеждать все недостатки супруга. Словом, от нее требовали почти сверхчеловеческого совершенства и, хотя бы с внешней стороны, полного самоотречения.

Все это было бы возможно в совместной жизни с мужем равным ей, чутким и нежным, способным проникать в ее душу, никогда не оскорбляя ее.

Но Хару по происхождению стояла гораздо выше своего супруга и была слишком хороша для него, неспособного понять ее должным образом. Они по воле родителей женились очень рано и сначала были бедны; но условия их жизни скоро изменились к лучшему благодаря способностям мужа. Подчас Хару казалось, что любил он сильнее, когда они были беднее; а женщина в таких случаях редко ошибается...

Она продолжала шить его одежду, и он всегда восхвалял ее умение. Все его желания она исполняла в точности; утром помогала ему одеваться, а вечером раздевала его. В их прелестном родном уголке она создавала покой и уютность; неизменно улыбаясь, она прощалась с ним утром, встречала его вечером; она с безукоризненной любезностью принимала его друзей и вела хозяйство удивительно бережливо, редко требуя к себе дорогого внимания. Но он и сам ничего не жалел для нее; богатая и изящная одежда, как серебристые крылья бабочки, всегда украшали ее стройный стан. Часто он брал ее с собою в театр, на прогулки, — туда, где весной цветут вишневые деревья, летом ярко блестят светлячки, а осенью пурпуром окрашиваются кленовые листья. То они уезжали на целый день в Майко, на берег моря, где гибкие сосны склоняются, будто девушки в пляске; то проводили вечернее время в Киёмидзу, в старинном загородном доме, где все кажется далекой, туманною грезой; где лес отдыхает в тени и, журча, вытекает из ущелья горы ручеек, холодный, прозрачный; где слышатся ласково-грустные звуки невидимых флейт, так дивно поющих старинную песнь, в которой сливаются мир и печаль, как отблеск вечерней зари сливается с далью небес...

За исключением этих маленьких развлечений, Хару редко выходила из дома. Их немногие родственники жили далеко от них, в других провинциях, так что в гости ей случалось редко ходить. Она любила свой дом, любила расставлять цветы в нишах перед статуями богов, украшать комнаты, кормить ручных золотых рыбок в бассейне.



Тосиката Мидзуно. Кормление рыбок

Еще не появилось дитя, которое внесло бы в их жизнь новую радость или новое горе.

Несмотря на головной убор замужней женщины и умение во всех домашних делах, Хару выглядела как девочка, наивна была, как дитя. А между тем в серьезных делах ее муж снисходил до того, что спрашивал ее совета. Ее сердце судило, быть может, вернее головки; но руководил ли ею инстинкт или разум — ее совет всегда был хорош.

Пять лет она прожила счастливо с мужем. Все время он был внимателен к ней, насколько этого можно требовать от молодого японского купца, по происхождению стоящего ниже такой жены, как Хару.

И вдруг он к ней охладел, охладел так внезапно, что чувство ей подсказало: причина его охлаждения не могла быть той, которой бездетная женщина вправе бояться. Не в силах понять этой перемены, она стала обвинять себя в нерадении, напрасно пыталась невинную совесть свою, старалась по глазам угадывать его желания. Ничто его не трогало. Он не говорил ни единого жестокого слова; он молчал, но за этим тяжелым молчанием чувствовалось подавленное желание оскорбить.

Образованный японец редко скажет жене резкое слово; это считается грубым, вульгарным; в Японии культурный человек с нормальными наклонностями даже упреки жены встретит кроткой речью; по японскому этикету этого требует простая учтивость; кроме того, это самое целесообразное: утонченная чуткая женщина не вынесет грубого обращения; женщина с темпераментом может лишиться себя жизни из-за грубого слова, вырвавшегося у мужа в момент страстного порыва. А такое самоубийство обесценивает мужа на всю жизнь. Но есть безмолвная жестокость,

она оскорбительнее слов и поражает большее: это пренебрежение и равнодушие, которое неминуемо должно породить ревность.

Воспитание требует от японской женщины, чтобы она скрывала ревность; но это чувство старше воспитания; оно старо, как любовь, и умрет только с нею. Под бесстрастной маской японка чувствует то же, что женщина Запада; украшая своим присутствием вечер, очаровывая своей улыбкой гостей, обе в глубине сердца одинаково жаждут часа освобождения, чтобы в одиночестве предаться страданию и слезам.

У Хару был повод к ревности, но она была слишком наивна и нескоро догадалась о настоящей причине; слуги же слишком любили ее, чтобы открыть ей глаза.

Раньше она всегда проводила вечера вместе с мужем то дома, то в театре, то на прогулках. Теперь же он уходил каждый вечер один; сначала под предлогом торгового дела, потом без предлога; потом он перестал даже назначать час своего возвращения; наконец, он стал оскорблять ее немим пренебрежением. Он так изменился, будто «злой дух околдовал его сердце», как говорили слуги.

И он действительно был околдован: сладкий шепот гейши убил его волю, ее улыбка ослепила очи его. Она была далеко не так красива, как Хару, но зато с большим искусством ткала паутину, роковую паутину страстей, обольщающую слабых мужчин и окутывающую их все тесней и тесней, пока, наконец, не пробьет час разочарования и разрушения иллюзий...

Хару не знала, не подозревала ничего дурного до тех пор, пока странное поведение мужа не вошло в привычку и пока она не убедилась, что их деньги стали исчезать неизвестно куда. Он не говорил ей, где проводит вечера; она же боялась спрашивать, боялась показаться ревнивой.

Вместо того чтобы высказаться, она молча страдала; но в ее обращении с ним было столько любви, что, будь он умнее, он все угадал бы. Но, к несчастью, он был проницателен только в торговых делах. Все вечера он проводил вне дома; и, по мере того как он возвращался поздней и поздней, его совесть говорила все тише и тише.

Хару учили, что добрая жена не смеет ложиться в постель, пока не вернется ее супруг и повелитель. Отпустив слуг в обычное время, она терпеливо ждала. От бессонных ночей, от одиноких долгих часов ожидания ее нервы ослабли, она стала страдать лихорадкой, черные мысли терзали головку ее.

Раз только муж, возвратившись особенно поздно, промолвил:

— Жаль, что ты из-за меня так долго не ложились спать. Прошу тебя больше не дожидаться меня.

Опасаясь, что он действительно тревожится из-за нее, она, ласково улыбнувшись, сказала:

— Мне спать не хотелось; я не устала; прошу высокочтимого не думать обо мне.

И он действительно перестал думать о ней, обрадовавшись, что может поймать ее на слове. Вскоре после этого он всю ночь не возвращался домой, вторую, третью тоже. Прогуляв всю третью ночь напролет, он даже к завтраку не вернулся. Тогда Хару почувствовала, что супружеский долг ей велит говорить.

Она прождала все утро, боясь за него, боясь за себя; будто острыми когтями охватила ее самая злая обида, какая только может ранить женское сердце. Верные слуги ей кое-что передали; об остальном она догадалась сама. Она была очень больна, но не со знавала болезни; она сознавала лишь гнев свой, эгоистичный гнев за ту боль, которую ей причинили, за мертвящую, жестокую, тяжкую боль...

Уж полдень настал, а она все еще в мыслях искала слов, достаточно кротких, чтобы сказать наконец то, чего требовал супружеский долг; первый раз в жизни она должна была произнести слово упрека. Вдруг сердце ее дрогнуло так сильно, что в глазах потемнело: она услышала звуки колес и голос слуги, докладывающего, что «достопочтенный вернулся домой».

Еле держась на ногах, она дошла до входных дверей, навстречу супругу; лихорадочный трепет пробежал по ее стройному телу, сердце сжималось от боли, и она страшно боялась выдать это страдание.

Муж испугался, увидев ее: она не приветствовала его обычной улыбкой, а, схвативши дрожащей маленькой ручкой его шелковый плащ, посмотрела на него глазами, которые, казалось, хотели проникнуть в самую глубину его виноватой души. Она пыталась что-то сказать, но могла промолвить одно только слово: «Аната?» — «Ты?».

И в то же мгновение ее нежные ручки ослабли, веки сомкнулись, губы дрогнули странной улыбкой, и она упала на пол раньше, нежели он мог поддержать ее. Он попытался поднять ее; но жизнь уже отлетела от нежного тела. Она умерла...

Произошло страшное смятение. Побежали за докторами, плакали, громко рыдали, в отчаянии звали ее. Но она недвижимо лежала, бледная, тихая, прекрасная; мука и гнев исчезли с ее лица; она улыбалась, как в свадебный день...

Пришли из больницы два доктора, японские военные врачи. Они кратко и строго задали мужу несколько вопросов; слова их проникали в самую глубь его сердца. Потом они сказали ему беспощадную правду, пронзившую его виноватую душу, как холодная, острая сталь. И оставили его одного с умершей женой...

Люди удивляются, что он не принял в знак покаяния священнического сана. По целым дням он сидит, задумчивый, молчаливый, среди кип киотского шелка и статуй богов из Осака. Служащие считают его добрым господином: он никогда не бранит их. Работает он часто за полночь.

В хорошеньком доме, где некогда жила Хару, теперь поселились чужие; владелец дома никогда не посещает его. Он боится, быть может, встретить там легкую тень, скользящую меж цветами или, как стебель человеческого цветка, склоняющуюся над золотыми рыбками в бассейне...

Но где бы он ни был, всюду, всегда, в молчаливый час отдыха появляется та же безмолвная тень у его изголовья: она шьет, гладит, любовно старается украсить его богатую одежду, — ту одежду, в которую он наряжался, когда изменял ей...

А иногда, в самый суетливый момент его занятой деловой жизни, — вдруг все вокруг него умолкнет; иероглифы на стенах бледнеют и исчезают и в его осиротевшее сердце проникает жалобный голос, произносящий одно только слово: «Аната?» — «Ты?».

Это вечное напоминание богов о его преступлении...

ПРИВИДЕНИЯ И НЕЧИСТЫЕ ДУХИ

Из Хоккекио¹ мы узнаем, что сам Будда иногда принимал образ нечистого духа, чтобы проповедовать тем, кого могла обратить только нечистая сила. В той же сутре мы находим следующее обещание Великого Учителя: «Когда он, одинокий, будет в пустыне, я найшу на него сонм нечистых духов, чтобы он не был так одинок».

Это обещание очень странно, но оно несколько смягчается тем уверением, что в пустыне будут и боги. Но если бы мне привелось стать святым, я ни за что не пошел бы в пустыню, потому что я видел японскую нечисть, и она мне совсем не пришлась по душе.

Кинъюро, садовник, вчера показал мне ее. Вся чертовщина приехала в наш город на мацури² нашего храма. Вечер праздника обещал много интересного, и поэтому, как только стемнело, мы отправились к храму; Кинъюро нес зажженный бумажный фонарь с моим вензелем.

С утра выпало много снега, но к вечеру небо и холодный недвижный воздух стали алмазно-прозрачны. Мы шли по твердому снегу, приятно хрустящему под ногами, и я спросил:

Скажи-ка, Кинъюро, есть ли снежный бог?

Не знаю, — ответил Кинъюро. — Есть много богов, которых я не знаю — да и никто не может знать всех богов. Но есть Юки-Онна, снежная женщина.

Кто же это такое, эта Юки-Онна?

Это белая женщина, от нее снежные привидения. Она не трогает никого, только пугает. Днем она лишь приподнимает голову, наводит страх на одинокого путника; но ночью она иногда поднимается выше деревьев, смотрит по сторонам и рассыпается снежной метелью.

А какое лицо у нее?

Белое-белое, огромное и унылое лицо.

(Кинъюро сказал «самушии»; обыкновенное значение этого слова «унылое», но он хотел сказать страшное).

Кинъюро, а ты ее видел?

Нет, господин, я сам не видел ее никогда; но отец мне рассказывал, что раз в детстве, перебегая по снегу в соседний дом, где он хотел поиграть с другим мальчуганом, он по пути вдруг увидел огромное белое лицо, которое страшно озиралось кругом. С громким криком он со всех ног пустился бежать, еле домой добежал. Все его домашние поспешили на улицу, чтобы увидеть привидение, но там ничего не было, кроме снега. Тогда они поняли, что мальчик видел Юки-Онну.

Кинъюро, а теперь она показывается еще иногда?

¹ *Хоккекио* — буддийская священная книга.

² *Мацури* — храмовой праздник синтоистского культа.



Сэйтэй Ватанабэ. Мацури

— Да, те, кто во время дайкана¹, самой великой стужи, идут на богомолье в Ябумура², те иногда встречаются ее.

— Киньюро, а что там такое?

— Там старый-престарый высоко чтимый храм, посвященный Казэ-но-Ками. (Казэ-но-Ками — бог простуды и ветра.) Он стоит на высоком холме почти девять ри³ от Мацуэ. И величайший мацури в честь этого храма празднуют в девятый и одиннадцатый день второго месяца. Много странного случается там в эти дни. Дело в том, что всякий, кто страдает сильной простудой, молит это божество об исцелении и дает обещание во время мацури дойти голым до этого храма.

— Голым?

— Да. На странниках только варадзи⁴ да маленький платок вокруг бедер. И вот множество голых мужчин и женщин тянутся по снегу по направлению к храму, а снег в это время года очень глубок. Каждый мужчина несет с собою в дар божеству связку гошей и блестящую саблю, каждая женщина — металлическое зеркало. В храме их встречают жрецы и совершают странные ритуалы: по старинному обычаю они представляются больными, ложатся на пол, стонут, охают и глотают лекарства, приготовленные из растений по китайским рецептам.

— Но разве никто не умирает от простуды, Киньюро?

— Нет, наши земляки в Ицумо закалены. Кроме того, им делается жарко от быстрого бега; а на обратном пути они кутаются в толстое теплое платье. Но иногда на пути им показывается Юки-Онна.

Улица, ведущая в мийа, была освещена двумя рядами бумажных фонарей, расписанных символами. Огромный двор храма был превращен в целый город передвижных палаток, лавочек и эстрад. Несмотря на холод, была невероятная давка. Казалось, что на сей раз, кроме привычных зрелищ, притягивающих толпу во время мацури, готовится еще нечто особенное. Среди обычных great attractions я напрасно искал девочку с оби⁵ — кушаком из живых змей, но, вероятно, для змей было слишком холодно. В толпе мелькало множество прорицателей, скоморохов, акробатов и плясунов; был там фокусник, который из песка делал фигуры, был зверинец с австралийским эму, была пара огромных дрессированных летучих мышей с островов Лью-Кью.

Я отдал должное богам, накупил оригинальных игрушек и отправился с моим спутником в царство нечистых духов. Это большое здание, которое иногда отдают под такие предприятия.

На вывеске красовались слова, писанные огромными буквами: «Ики-Нингио» — «Живые фигуры», нечто вроде наших паноптикумов. Но японские произведения хотя и не менее реальны, однако из гораздо более дешевого материала. Мы купили два деревянных билета по одной сене, зашли за занавес и очутились в длинном коридоре, разделенном на маленькие, крытые рогожей комнатки. В каждой комнатке в соответственной декорации находилась группа фигур в человеческий рост. Первая группа — двое мужчин, играющих на сямисэне, и две танцующие гейши — показа-

¹ Дайкан — самое холодное время года («дай» — большой, «кан» — холод).

² Ябумура — чаща бамбукового леса.

³ Ри — японская мера длины — ≈ 4 км.

⁴ Варадзи — сандалии, сплетенные из рисовой соломы или пеньки, один из видов традиционной японской обуви.

⁵ Оби — красный пояс, который носят только очень молодые девушки.



Тёрей Хориуси. Священник Нитирэн

лась мне не заслуживающей особого внимания. Но Киньюро мне объяснил, что, судя по объявлению, одна из фигур была живою. Напрасно мы старались заметить какого-либо предательского движения или хотя бы дыхания. Но вдруг один из мужчин с громким смехом замотал головой, заиграл и запел. Он так хорошо сыграл роль безжизненной куклы, что я положительно не верил глазам.

Остальные группы — их было 24 — были необыкновенно эффектны, каждая в своем роде. Большинство из них изображало известные народные сказания или священные легенды: предания о феодальном героизме, глубоко трогающем сердце каждого японца, примеры детской преданности, буддийские чудеса, истории императоров. Иногда реализм, однако, доходил до грубости, например в изображении труп женщины с раздробленным черепом в луже крови. Это страшное зрелище не искупалось даже чудесным воскресением убитой, показанным в соседнем отделении: был это какой-то храм, где она воздавала благодарственные молитвы богам; по какой-то счастливой случайности, и убийца ее очутился тут же в тот же момент, — раскаявшийся и обращенный ею на путь истины.

В конце коридора висел черный занавес, из-за которого доносились до нас стоны и вопли. Объявление над занавесом обещало награду тому, кто храбро пройдет мимо всех таинственных страхов.

— Господин, — прошептал Киньюро, — там — нечистая сила!

Мы зашли за занавес и очутились на каком-то лугу, среди кустов и заборов. Из-за кустов виднелись могильные плиты, очевидно, это было кладбище. Растения



Куниёси Утагава. Ики-Нингио

и могильные камни — все было очень реально. Высокий потолок исчезал, искусно скрытый световыми эффектами; над нами все тонуло во тьме. И казалось, будто находишься ночью под открытым небом; холод, царящий вокруг, еще усиливал эту иллюзию. Кое-где виднелось что-то неясное, жуткое, сверхъестественно большое, туманно-недвижное или таинственно носящееся в воздухе над могилами. Справа от нас возвышалась над забором спина буддийского жреца.

— Это, вероятно, Ямабуки заклинает бесов? — спросил я Кинъюро.

— Нет, — ответил он, — посмотрите-ка, какой он большой. Нет, я думаю, это Тануки-Боцу¹.

Мы подошли ближе и заглянули ему в лицо. Лицо было страшное, как кошмар.

В самом деле, это Тануки-Боцу, — сказал, Кинъюро. — Что господин благоволит думать об этом?

Вместо ответа я в ужасе отскочил: привидение со стоном потянулось ко мне. Потом оно с визгом пошатнулось и упало назад силой невидимых шнуров.

Мне кажется, Кинъюро, что это отвратительное, противное существо! И теперь мне, вероятно, уж нечего ждать награды за храбрость?!

Мы рассмеялись и отправились дальше, к трехглазому монаху — Митсу-мэ-Ниудо². И этот трехглазый по ночам подстерегает легкомысленных путешествен-

¹ *Тануки* — традиционные японские звери-оборотни (барсуки, енотовидные собаки), принимающие вид жреца, чтобы ночью губить запоздалых путников.

² *Митсу-мэ-Ниудо* — легендарный трехглазый монах.

ников. У него кроткое, улыбающееся лицо — ни дать ни взять лик Будды; но на макушке у него коварное око, и его замечаешь только тогда, когда уже поздно. Митсу-мэ-Ниудо потянулся за Кинъю-ро и испугал его так же, как Тануки-Боцу меня.

Дальше мы пошли смотреть Яма-Убу, горную кормилицу. Она ловит детей, кормит их одно время, а потом пожирает. На лице у нее нет рта — он скрыт под волосами на голове. Яма-Уба не тронула нас, потому что как раз уплетала миленького мальчугана. Чтобы усилить страшное впечатление, ребенка сделали особенно хорошеньким.

Дальше мы увидели в воздухе над могилой призрак женщины. Это было в некотором отдалении, и потому я спокойно мог ее рассмотреть. У нее не было глаз. Длинные распущенные волосы рассыпались по плечам. Ее одежда развевалась легко, как дымок. Мне вспомнилась фраза одного из моих учеников: «Удивительнее всего, что у них нет ног». Но вдруг я в ужасе отскочил, потому что привидение бесшумно и быстро по воздуху несло прямо на меня.

Наше дальнейшее странствование между могилами было рядом подобных же приключений, оживленных визгом женщин и смехом тех, кто сначала сам был напуган, а теперь наслаждался испугом других.



Бунтё Иппицусай. Юки-Онна



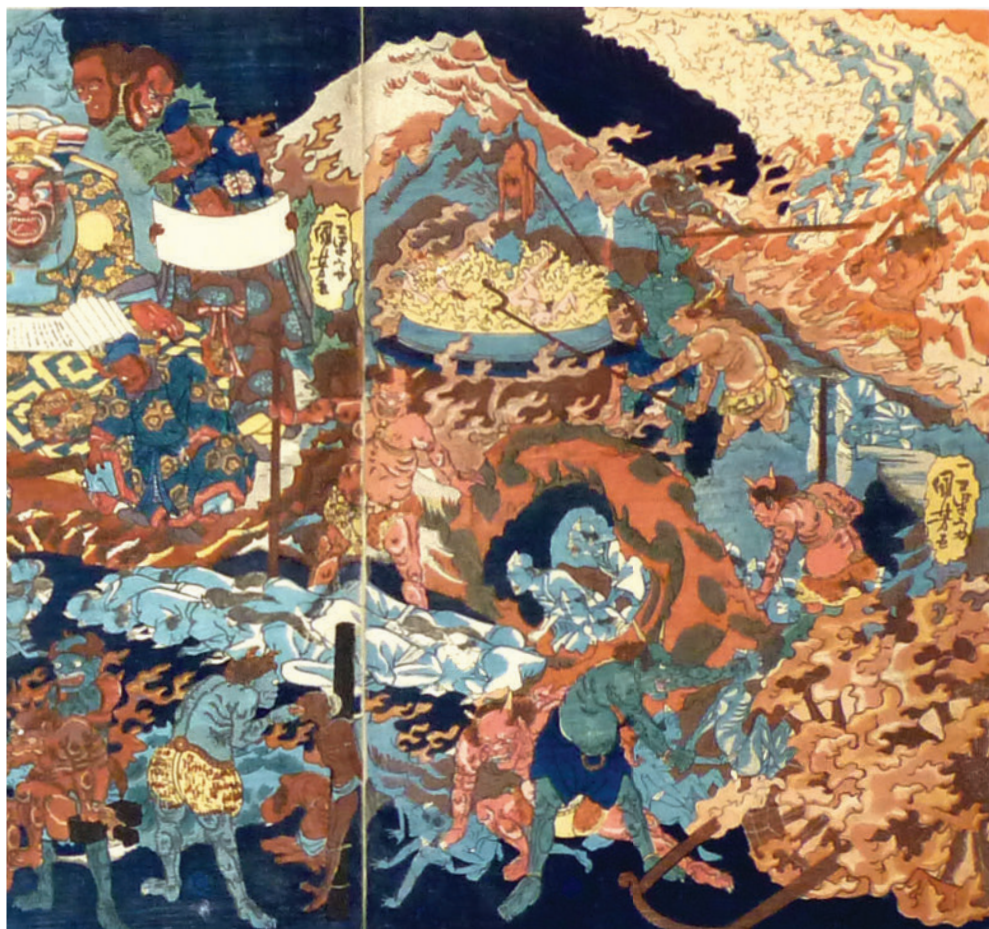
Расставшись с привидениями, мы отправились к маленькой эстраде, где две девочки танцевали. Поплясав немного, одна из них взяла саблю, отрубила своей подруге голову и поставила ее на стол; голова открыла рот и запела. Это было очень интересно и мило, но я все еще находился во власти привидений и спросил:

— Кинъюро, верят ли еще до сих пор в существование нечистых духов, которых мы только что видели?

— Нет, теперь перестали, — ответил Кинъюро, — горожане по крайней мере не верят в них больше, разве что еще в деревнях. Мы же верим только в Учителя нашего, Будду, в древних богов и в то, что мертвые могут вернуться, чтобы отомстить за жестокость или восстановить справедливость; но мы перестали верить тому, во что верили раньше. Господин, — прибавил он, когда мы подошли к какому-то странному помещению, — тут за одну сёну можно отправиться в ад — не угодно ли вам?

— Прекрасно, Кинъюро, — ответил я, — заплатим две сёны и отправимся в ад!

Мы вошли в большое помещение, где стоял непонятный оглушительный шум, свист, лязг и треск. Этот шум производили невидимые колеса и цепи, которые



Куниёси Утагава. Ад

двигали целым полчищем маленьких куколок; эти фигурки изображали на низких эстрадах все, что творится в аду.

Прежде всего я увидел старуху Соца-Баба, хозяйку подземной реки, которая отбирает платья у покойников; платья висели за нею на дереве. Она была огромная, вращала зелеными глазами, скрежетала длинными зубами, а маленькие беленькие души трепетали пред нею, как крылья бабочек. Несколько поодаль восседал Эмма Дай-О¹, великий властитель ада, и свирепо мотал головой. Справа от него, на треножнике, как волчки, кружились головы свидетелей, Кагухана и Мирумэ. Слева черт распиливал душу на части, и дальше рядами тянулись все адские пытки. Один из чертей вырывал язык у лгуна, привязанного к столбу. Он делал это медленно, искусно, понемногу; язык уже становился длиннее самого мученика; другой черт толок душу в ступе и производил при этом такой адский шум, что заглушал все остальное. Немного

¹ *Эмма Дай-О* — в японской мифологии бог-властитель и судья мертвых, который правит подземным миром (дзигоку).

дальше мы увидели человека, которого заживо пожирали две змеи с женскими головами — белая и голубая. Белая змея при жизни была его женою, голубая — любовницей. Все средневековые японские пытки проходили пред нашими глазами. Насладившись вдоволь всеми ужасами, мы на прощание навестили Сай-но-Кавара и увидели Дзидзо с ребенком на руках, окруженного толпою детей, которые около него искали спасения от чертей, преследовавших их, страшных, с искаженными лицами и поднятыми дубинами.

Но ад оказался ужасно холодным; я удивился такой неподходящей температуре, и мне вспомнилось, что в распространенных иллюстрированных книжках об Дзигоку¹ я никогда не встречал адских пыток морозом. Правда, индийский буддизм рассказывает и о холодных адах. Есть, например, ад, где губы грешников так замерзают, что могут только пролепетать «А-а-та-та», почему и ад этот называется «Атата»; а в другом — примерзает язык, и грешники только и могут пробормотать: «А-а-ба-ба» — ад этот называется «Абаба». Там же говорится о Пундарике, или большом, белом лотосовом аде, где вид обнаженных морозом костей напоминает «цвет белого лотоса».

Киньуро предполагает, что и японский буддизм признает холодные ады, но, наверное, ничего не знает об этом. Я же не думаю, чтобы холодный ад мог испугать японцев. Они так любят холод, что пишут стихи на китайском языке о прелести снега и льда.

Из ада мы попали на волшебный фонарь; там было еще просторнее и еще холоднее. Японские волшебные фонари почти всегда интересны, и особенно потому, что тут мы видим удивительную национальную способность приспособлять западные переживания к восточным вкусам. Эти представления всегда драматичны. За кулисами кто-нибудь произносит диалог, а действующие лица и декорации проходят перед нашими глазами, как прозрачные тени. Поэтому особенно удаются фантастические пьесы, где фигурируют привидения и духи; они пользуются особым успехом.

Было так холодно, что я после первой драмы сбежал. Вот ее содержание.

Первая сцена. Красивая крестьянская девушка с престарелой матерью сидят у себя дома. Мать судорожно рыдает и отчаянно жестикулирует. Из отрывочных, прерываемых рыданием слов мы узнаем, что девушка обречена на жертву Ками-Сама в одиноком храме в горах. Этот Ками-Сама — злой бог. Раз в год он мечет стрелу в крышу крестьянского дома; это значит, что на него нашел аппетит — съесть девушку. Если ему не пришлют сейчас же намеченной жертвы, он уничтожит посевы и скот. Мать плачет, рвет свои седины. Уходит. Уходит и девушка, поникнув головкой — олицетворение обворожительной покорности.

Вторая сцена. Перед харчевней на улице цветущие вишни. Входят кули, неся бережно, как носилки, большой ящик; надо предполагать, что в ящике сидит девушка. Ящик ставят на пол. Рассказывают все болтливому хозяину харчевни. Входит благородный самурай с двумя саблями. Спрашивает, в чем дело и что это за ящик. Узнает все сначала от кули, потом от болтливого хозяина. Взрыв негодования. Уверение, что Ками-Сама — добрые боги и не едят девушек, а данный Ками-Сама — дьявол, а дьявола надо убить. Приказывает открыть ящик. Посылает девушку домой. Сам лезет в ящик и приказывает кули под страхом смерти нести его к храму.

Третья сцена. Кули с ящиком приближаются к храму. Ночь. Лес дремучий. В страхе кули роняют ящик и убегают. Ящик остается один в темноте. Появляется привидение, все белое, закутанное в прозрачное покрывало. Сначала жалобно стонет, потом

¹ *Дзигоку* — ад, подземный мир, где правит бог Эмма Дай-О.



Элизабет Кейт. Фонарики

отчаянно воеет. В ящике ничто не шевелится. Привидение откидывает фату и показывает лицо — череп со светящимися фосфором глазами. (Публика единогласно издает крик «А-а-а-а-а!».) Привидение показывает руки — страшные, обезьяньи, с когтями. (Снова зрители издают крик «А-а-а-а-а!».) Привидение приближается к ящику, прикасается к нему, открывает его! Оттуда выскакивает благородный самурай. Сражение. Бой барабанов, как на войне. Благородный самурай искусно пользуется приемами рыцарского дзюдзюцу¹, бросает дьявола на землю, торжествуя топчет его ногами, отрубает ему голову. Голова тотчас же растет, достигает величины дома, хочет откусить голову благородного самурая. Самурай разрубает ее своей саблей. Голова, извергая огонь, катится по земле и исчезает. *Finis. Exeunt omnes!*²

— Киньбуро, — сказал я на обратном пути, — я много читал и слышал японских рассказов о воскресении мертвых. И сам ты рассказывал мне, что до сих пор еще в это верят и почему верят. Но судя по всему, что я читал и что слышал от тебя, воскресение покойников далеко не приятно. Они возвращаются или из ненависти, или из зависти, или потому, что от тоски не находят покоя. Но где говорится о тех, чье возвращение приносит счастье? Все, что известно о духах, вероятно, похоже на то, что мы видели сегодня вечером: много страшного, много отвратительного, и нигде ни правды, ни красоты?!

Я так говорил, чтобы подзадорить его; и он ответил мне сказкой, как я ожидал и желал.

— Давно-давно, во времена какого-то дайме, имени которого никто больше не помнит, в этом старом городе жили юноша и девушка, которые очень любили друг друга. Их имена позабыты, но воспоминание о судьбе их осталось. Со дня рождения их обручили, и в детстве они часто вместе играли — родители их были соседями. А когда они выросли, то еще сильнее полюбили друг друга.

Юноша еще не возмужал, когда его родители скончались. И он пошел служить богатым самураю, военному в высоких чинах, другу его родственников. Покровитель его искренно полюбил, потому что он был вежлив, умен и ловок в обращении с оружием; молодой человек надеялся скоро достигнуть хорошего положения и жениться. Но на севере и востоке разгорелась война, и неожиданно он получил приказание от своего господина последовать за ним на поле брани. Перед отъездом ему удалось еще повидаться с любимой девушкой; в присутствии родителей они обменялись клятвой верности; и он обещал, если останется жив, возвратиться через год, чтобы соединиться с возлюбленной навсегда.

Много времени прошло без известий о нем. Тогда еще не было почты, как теперь. А у девушки так болело сердце, когда она думала об опасностях, которые грозили ее милому на войне, что она все бледнела, хирела. Наконец пришла весть от него с посланным, приехавшим из армии, — это было первым и последним известием. Бесконечно в ожидании тянется год. Но год миновал, а он не вернулся. Сменялись и еще времена года, но он все не возвращался. Тогда девушка решила, что ее возлюбленный, наверно, убит. Она извелась от печали, захворала и умерла; и ее похоронили. Бедные старые родители, лишившись единственной дочери, так тосковали, что решили покинуть свой одинокий, печальный дом, распродать имущество и отправиться в далекое

¹ *Дзюдзюцу* — общее название, применяемое для японских боевых искусств, включающих в себя техники работы с оружием и без него.

² *Finis. Exeunt omnes!* — Конеч. Все свободны! (*лат.*).



Утамаро Китагава. Волшебный фонарь

странствование к «Тысяче храмов» секты Нитирэн; такое странствование продолжается несколько лет.

Они продали домик со всем имуществом, за исключением священных реликвий, которые никогда нельзя продавать. Оставили они также ихаи покойной дочери и все спрятали в семейном храме; так поступают всегда, покидая родину. Семья принадлежала к секте Нитирэн, а их храм был Миокоджи.

Не более как через четыре дня после их отъезда вернулся в город жених их дочери. Он употребил все старания, чтобы вовремя исполнить свое обещание, но провинции, которые ему пришлось проезжать, были на военном положении, все пути и дороги были заняты врагами; кроме того, и другие препятствия задерживали его. Горестная весть о смерти невесты совершенно сломила его. Он целые дни проводил без чувств и движений, ничего не зная ни о себе, ни о жизни вокруг. Когда он снова очнулся, на него нашла боль воспоминаний; он громко звал смерть и решил покончить с собою на могиле невесты.

Как только ему удалось уйти незаметно из дома, он взял свою саблю и прокрался на кладбище, где была похоронена девушка. Кладбище Миокоджи — одинокое место. Он разыскал ее могилу, опустился пред ней на колени, помолился и шепотом рассказал ей о своем намерении.

Вдруг он услышал ее голос и слово: «Аната» — «Ты»! Он почувствовал ее руку на своей, и когда обернулся, то увидел ее около себя на коленях, с прежней улыбкой, такой же прекрасной, какою она жила в его сердце, — только немного бледней. Сердце его содрогнулось в немом удивлении, в радости и в сомнении пред этим мгновением.

Но она промолвила:

— Не сомневайся, — это действительно я, я жива! Все было ошибкой. Меня похоронили слишком рано; мои родители сочли меня мертвой; а теперь они отправились на долгое богомолье. Но ты ведь видишь, что я жива, что я не привидение. Это я — не сомневайся, поверь! Я заглянула в сердце твое и это вознаградило меня за долгое ожидание, за все слезы и горе. А теперь отправимся скорее в другой город, чтобы никто ничего не знал и не было докучливых разговоров; ведь все думают, что я умерла.

И, не замеченные никем, они отправились в путь-дорогу и пришли в деревню Минобу в провинции Кай. Там находится известный храм секты Нитирэн, и девушка заявила:

— Я знаю, что во время своего странствования по священным местам мои родители непременно зайдут и в Минобу; если мы здесь поселимся, то они найдут нас, и все мы соединимся.

Когда они пришли в Минобу, она предложила:

— Заведем маленькую торговлю.

И они открыли лавку со съестными припасами на широкой дороге, ведущей к священному месту.

Они продавали игрушки и сласти для детей и пищу для странников. Так прошло два года; торговля их процветала, и небо послало им великую радость — сыночка.

Когда ребенку исполнилось год и два месяца, старые родители действительно пришли в Минобу и остановились перед маленькой лавкой, чтобы утолить голод и жажду. Узнав жениха их дочери, они разрыдались и забросали его расспросами. Он попросил их войти в дом, низко им поклонился и сказал:

— Верьте, это истинная правда: дочь ваша жива, она стала моей женой, у нас родился сынок — она только что с ребенком легла отдохнуть. Прошу вас, пойдите к ней, обрадуйте ее своим появлением, потому что она очень тоскует без вас.

Старики с трудом могли поверить этим словам.

Пока молодой человек устраивал все для их удобства, они осторожно вошли в комнату и увидали спящего ребенка — но молодой матери не было там. Казалось, однако, что она не успела уйти, потому что подушка ее была еще теплой.

Долго напрасно прождав, они стали всюду искать ее — но нигде не нашли. Наконец под одеялом, которым были покрыты мать и ребенок, они нашли нечто, что несколько лет тому назад оставили в храме Миокодзи, — маленькую дощечку с именем умершей, ихай их дочери. Тогда они поняли все.

Вероятно, у меня был очень задумчивый вид, когда Кинъюро умолк, потому что старик спросил:

— Господин, вам этот рассказ кажется глупым?

— Нет, Кинъюро, о, нет, — поспешил я ответить; — этот рассказ навсегда останется в сердце моем.

МОНАХИНЯ В ХРАМЕ АМИДЫ

Супруг О-Тойо, дальний родственник, взятый в семью, был вызван вассальной службой в столицу. Эта первая разлука после свадьбы не тревожила О-Тойо; только тихая грусть опустилась в сердце ее. Но с ней оставались мать и отец, у нее был сынок, которого она любила больше всего на свете, в чем еле сознавалась даже самой себе. Кроме того, она была весь день занята: то хозяйничала, то ткала шелковые и бумажные ткани для платьев.

Раз в день она готовила на изящном лакированном подносыке миниатюрную трапезу для далекого мужа, какие готовят духам предков и богам.

Подносик она ставила перед подушкой супруга к восточной стене комнаты, потому что он отправился на восток. Убирая кушанье, О-Тойо поднимала крышку мисочки, чтобы убедиться, осел ли внутри пар. Такова примета: пока родимый на чужбине здоров, на внутренней стороне крышки оседает пар; если же крышка суха — значит умер, и одна душа прилетала за пищей. Но лакированная крышка всегда была сплошь покрыта каплями влаги.

Мальчик был ее неизменной радостью. Ему минуло три года, и он задавал вопросы, на которые могли бы ответить лишь боги. Если ему хотелось играть, она складывала работу и играла с ним; когда же он был настроен так, чтобы смирно сидеть, она сидела с ним, рассказывая ему волшебные сказки или по-своему — красиво и благочестиво — объясняя ему чудесное и непонятное. По вечерам, когда перед алтарями и священными изображениями зажигались лампочки, она учила его детским молитвам; уложивши спать, садилась с работой у постельки, любуясь мирной прелестью его личика. Когда он во сне улыбался, она знала, что Каннон¹, божественная, забавляет его играми из царства теней; и она шептала буддийское заклинание, взывая к Деве, «всегда милостиво склоняющейся на звуки молитвы».

В ясные дни она поднималась на гору Вакаяма со своим мальчиком на спине. Эти прогулки доставляли ему большое удовольствие; он жадно вслушивался и всматривался во все, что происходило вокруг него. Дорога постепенно поднималась в гору, чрез леса и рощицы, по цветущим лугам, между утесами, где в цветах жили сказки, а в старых деревьях ютились духи. Раздавался крик диких голубей: «Коруп-коруп», — и страстно нежное воркование ручных: «О-вао, о-вао». А цикады трещали, жужжали и пели...

Кто с тоской ожидает возвращения издалека любимого человека, тот идет на гору Вакаяма, с вершины которой открывается вид на несколько провинций. На этой вершине — камень, величиной и формой напоминающий человека; множество камешков разбросаны вокруг него и на нем. А рядом — синтоистский храм, посвященный духу некой принцессы. Она с тоской смотрела вдаль с этой вершины, ожидая далекого возлюбленного; но тот не вернулся, и с горя она умерла, навеки окаменев.

¹ *Каннон* — в японской мифологии богиня милосердия, способная перевоплощаться



Кэйсю Такэзүти. Мать и ребенок

Народ же на этом месте воздвигнул храм; в нем до сих пор молятся о счастливом возвращении с чужбины близких людей. Уходя, каждый молещик берет с собою камешек; когда же желанный вернется, камешек нужно положить на прежнее место вместе с несколькими новыми в знак памяти и благодарности.

Когда О-Тойо возвращалась с такой прогулки домой, густые сумерки уже спускались на землю, окутывая город и рисовые поля; путь был далек, и шла она медленным шагом. Звезды сверху освещали ее путь, а снизу — светлячки. Когда на небе показывалась луна, О-Тойо пела детскую песенку:

- Ноно Сан,
луна золотая,
сколько времени тебе?
- Тринадцать,
тринадцать и девять мне дней!
- Как ты молода еще!
Потому и опоясана
ты красивым красным кушаком!
Отдай его лошадке!
- Нет, не отдам!
- Отдай его коровке!
- Нет, не отдам!

А с серых необъятных полей поднимался и улетал в синий мрак ночи невидимый хор — будто голос самой матери земли, — то лягушки заливались, а О-Тойо говорила ребенку:

— Слышишь лягушек? Они кричат «Мэ Кайюи, Мэ Кайюи!» — «Глаза мои смыкаются, я спать хочу!».

То были счастливые светлые дни!

Но роковые силы по законам, для нас, смертных, вечно неразгаданным, повергли ее внезапно в великое горе.

Она узнала, что добрый супруг, о возвращении которого она так часто молилась, никогда не вернется, что он снова стал прахом, из которого создано все земное. Вскоре и мальчик ее заснул сном непробудным, перед которым бессильна даже мудрость китайских врачей.

Редкие мучительные вспышки сознания рассеивали мрак, царивший в ее душе, — мрак беспamięтства, в который сострадательные боги погружают души людские.

Все проходит. Мрак рассеялся. Она вдруг очутилась во власти злого врага, во власти воспоминания. В присутствии других она могла улыбаться, могла быть спокойной и ясной, как в прежние дни; но оставшись одна, она теряла всю силу. Она разбиралась в игрушках, раскладывала перед собой на циновке детские платица, ласкала их, шепотом разговаривала с ними, тихо улыбаясь. Но улыбка всегда переходила в громкое судорожное рыдание; она бросалась на пол, билась головой о землю и забрасывала богов безумными вопросами.

Тогда она решила искать утешения в таинственном обряде, известном в народе под именем «Торитсу-Банаши» — заклинание мертвых. Отчего не вызвать мальчика, хотя бы на мгновение?! Ради любимой матери душа его радостно примет страдание, сопряженное с возвращением в мир живых.



Тосиката Мидзуно

Чтобы вызвать умерших из царства теней, надо пойти к буддийскому или синтоистскому жрецу, знакомому с обрядом заклинания, и передать ему ихай — дощечку с именем умершего.

Производятся очистительные церемонии, перед ихай зажигают свечи и устраивают курение, читают молитвы или отрывки из сутр, приносят жертвы цветами и рисом, но только сырым.

Окончив церемонии, жрец берет левой рукой дугообразный инструмент, правой ударяет в него, громко произнося имя умершего и слова «Китацо-ио, Китацо-ио!» — «Я пришел, я пришел!»

Но постепенно голос заклинателя странно меняется и переходит в голос умершего, дух которого вселился в жреца.

Дух быстро отвечает на вопросы, беспрестанно восклицая: «Спеши, спеши, мучительно мое возвращение из царства теней, я не могу долго здесь оставаться!».

По окончании беседы, дух отлетает, а жрец падает на пол без чувств.

Но вызывать умерших нехорошо — им этим вредишь: возвращаясь в царство теней, они должны занимать места ниже покинутых.

Теперь эти обряды запрещены законом. Когда-то они утешали скорбящих, но закон справедлив, потому что находились люди, злоупотреблявшие им, глумившиеся над божественным в человеке.

Однажды ночью в одиноком маленьком храме на окраине города, О-Тойо стояла на коленях перед ихаи своего мальчика и вслушивалась в таинственное заклинание. И вдруг из уст жреца заговорил голос родной, самый дорогой и близкий ей; но голосок был тоненький, тихий, как вздох ветерка.

— Спрашивай, мама, скорее, скорее, — молвил он, — передо мною далекий, темный путь; я должен скоро уйти.

Мать с трепетом вопрошала:

— За что я томлюсь и страдаю в тоске по тебе? Где справедливость богов?

— Не тоскуй так по мне, мама, — раздалось в ответ, — я умер, чтобы избавить от смерти тебя: то был год болезней и печали; я знал, что тебе суждено умереть, но боги вняли моей молитве, — мне дано было умереть за тебя. О мама, не плачь! Горевать по умершим не надо. Безмолвный, безгласный путь ведет их через потоки слез; но от слез матерей поток растет и бушует, и не может душа достигнуть дальнего берега, а тревожно носится взад и вперед. И поэтому, мама, прошу тебя, брось печаль; только изредка давай мне водицы...

С той поры она перестала плакать. Спокойно, безмолвно, как в прежние дни, она исполняла смиренные дочерние обязанности.

Время шло, и отец начал думать о втором замужестве для нее.

— Было бы счастьем для нашей дочери и для нас, — сказал он жене, — если бы у нее родился еще сын.

Но мать была проникательнее и ответила мужу:

— Она перестала страдать; о вторичном браке не может быть и речи: она превратилась в ребенка — без забот и без греха.

И правда, она перестала страдать. В ней стала проявляться странная привязанность ко всему маленькому. Сначала ей показалась велика ее постель; может быть, это было ощущение пустоты, потому что умер ребенок. А потом и все остальное начало казаться ей слишком большим: дом, комнаты, ниша с большими цветочными вазами, даже кухонная посуда. Рис она пожелала есть маленькими детскими хаши из крошечных мисочек. Этим невинным затеям никто не мешал, а других причуд у нее не было.

Часто старики-родители толковали между собою о ней.

— Тяжело будет дочери нашей, — говорил отец, — жить с чужими людьми; мы же так стары, что скоро придется расстаться с ней. Лучше всего ей стать монахиней; мы построим ей маленький храм.

На следующий день мать спросила О-Тойо: «Не хочешь ли стать святой монахиней и жить в маленьком-маленьком храме с крошечным алтарчиком и миниатюрными изображениями Будды? Мы всегда оставались бы вблизи тебя. Если ты согласна, то мы попросим жреца научить тебя сутрам.

О-Тойо с радостью согласилась и просила сделать ей маленькое монашеское платье. Но добрая мать возразила:

— У хорошей монахини все может быть мало, за исключением одеяния. Платье ее должно быть широко и длинно, — так повелевает Учитель наш, Будда.

Тогда О-Тойо согласилась одеться, как другие монахини.

В пустой ограде, где некогда стоял большой храм Амида-ии, построили маленькую монашескую обитель, называли ее тоже Амида-ии и посвятили Амиде Нёраю¹ и другим буддам.

¹ *Амида Нёрай* — одно из имен Будды.



Тосиката Мидзуно

Обитель украсили маленьким алтарчиком и миниатюрной утварью. На крошечном пюпитре лежал изящный экземпляр сутры, вокруг стояли ширмочки, висели колокольчики и какэмоно.

Родители О-Тойо умерли, а она все жила в своей тихой обители. Ее прозвали Амида-ии-но-Бикшуни¹, то есть Монахиня храма Амиды.

Перед храмом возвышалась статуя Дзидзо — друга больных детей. Молящиеся о выздоровлении больного ребенка приносили к его ногам рисовые лепешки, — столько, сколько ребенку было лет. Обыкновенно у подножия статуи лежали две-три лепешки, редко — от семи до десяти. Амида-ии-Бикшуни заботилась о статуе, зажигала перед ней благовонное курение и украшала ее цветами из своего сада.

После утреннего обхода — за милостыней — она обыкновенно садилась за крошечный ткацкий станок. Несмотря на то что ее ткани были слишком узки для употребления, купцы, знавшие печальную повесть ее, всегда брали ее работу, даря ей взамен чашечки, вазы и карликовые деревья для ее сада.

Лучше всего она чувствовала себя с детьми, которых вокруг нее всегда было много (японские ребятишки играют целыми днями за оградами храмов). Много счастливых детских лет протекло в храме Амиды-ии; матери, живущие по соседству, охотно посылали туда своих малышей, запрещая им смеяться над Бикшуни-Сан.

«Она странная, — говорили они, — но это потому, что умер ее сынок и душа ее не вынесла этого горя. Будьте же добры и почтительны к ней».

¹ Бикшу и бикшуни — нищенствующие буддийские монахи и монахини.

Дети были очень добры и ласковы, но не совсем почтительны в обычном смысле слова, чувствуя, что дело не в этом. Они называли ее Бикшуни-Сан и ласково здоровались, но обращались с нею как с равной себе. Они вместе играли, а она поила их чаем из крошечных чашек, угощала самодельными рисовыми лепешечками, величиною цс горошину, дарила шелковые и бумажные ткани для кукол.

Малютки полюбили ее как добрую старшую сестру.

Так проходили дни за днями, проходили годы; детки, вырастая, постепенно покидали двор храма Амиды. Суровый жизненный труд сменял их детские игры; они становились отцами и матерями и, в свою очередь, посылали детей играть за оградой храма Амиды. Любовь к Бикшуни-Сан переносилась с родителей на детей и внуков.

Народ заботился о ее нуждах, принося ей больше чем вдоволь. Излишками она щедро делилась с детьми и зверьками. Птицы гнездились в храме ее, покидая прежние жилища на головах статуй Будды.

Но вот Бикшуни-Сан умерла. После ее похорон толпа детей прибежала ко мне. Девочка лет десяти от имени всех обратилась ко мне с такими словами:

— Господин, пожертвуйте что-нибудь для умершей вчера Бикшуни-Сан! Ей поставили большой хака (надгробный памятник), красивый, богатый. Нам же хочется подарить ей крошечный хака, такой, о котором она говорила, когда была еще с нами. Каменотес обещал нам сделать такой, если мы принесем ему денег. Не сообразовались ли и вы пожертвовать что-нибудь?

— С удовольствием, — сказал я. — А где же вы теперь будете играть?

— Да все там же, — ответила девочка, улыбаясь, — ведь там Бикшуни-Сан похоронена; ей будет радостно слушать, как мы играем.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. Лафкадио Херн	5
Предисловие автора	8
Мими-Наши-Хоичи	9
О-Тэи	19
Осидори	22
Убазакүра	24
Дипломатия	26
Зеркало и колокол	28
Дзикининки	34
Муджина	38
Рокурокуби	40
Погребенная тайна	47
Юки-Онна	50
Аояги	54
Джу-року-закура	62
Сон Акиносукэ	64
Рики-Бака	69
Химавари	72
Хораи	75
О насекомых	78
Бабочки	78
Москиты	92
Муравьи	96
Греза летнего дня	105
Кимико	124
Венчанные смертью	138
Гейша	161
На станции железной дороги	179
Юко	182
Уличная певица	190
Хаката	196
Путевые заметки	204
Закон кармы	210
Ревнитель старины	219
Японская улыбка	239
Во время холеры	256
Хару	262
Привидения и нечистые духи	266
Монахиня в храме Амиды	280

Лафкадио Херн

**Японские легенды и сказания
о призраках и чудесах. Душа Японии**

Компьютерная верстка, обработка иллюстраций
М. Судаковой

На основании п. 2.3 статьи 1 Федерального закона № 436-ФЗ от 29.12.2010
не требуется знак информационной продукции, так как данное издание
классического произведения имеет значительную историческую, художественную
и культурную ценность для общества.

Сдано в печать 04.12.2020
Объем 18 печ. листов
Доп. тираж 3000 экз.
Заказ № 6701/20

Бумага матовая мелованная
HannoArt Bulk



ООО СЗКЭО

Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 365-40-44

E-mail: knigi@szko.ru

Интернет-магазин: www.szko.ru

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт»,
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А,
www.pareto-print.ru



Глубинная основа культуры любого народа — древние легенды, мифы, предания, сказки. В них отражаются его обычаи, верования, отношение к природе, этические и эстетические взгляды. Традиционный фольклорный жанр в Японии — кайданы — диковинные легенды о необычных суевериях, страшные роковые рассказы о призраках и чудесах, о встречах человека со сверхъестественным: демонами, ведьмами, оборотнями и т. п. В начале XX в. они были собраны и переведены на английский язык ирландско-американским прозаиком, переводчиком и востоковедом, специалистом по япон-

ской литературе Лафкадио Херном (1850–1904).

Он был назван так же, как и греческий остров в Ионическом море — Лефкас, или Лефкада, на котором в 1850 г. появился на свет. Отец Лафкадио — ирландец, военный врач, мать — коренная гречанка. Первые годы жизни мальчика под солнечным лазурным небом Греции были безоблачными. А потом разразилась семейная драма. Отец увез семью в Англию. Пейзажи и климат Туманного Альбиона действовали на мать мальчика угнетающе, и вскоре она вернулась в любимую Грецию. Брак распался. Лафкадио остался с отцом, который не слишком заботился о воспитании сына, до своего совершеннолетия находившегося под присмотром старой тетки. Распад семьи стал трагедией для юноши. Возможно, в этом таилась причина его страсти к мистике, к потустороннему миру, ведь в реальности не было ни радости, ни счастья.

И Лафкадио уехал в Америку. Солнечный Новый Орлеан, в котором он осел, напоминал жизнерадостную Грецию. Здесь он воспрял духом и начал писать веселые фельетоны, приводившие в восторг местных жителей. Однако счастливый период в его жизни был недолгим — его сменили разочарования и одиночество. В 1890 г. Лафкадио убегает от себя на край земли — в далекую Японию, работает там американским корреспондентом. Писатель восторгается древним духом этой страны, столь близкой его романтической натуре. Он увлекается буддийской культурой, посещает старинные монастыри, жадно вслушивается, всматривается в страшные истории о сверхъестественном. Но противоречия между рациональным настоящим и древней, таинственной Японией не давали покоя мечущейся душе Лафкадио. Он как будто всегда находился меж двух миров — реальным и ирреальным. Желание сохранить уникальный образ Древней Японии, показать его людям подтолкнуло Лафкадио к составлению сборника кайданов, книги, которую вы держите в руках. Она проиллюстрирована утонченными гравюрами японских художников XIX в., которые позволяют глубже понять и почувствовать эту богатую красками страну.

ISBN 978-5-9603-0542-6



9 785960 305426

